

ЛАУРЕАТ «РУССКОЙ ПРЕМИИ»
АВТОР «ПАРОХОДА В АРГЕНТИНУ»

АЛЕКСЕЙ
МАКУШИНСКИЙ

ОДИН
ЧЕЛОВЕК

...

роман



НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ЛЮДЕЙ МЫСЛЯЩИХ.

— АННА БЕРСЕНЕВА

Большая литература. Алексей Макушинский

Алексей Макушинский

Один человек

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Макушинский А. А.

Один человек / А. А. Макушинский — «Эксмо»,
2021 — (Большая литература. Алексей Макушинский)

ISBN 978-5-04-156616-6

Роман «Один человек» – один из первых литературных откликов на пандемию коронавируса. Магическая проза Макушинского приглашает читателя отправиться вместе с рассказчиком на поиски себя, своей юности, первой любви и первой дружбы. Коронавирус становится метафорой конца огромной исторической эпохи. Не потому ли рассказчик обращается к ее началу – к фламандской живописи, где впервые появляется индивидуальный неповторимый человек? Подобно ван Эйку, он создает портрет отдельного, особенного человека. Ритм повествования похож на американские горки, где медленное погружение во внутренний мир героя вдруг сменяется стремительным нарративом, в котором перед читателем проносятся и средневековая Европа, и доперестроечная Москва, и Ярославль, и Кавказ, и оцепеневшая от приближающейся пандемии Бельгия.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-156616-6

© Макушинский А. А., 2021
© Эксмо, 2021

Алексей Макушинский

Один человек

© Макушинский А., текст, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «ЭКСМО», 2021

Parce que, continua Cormery, lorsque j'étais très jeune, très sot et très seul, vous vous êtes tourné vers moi et vous m'avez ouvert, sans y paraître, les portes de tout ce que j'aime en ce monde.

Albert Camus

– Потому что, – продолжал Кормери, – когда я был очень молод, очень глуп и очень одинок, вы приняли во мне участие и открыли для меня, как бы походя, пути ко всему, что я люблю в этом мире.

Альбер Камю

Это было давно; очень давно; в ту далекую пору, когда, например, в Монголии правил человек по имени Цеденбал, что породило среди циничных московских школьников и не менее циничных московских студентов прекрасную шутку о трех степенях слабоумия: дебил, имбецил и цеденбал; в ту далекую пору, когда в какой-то другой, но тоже дружественной стране правил другой, но тоже выдающийся деятель мирового коммунистического движения по фамилии то ли Нетто, то ли Нето, с ударением то ли на первом, то ли на втором слоге, каковой деятель, прилетев в Москву, родину всех трудящихся, и здесь, в Москве, совершенно неожиданно для этих трудящихся отдав боевой дух святой бородатой троице, еще смотревшей со всех стен и стендов на замороженный ею мир, полетел обратно в свою экзотическую страну в цинковом правительственном гробу, что породило среди неизменно циничных московских школьников и непоколебимо циничных московских студентов не менее прекрасную шутку: приехал нетто, уехал брутто.

И я сам не знаю, конечно (или, может быть, теперь знаю, но тогда я не знал), почему мне вспоминалось все это по дороге из Мюнхена в Бельгию, в Льеж, Гент и Брюгге, куда мы с Жижой отправились в поисках моря, покоя, ван Эйка, спасения от китайского вируса. Довольно глупо спасаться от китайского вируса, уезжая в соседнюю страну, где он тоже есть, сейчас появится, уже появился, и где в любой гостинице, на любой бензоколонке, в любом ресторане у тебя бесконечно больше шансов его подхватить, чем если бы ты сидел дома, читал «Осень Средневековья». Просто понимали мы, что мир скоро закроют. Закроют границы, закроют гостиницы. Заодно закроют и выставки. А в Генте как раз была выставка ван Эйка, прославленная на весь сетевой свет всеми «порталами», всеми «френдами» на всем «фейсбуке» и во всяческом «твиттере». Билетов на нее не было, на эту выставку. Билеты надо было заказывать по интернету. Когда Жижина в него ткнулась, затем я сам в него ткнулся, выяснилось, что нет никаких билетов, в помине, в природе, на ближайшие три недели. Есть один жалкий билетик на следующий четверг в 21:30 и целых три билетика на пятницу через десять дней в 8:30 утра. В четверг, наверное, проскочил еще последний счастливчик, через десять дней в пятницу все уже было кончено. Мы все-таки решили попробовать – вдруг получится, вдруг попадем. А не попадем, так и ладно. А зато море увидим. А я всю жизнь стремлюсь к морю, с самого детства. А кто знает, когда мы его снова увидим, увидим ли когда-нибудь вообще. А может быть, хватит начинать фразы с этого идиотского «а»? А может быть, это крик моего отчаяния? А вам не хочется закричать? А потому что всегда было страшно в этом лучшем из миров, на этом сияющем свете, а теперь уже совсем стало страшно.

Нам страшно не было. Не пускают в Италию, поедem в Бельгию, что нам? Заодно ван Эйка посмотрим, или не посмотрим, неважно, заодно и море увидим, по Брюгге ходим. Где

ван Эйк, там и Рогир ван дер Вейден. А Рогир ван дер Вейден всегда был моим любимцем. И ван Эйк всегда был моим любимцем. Ван Эйк и Рогир – на первом месте и на втором месте в моей личной иерархии восхищения, с той минуты, когда я увидел Рогиров мужской портрет в музее имени Пушкина. Какой портрет? Сейчас скажу какой (скажу когда, скажу с кем). Потому что нужно навести хоть какой-то порядок в мыслях, сперва поговорить об одном, потом о другом, сперва о дальнем, после о близком (или наоборот), сначала о Рогире, потом уж о Цеденбале. А ведь порядка никакого нет, вот в чем дело. Все мешается, путается. Все сразу является перед нашим внутренним взором. Все сразу, мешаясь и путаясь, проходит перед внутренним взором нашим. А перед внешним проходят грузовики. Мы обгоняем грузовики, обгоняем и легковушки. При появлении в зеркальце красного «Астон Мартина» все ничтожные «Мерседесы», убогие «БМВ» устремляются в правый ряд. Преимущество миллионерских автомобилей в том, что дорога перед ними всегда свободна и парковка для них всегда есть, на любом тротуаре. Еще я обожаю их рык. Рык гоночной машины подобен лвиному: в индустриальных джунглях сразу наступает почтительное молчание. Если бы я сумел навести хоть какой-то порядок у себя в голове, я был бы наконец, наверное, счастлив. В мастерской художника порядка не может быть, говорил мне Яс, Яков Семеныч, Яков Семенович. Порядок должен быть на картине. Вот там порядок должен быть, да. На какой картине? На картине ван Эйка, на картине Рогира, на картине еще кого-нибудь из любимых наших художников. Была выставка Рогира в Пушкинском музее в ту далекую пору, когда в Монголии правил Цеденбал, а в Советию прилетал Нетто, улетал Брутто. И ты, Брутто? И я. Скорей уж я Марк Антоний. Нет, я думаю, никакой отдельной выставки Рогира не было и не могло быть в Пушкинском музее в прекрасное время Брутто, Нетто, Цеденбала, Олигофрена. Но какая-то была все же выставка, на которой мы видели мужской портрет работы Рогира (или так мне теперь кажется, так теперь помнится); не просто видели, но глядя на который, стоя перед которым мы, собственно, и познакомилась с Ясом.

Я взял с собою в это безумное бельгийское путешествие маленькую (не такую уж маленькую) книжку Цветана Тодорова (Tzvetan Todorov) «Похвала индивидууму», или «Похвальное слово индивидуальности», или уж переводите как знаете (Éloge de l'individu); книжечку (как раз и посвященную раннефламандской живописи, возникновению индивидуальности в ней), которую купил когда-то в Дижоне, бывшей столице бывшего Бургундского герцогства. Они ведь все служили дижонским герцогам – и ван Эйк, и Рогир, и Робер Кампен, учитель Рогира, тоже прекрасный. И само Бургундское герцогство было прекрасное: мечта моя с тех пор, как Яс рассказал мне о нем. Есть рогировский портрет последнего герцога – Карла Смелого – в берлинском музее; я иногда езжу в Берлин, просто чтобы посмотреть на него (не только за этим; но приятно так думать). Там же есть не рогировский, но, по-видимому, кем-то из учеников Рогира с его, рогировского, с тех пор утраченного портрета скопированный портрет предпоследнего герцога – Филиппа Доброго; оба (как же иначе?) с орденом Золотого руна на груди. Но это был – вечность назад, в музее имени Пушкина – не тот портрет, и не другой, а – какой? Удивительным образом, я не могу теперь вспомнить какой. И не только теперь я не могу вспомнить какой, но я всю целую жизнь вспоминаю – и не могу вспомнить какой. Это был... это был... какая разница, какой это был портрет? Никакой, ты права. Ты права, Жижи, никому никакого дела нет теперь до того, на какой портрет какого Рогира мы смотрели с Ясом – сколько лет назад? – сорок лет назад! вот уже сколько; мне одному это важно. Мне очень важно было бы теперь вспомнить, какой это был портрет. Просто потому что это не мог быть ни портрет Франческо д'Эсте из музея «Метрополитен» (его показывали в Москве в 1975-м; слишком рано), ни портрет неизвестного мужчины из мадридского собрания Тиссена-Борнемисы (тот был в Москве в 1987 году; слишком поздно). А мы стояли в 1979 году перед этим (перед каким же?) портретом; вот это я помню совершенно точно. Осенью 1979 года мы стояли (перед каким?) мужским портретом Рогира ван дер Вейдена, и мне было всего шестнадцать, и этот портрет

поразил меня на всю жизнь (хоть я и не могу теперь вспомнить, какой именно портрет это был; с тех пор я видел их, кажется, все), и стоявший рядом со мною, еще (как я теперь понимаю) совсем молодой, но показавшийся мне, в мои шестнадцать, очень взрослым, чуть ли не пожилым, в невероятно пижонском темно-сером (так помнится мне) костюме, из-под рукавов коего выглядывали, случалось, тоже поразившие воображение мое золотые запонки с черным агатом в каждой, – Яс, стоявший рядом со мною и уже несколько времени (я замечал это) за мной наблюдавший, произнес, повернув ко мне свою круглую голову, откровенно и пристально посмотрев на меня черными агатами своих словно внутрь мерцающих глаз: да, вы правы; и не надо, Жижи, в сотый раз говорить мне, что осенью 1979 года в московском музее имени Пушкина не могло быть никакого портрета работы Рогира, и что, значит, я все перепутал, значит, память моя все перепутала, и что мы стояли, скорее всего, перед каким-то другим портретом, работы какого-то другого художника, и только потом, может быть, спустя столько-то и столько-то лет – перед портретом Рогира, и что это я впоследствии, в долгом течении жизни, смешал одно с другим, все смешал, все свалил в кучу, и все равно это было сорок, и даже не сорок, а сорок с половиною лет назад, и главное, самого Яса тоже, вот что главное, давным-давно уже нет на земле.

Его нет на земле; он умер от гриппа; от просто гриппа; ни от какого еще не китайского. И как же, спрашивается, мог я не думать о нем, убегая, бессмысленным образом, от теперь уже в самом деле китайского, очень китайского, в высшей степени китайского гриппа в Бельгию, в поисках ван Эйка, в поисках Рогира, покоя, воли, в вечном стремлении к морю, перед самым закрытием мира? Мы проедем сначала Нюрнберг, потом Вюрцбург. Мы в Вюрцбург, нет, не заедем – чтобы снова (в который раз?) посмотреть, например, на потолок, расписанный Тьеполо, самый невероятный потолок на этой (на которой больше нет Яса) земле; мы покатаем просто-напросто дальше, на Франкфурт. У него глаза были совершенно такие же, какие бывают на портретах Рогира или ван Эйка, с повернутым внутрь мерцанием, с отблеском иного покоя, иной воли, не исчезающих в треволнениях земного странствия (земного стремления); он слег с простым гриппом (температурой, кашлем, и т. д. и т. п.) в марте 2005-го; был уверен, что скоро поправится; по телефону (кашляя) говорил мне, что это чепуха, просто грипп; собирался лететь в Барселону (где мы с ним должны были встретиться). Потом уже Тамара Сергеевна, его еще-не-вдова, мне прислала и-мейл (или е-мейл? или как вам будет угодно) с сообщением, что он в больнице, с воспалением легких и еще какими-то не предвиденными никем осложнениями. Осложнения редко бывают предвиденными. Он сам ни и-мейлов, ни е-мейлов не писал вообще и в принципе; компьютеры ненавидел; наш brave new world презирал; звонил, случалось, по телефону; даже, бывало, из разных мест мира присылал мне открытки (всегда особенные, с самыми смешными, самыми неожиданными картинками; из, помню, Флоренции, где вообще-то есть на что посмотреть, – открытку с катастрофически-комическим памятником двум борцам за освобождение Италии, один из коих, сверкая глазами, правой рукой наставляет на тебя реалистический револьвер, левой держит то ли раненого, то ли уже убитого, как мешок повисшего у него на руке соратника-гарибальдийца; в Италии, сообщалось в открытке, на половине памятников написано роета, на другой половине памятников написано patriota; что до него, Яса, то он не поэт и не патриот, поэтому завтра улетает в Москву).

Кто мог вообразить себе все это, когда мы стояли там, в Москве, в другом тысячелетии, перед мужским портретом (я настаиваю) работы Рогира, поразившим меня? Вы правы (сказал он, обратив ко мне круглую голову): искусство портрета – самое высокое искусство на свете. Потому что интересен только человек; все прочее – побочные обстоятельства. Голова у него была очень круглая, очень большая; на щеках и на подбородке проступала (потом выяснилось, что всегда проступала, как бы часто и тщательно ни брился он) синева, если не чернота; подбородок какой-то был древнеримский, сразу напомнивший мне один из тех бюстов, что стояли – и до сих пор, я полагаю, стоят – в другом зале того же музея имени Пушкина: то ли Адри-

ана, то ли Августа, точно не Антиноя. А что он еще сказал, я не помню. Я только помню, что больше он уже никогда ко мне не обращался на вы. (А я так и не отучился называть его Яков Семенычем; за глаза, впрочем, очень скоро начал называть его Яс; он смеялся, когда узнал: я-с, ты-с, он-с... А я скорее думал об асах. Вы же ас, Яков Семенович? – В чем же я, по-твоему, ас? – Во всем... Он продолжал смеяться, но был, похоже, доволен.) До этого мы еще не дошли. Мы еще (вот это я помню; или мне кажется, что я помню) походили порознь по музею, по (какой же все-таки?) выставке – и потом опять оказались вдвоем перед картиной Рогира, которую я твердо решил считать (вопреки хронологии) не (к примеру) портретом Франческо д'Эсте из музея Метрополитен, а именно портретом неизвестного из мадридского собрания Тиссена-Борнемисы; и потому я решил считать так, что, в отличие от портрета Франческо д'Эсте (невероятно прекрасного), в этом портрете неизвестного (прекрасном не менее) есть некое сходство с самим Яковом Семеновичем: сходство, поражающее меня всякий раз, когда я теперь разглядываю его. Садись за руль, Жижина, а я еще немного его поразглядываю, хотя бы в айфоне.

Это сходство не внешнее; внешнего нет никакого. У Яса не было ни этих тонких губ (наоборот, губы у него были полные, особенно нижняя, с внезапным извивом посерединке, как если бы нижняя губа соперничала с верхней губой), ни этих впалых щек, ни этого длинного узкого носа, ни тем более этой черной челки, этой прически «скобочкой»; даже этих удивленно поднятых бровей, пожалуй, не было у него, или только изредка бывали они у него; этих кругов усталости под глазами еще тоже не было у него. И глаза были темнее, чернее; были черные агаты, а не глаза. Но это изумление в них было (бывало); это внутреннее мерцание в них было (всегда); эта печаль была в них (тоже всегда). На портретах (именно на портретах) Рогира, как и его учителей (ван Эйка, Кампена), задний план обычно отсутствует. Есть только фон – светлый (как на портрете Франческо д'Эсте) или (чаще) темный (как на том, перед которым, я продолжаю верить, мы стояли сорок с половиной лет назад вдвоем с Ясом, который я теперь разглядывал в айфоне, покуда Жижина с львиным рыком обгоняла несчастные «Мерседесы»). Лица на портретах ван Эйка, Кампена и Рогира возникают из ниоткуда, из (как правило) темного фона; они индивидуальны (не просто они индивидуальны, но, как тысячу и две тысячи раз читали мы в разных книжках и слышали в разных лекциях, с них в живописи Нового времени и начинается, собственно, искусство индивидуализации, изображения вот именно этого, конкретного человека – не «типа», не «символа», так что совершенно точно, удачно, сказал бы я, озаглавил Цветан Тодоров свое чудное сочинение – *Éloge de l'individu*, – которое не читал, но по крайней мере перелистывал я, отложив айфон в сторону, на подъезде к Нюрнбергу, покуда Жижина с львиным рыком обгоняла «Мерседесы», обгоняла даже и «Порше»); все же они, эти нам известные или неведомые нам персонажи, со всеми их неповторимыми лицами, их одежаниями, иногда символическими (почему золотые цепи под воротником у Франческо д'Эсте? почему перстень, почему молоток у него в руке? ученые, кажется, до сих пор спорят об этом) – все же они кажутся выхваченными из контекста, из более невообразимой для нас жизни, помещенными в какое-то абстрактное пространство, которое, удивительным образом, нас не отделяет от них (как отделило бы любое конкретное), но сближает с ними, единит и роднит с ними. Мы сами, огромной частью нашей души и жизни, пребываем в этом пространстве, вне времени. Очень точно говорит Цветан Тодоров, что они явлены нам между мгновением и вечностью (*entre instant et éternité*). Есть отрешенность в их лицах. Они показаны обычно в три четверти; они смотрят не на нас, но куда-то, куда мы обычно не смотрим, но куда (нам кажется, или мне всегда так казалось, так показалось уже в тот бесконечно давний день, когда мы с Ясом познакомились в музее имени Пушкина) – куда мы тоже можем, тоже вольны посмотреть, отчего это неведомое «куда-то», куда они смотрят, оказывается, может быть, самым важным, что мы здесь вообще видим. Мы его не видим, но мы его видим. Это я пишу теперь, или это Яс говорил мне впоследствии? Он точно мог бы так говорить. Он сам всегда смотрел в то «куда-то», что не

мешало ему быть вполне здесь, быть пижоном и модником, покупать дорогие вещи, картины, перстни, старинные книги.

Никакого перстня я не помню у него на руке. Помню (никогда не забуду) запонки, поразившие воображение мое. А он их показывал; поводил иногда руками, чтобы манжеты вылезли из рукавов. Я в свои шестнадцать лет таких запонок и не видывал. Что я вообще в свои шестнадцать лет видывал? Я только в джинсах, может быть, разбирался, джинсы Super Rifle («райфлы») с лету отличал от джинсов Levi's («левисов»); все прочее было вне моего горизонта. Все же и моих горизонтов хватило, чтобы оценить его костюм по достоинству; а вот какого цвета был платочек в нагрудном кармашке, этого, Жижи, нет, и этого, извини меня, я не могу теперь вспомнить. Но платочек был, и тоже какой-то особенный, какой-то, что ли, оранжевый. А у кого в Совдепии бывал тогда платочек в кармашке? А уж об оранжевом платочке в кармашке никто тогда в Совдепии и помыслить не смел, не так ли? Да будь я царем Совдепии, генсеком Империи, я бы сразу арестовывал за платочек в кармашке, тем более если этот платочек еще и оранжевый. Потому что нечего, товарищи, разводить тут буржуазные футынуты... Когда мы снова оказались вдвоем у Рогировой картины, он снова повернул ко мне свою круглую голову (с уже тогда намечавшимися залысынами), посмотрел на меня мерцающими внутрь глазами – и затем сообщил мне, с совсем для меня неожиданной, какой-то, я бы сказал, шальной, даже, сказал бы я, чуть-чуть хулиганской усмешкой, что существует в природе кружок юного искусствоведа во дворце, прости господи, пионеров – и чтобы я туда приходил. «Прости господи» он не сказал. Но я не знаю теперь, какое слово он произнес с большей иронией и более шальной усмешкой: «дворец», «кружок», «пионеров» или всего-таки «юного»? Нет, наверное, все-таки «искусствоведа». Слово «искусствоведа» он произнес присюсюкивая. Он долго произносил его присюсюкивая, прямо высюсюкивал его из себя. Он только что получил степень доктора искусствования, как вскорости выяснилось. И что ж, ты пошел? Да, я пошел. А вот где они сами шли, эти курсы, нет, я не помню. Иногда мне кажется, я вообще ничего не помню. Все путается в моей памяти, все сразу является перед внутренним моим взором, и тот день, и те запонки, и ван Эйк, и Рогир, и те дурацкие шутки про несчастного Нетто (Нето), несчастного Цеденбала, и те анекдоты, которые теперь так редко кажутся нам смешными, в лучшем случае кажутся детскими, от которых тогда ухохатывались. А ведь это была эпоха, когда все всем рассказывали анекдоты, когда встреча друзей, приятелей, случайных знакомых неизбежно и неизменно включала в себя ритуал рассказывания новых анекдотов: более или менее политических, в зависимости от степени доверия этих знакомых друг другу; более или менее неприличных, в зависимости от характера отношений. Анекдот слышали? Убегают от бандитов Жискара д'Эстен, Джимми Картер и Брежнев, Леонид Ильич. Жискара д'Эстен написал записку, бросил на землю: бандиты прочитали и дальше за ними бегут. Картер написал записку, бросил на землю: бандиты опять прочитали и опять за ними бегут. А Брежнев как написал записку, как прочитали ее бандиты, так и рванули в обратную сторону. Остановились Брежнев с Картером и Жискара д'Эстеном, отдышались и спрашивают друг у друга, кто что написал. Я посулил им всех женщин Франции, говорит Жискара д'Эстен. А я пообещал все деньги Америки, говорит Картер. А вы что написали, Леонид Ильич? А я написал: мы бежим к коммунизму, а вы куда?

Тебе смешно, Жижи? Да теперь это и мне, пожалуй, смешно. Но не потому смешно, почему это тогда было смешно или было совсем не смешно, а потому что где теперь все это? Смешно и страшно, как далеко теперь все это, в какую бездну рухнуло, в какую пропасть упало... И вот Яс, один из умнейших и образованнейших людей, встречавшихся мне под этим небом, на этой земле, знаток ранней фламандской, и поздней фламандской, и всяческой другой живописи, усидчивый читатель Спинозы, Пруста и кого-только-не, – вот все-таки Яс то и дело, при встрече со мною и не со мною, считал нужным рассказать какой-нибудь смешной, не смешной, более или менее смешной анекдот – и только потом уже переходил к разговору о Николае Кузанском. Почему Брежнев на люди показывался, а Черненко не показывается? Потому

что Брежнев работал на батарееках, а Черненко от сети... Это было, значит, после, когда незабвенный Леонид Ильич уже добежал до коммунизма, помавая бровями, когда и сухой, страшный, очкасто-кашеистый Юрий Владимирович, на счастье наше, тоже убежал от бандитов. И я это хорошо помню, вот это-то помню, потому что мне было уже девятнадцать, потом было двадцать, и в девятнадцать и в двадцать я сходил с ума от любви. Теперь никто, кажется, не сходит с ума от любви, ни в двадцать, ни в девятнадцать. Тогда еще, случалось, сходили. Так сильно сходили с него (ума) от нее (любви), что уже готовы были совсем и в самом деле сойти с него от нее – как из набитого троллейбуса в растоптанный грязный снег, на продуваемую всеми ветрами и вихрями серую улицу, – но потом хватались все же за поручень, вскакивали на подножку обратно, уезжали во взрослую жизнь.

А сперва только слайды. Только вспышки в темноте, отдельные слайдики, сугробы, сосны, не растоптанный и даже не грязный, но разъезженный грузовиками снег на какой-то окраине, Яс в великолепной дубленке, еще бы, потом в костюме, великолепном не менее, какой-то его знакомый в длинной и черной блузе, с длинной острой, тоже черной бородкой, к которому (где-то и почему-то; но почему и где?) мы зашли, который (как и Яс) оказался собирателем старинных вещей, показывал ему (заодно уж и мне) то ли японские, то ли китайские (тоже длинные, хотя и не черные), должно быть драгоценные, свитки... все кружится, все путается, не уверен даже, что это вообще было, и если было, то когда это было?.. и да, действительно, слайды, из (какого? провалилось все) аппарата спроецированные на белый, большой, киношно-полотняный экран, и на них те картины, которые мне предстояло потом смотреть всю жизнь, в разных музеях и в разных городах мира; и я не знаю по-прежнему, было ли это во дворце (действительно, прости господи) пионеров, или это было на каких-то подготовительных (прости и это, господи) курсах для прыщавых старшеклассников, судорожно пытающихся выбрать, куда им *поступить* (важнейшее слово в том возрасте, в ту эпоху), чуть ли не в старом университете на Моховой, или все же в новом университете на Воробьевых (тогда, конечно, Ленинских, вот этого Господь уж точно не простит мне) горах, – на каких-то, во всяком случаях, курсах и лекциях, где я садился подальше, повыше (ага, это был амфитеатр? да, теперь мне так кажется, так вспоминается: это был какой-то где-то амфитеатр) и оттуда, сверху, наблюдал за Яков Семенычем, время от времени, когда ему нужно было переменить картинку, необыкновенным, благородно-сдержанным, скромно-княжеским жестом, являя мне и миру свои невероятные запонки, заодно покоряя, мне думается, сердца всех находившихся в этом амфитеатре, уже, впрочем, и так очарованных им девиц, – за Яков, еще раз, Семенычем, время от времени взмахивавшим белой аккуратной рукою с вытянутым вперед, как у Микеланджело или у Караваджо, указательным пальцем, в сторону стертого забвением помощника, занятого уходом за аппаратиком, после чего аппаратик шелкал, амфитеатр темнел, потом появлялся на экране автопортрет старого Рембрандта (перед которым много лет спустя мы стояли с ним в Амстердаме), появлялся географ Вермеера (перед которым стояли во Франкфурте), появлялись, до Рембрандта, до Вермеера, тот же ван Эйк, тот же Рогир, о которых Яс говорил так, как будто с ними был знаком, даже дружен, расстался позавчера, должен был снова встретиться послезавтра, при том что (говорил он) наши сведения о них обо всех столь скудны, что, считайте, их почти и нет, этих сведений, ну вот разве только известно, что ван Эйк служил бургундскому герцогу, а Рогир был городским живописцем Брюсселя, но много ли это дает нам для понимания их работ? Ван Эйк столетиями считался изобретателем масляной живописи; это не так, но, судя по всему, он ее усовершенствовал и улучшил; а вот был ли у него старший брат Губерт, об этом споры идут до сих пор. Большинство исследователей полагают, что был, хотя есть и такие, которые полагают, что не было никакого старшего брата Губерта. И точно так же мы не можем сказать с уверенностью, был ли Рогир ван дер Вейден учеником Робера Кампена, и даже если он был учеником Робера Кампена, то все равно остается неясным, был ли этот Робер Кампен тем самым художником, которого еще недавно было принято называть

Флемальским мастером, или он был кем-то другим, и если кем-то другим, то кем, вот вопрос. В общем, вопросы, вопросы и вопросы, провозглашал Яс на радость всем старшекласникам, всем первокурсницам (если были там первокурсницы); одни вопросы и ничего, кроме вопросов; никакой уверенности и никаких окончательных истин.

Это было, в сущности, так, как если бы он взял меня за руку (своей белой аккуратной рукой – не маленькой, но казавшейся маленькой из-за белизны, аккуратности, какой-то внутренней собранности; это была *ego* собранность, но в руке она тоже выражалась и сказывалась, даже если пальцы были вытянуты, ладонь раскрыта) – взял меня за мою еще полудетскую руку своей всегда собранной (даже при вытянутых пальцах и раскрытой ладони) взрослой рукой – и отвел в какое-то совсем другое место, другую страну (назовем ее Бургундским герцогством, или назовем ее Фландрией, или назовем ее как угодно), бесконечно далекую от Ленинских (прости господи) гор, и даже не просто далекую от Ленинских (прости господи) гор, но расположенную в другом мире, на другой карте. Эту карту я понемногу учился читать, по этой карте учился передвигаться. Часто ли думал я до моих шестнадцати лет о пятнадцатом веке? Я ни разу, наверное, до моих шестнадцати лет не имел случая подумать о пятнадцатом веке. А это был век исключительный, ключевой, поворотный, рассказывал Яс старшекласникам, первокурсницам; этот век начался открытием перспективы и закончился открытием Америки – до которой (то есть Америки) нам сейчас дела нет, а вот перспектива – что значит: перспектива? Яс прекрасно умел держать паузу; он иногда так долго держал ее, что первокурсницы, старшекласники (в особенности эти последние) уже начинали ерзать в задних рядах амфитеатра (да, это был амфитеатр, Жижи, теперь я уверен, я только не могу вспомнить по-прежнему, где это было, что это было), но Яс ни малейшего внимания не обращал на их ерзание, как если бы это ерзание, пересмешки и перегляды были частью программы, доставлявшей ему отдельное удовольствие; перспектива (провозглашал он наконец) это значит: художник показывает нам фрагмент зримого, соразмерного человеку мира, заключенный в раму картины; это значит: картина становится окном, через которое мы смотрим в пространство, по знаменитому определению Леона Батиста Альберти, великого итальянского гуманиста (запишите имя в тетрадку). Перспектива у фламандцев, следует признать, не столь безупречна, как у открывших ее флорентийских художников (у Мазаччо, у Брунеллески), но это уже она, родимая (старшекласники гоготали); уже окно для нашего ока; а что есть важнейшее свойство окна? Важнейшее свойство окна есть его прозрачность (торжественно объявлял Яс), если, конечно, мама не забыла помыть раму как следует (первокурсницы заходились от хохота). Мама мыла раму и помыла ее самым надлежащим образом, так что и пылинки на ней не осталось. Поверхность картины становится словно несуществующей; существует лишь мир, увиденный сквозь нее. Конечно, художник не всегда рисует то, что он видит, скорее лишь в исключительных случаях рисует то, что он видит, как это делали, например, да и то не всегда, импрессионисты с их пылкой любовью к пленэру, которая сама по себе стала возможна лишь благодаря – чему? кто знает? (перебивал себя Яс, предполагая, очевидно, что никто не знает; никто и не знал). Благодаря изобретению тюбика, так-то! Потому что не было у них раньше тюбиков, вот в чем все дело; первый металлический тюбик с краской был запатентован американским художником Джоном Гоффом Рэндом (имя можете не записывать; я ничего, кажется, не записывал, а имя запомнил – как мы запоминаем в шестнадцать лет случайные, иногда совершенно не нужные нам вещи и помним их потом всю целую долгую жизнь, а важных вещей не помним, а навести порядок в своем прошлом и в своих мыслях не можем, как ни стараемся...) – был, еще раз, запатентован Джоном Гоффом Рэндом, американским художником-портретистом, лишь в 1841 году; а без тюбика какой пленэр? (торжественно спрашивал Яс у гогочущих старшекласников, которым в самом слове «тюбик» слышалось, похоже, что-то очаровательно неприличное); до изобретения тюбиков краски, случалось, перевозили в свином мочевом пузыре, а это, согласитесь,

не слишком удобно, если хочешь ими воспользоваться где-нибудь на лужайке; тут уж счастьем старшекласников не было никаких границ, ни малейшего удержу.

Не всегда, хотел бы он продолжить свою мысль (сквозь всеобщее веселье объявлял Яс), далеко не всегда, даже и на пленэре, тем более у себя в мастерской, художник рисует то, что он действительно видит во время своей работы, в растянутое мгновение своей работы, в своем «сейчас», но он заставляет нас верить, что он рисует то, что – в своем «сейчас» – видит, заставляет нас – в нашем «сейчас», вот сейчас – видеть то, что он рисует в своем, как если бы мы вместе с ним, его глазами смотрели на открывающийся ему кусок мира. Тут, по мановению Ясовых запонок, возникала перед еще не совсем отошедшими от свиного пузыря старшекласниками ван Эйкова «Мадонна канцлера Ролена», или (ответ младшего мастера старшему, провозглашал Яс) возникал на простыне экрана Рогиров «Святой Лука, рисующий (ту же) Мадонну» – две эти родственные работы, одна за другой, с их уводящими в бесконечность задними планами (и как же странно думать, что я смотрел на них, пускай на простыне, пускай с верхнего ряда амфитеатра, но все же в первый, в самый первый раз в жизни); художник (говорил Яс) с появлением перспективы рисует не сами по себе вещи, предметы обстановки, кресла, колонны, балконы, людей, святых и мадонн, но он, с появлением перспективы, рисует собственно пространство и в этом пространстве – мадонн, святых, не-святых, балконы, колонны, горы на горизонте; Эрвин Панофский (вот это имя обязательно запишите в тетрадку, запомните навсегда) утверждает даже, что отсюда открывается путь к единому, однородному, бесконечному, математическому пространству Нового времени, к декартовскому пространству, кантовскому пространству; мнение, которое много раз опровергали, но так и не опровергли.

Я это имя навсегда и запомнил, безо всякой тетрадки; а вот запомнил ли еще что-нибудь из тех давних лекций? Конечно, говорил я Жижи, куда мы мчались с ней по всегда ревящей, всегда переполненной автостраде № 9 (А9, как говорят в Германии), потом свернули на не менее мучительную А3, – конечно, они сливаются теперь для меня с его лекциями позднейшими, словами, сказанными там-то и там-то, перед такой и другой картиной (в Москве, в Амстердаме и в Мюнхене). Откровенно *религиозный характер* этой ранней фламандской живописи причинял ему некоторые неудобства и доставлял известные хлопоты (вот это я помню); в 1979 году даже ван Эйку и Рогиру еще не было позволено так нагло и беззастенчиво исповедовать христианство. Мы, *конечно*, не верим в то, во что они верили (говорил Яс, с таким выбрасыванием вперед одной из своих запонок, с таким ироническим подчеркиванием этого *конечно*, чтобы уж ни у кого из присутствующих не осталось сомнений, что он только потому говорит это, что находится во дворце, прости господи, пионеров или на подготовительных, прости господи, курсах для благоговейных, хотя и смешливых, абитуриентов, старшекласниц и первокурсниц, прекрасно понявших намек), – нет, *конечно*, мы не верим в то, во что они верили, но нам нравится, нас восхищает мистическое молчание в их лицах. Мы жаждем той же созерцательности и того же спокойствия. Обратите внимание на статичность этих образов. У Рогира – не на портретах, но на тех картинах, которые он назвал бы *сюжетными* (говорил Яс, мановением белой руки и агатовых запонок являя патлатой публике «Снятие с креста», или «Положение во гроб», или не помню что именно) – у Рогира, на таких *сюжетных* картинах, еще бывает движение, разумеется – остановленное (это все же картины, а не кинокартины, добавлял он на радость всем старшекласникам); у ван Эйка ни на одной из дошедших до нас работ движения нет вообще; есть лишь эта удивительная, завораживающая неподвижность; неподвижность не мертвая, но исполненная какой-то таинственной внутренней жизни, нам, нынешним, уже почти непонятной, почти недоступной. Тут (мановением той же руки) «Чета Арнольфини», и «Мужчина в красном тюрбане», и «Луккская мадонна», и «Мадонна каноника ван дер Пале» являлись аудитории (и как же странно все-таки думать, что я в первый раз в жизни тогда их увидел). Мир словно замер в ожидании чего-то. Это мгновение перехода, мгновение краткого равновесия. Такие мгновения долго не длятся. Что-то закончилось, или еще

не совсем закончилось, но уже готово закончиться (условно скажем: Средневековье), а что-то еще не совсем началось, только-только еще начинается (условно скажем: Новое время). А что такое: Новое время? Новое время – это наше время (объяснял Яс очарованным первокурсникам), это время, в котором мы живем до сих пор, хотя и его уже не раз объявляли законченным (кто его только не объявлял законченным в нашем с вами двадцатом столетии, произносил он не без пафоса), или почти законченным, или уже готовым (вот-вот, завтра утром) закончиться.

С тех пор его еще чаще объявляли законченным (или готовым закончиться – завтра утром, вечером в пятницу). Может быть, время вообще имеет свойство – заканчиваться? Оно длится – и оно же непрерывно заканчивается. И это тоже была его, Ясова, мысль; но где, когда он говорил это? Точно не на тех давних лекциях. Он это говорил, я уверен; я помню его слова; помню голос; помню его интонацию (часто грустную, часто насмешливую, иногда удивленную); но все остальное, все, что вокруг этих слов, расплывается; все, увы, исчезает в смутности прошлого, недостоверности воспоминаний, как вот эти машины, которые мы обгоняем на нашем рыкающем, аки лев, «Астон Мартине», обгоняем так лихо, что уже ни ты, ни я, ни мы оба (говорил я Жижи) не знаем (ведь уже не знаем, не правда ли?), кто сидел в белом «Опеле», промелькнувшем в правом ряду всего-то мгновение назад, хорошо, минуту назад, и кто сидел в другом, бордовом «Опеле» (допотопном подвиде «Опелей», называемом, если я не ошибаюсь, «Омегой»; один мой приятель ездил на таком в конце девяностых) – дядька в шляпе и еще кто? – или какой был номер, какой страны или какого германского города – Мюнхена (М), или, например, Штуттгарта (S) – у громадного грузовика с ярко-синей кабиной и ядовито-желтой фурую, в грязных подтеках, с надписью *Intelligent Logistics* по всему борту, или у фиолетового, еще более громадного грузовика с бело-тоже-фиолетовой невеселой коровой и Альпами на горизонте – рекламой шоколада *Milka* – а мы-то любим *Lindt*, ясное дело, – и кто за кем ехал, корова *Milka* за *Хитроумной Логистикой* или, наоборот, *Логистика* за *Хитроумной Коровой*. Время (говорил Яс) само по себе имеет свойство – заканчиваться. Не потому ли (он говорил) так часто провозглашают конец чего-нибудь: конец эпохи, или конец истории, или конец искусства, или конец, к примеру, романа? И это полная чепуха: история продолжается, искусство продолжается, романы пишут по-прежнему; и вместе с тем в этом есть тайная правда: время умирает, мир всегда готов рухнуть. Он не рухнет – но он готов рухнуть. Иногда кажется, что он этого хочет. А мы могли бы заехать сейчас во Франкфурт (покуда музеи не закрылись, мир не рухнул, время не умерло), посмотреть на «Луккскую (в самом деле) мадонну» все того же ван Эйка (такую отрешенную, такую загадочную), постоять перед Вермееровым «Географом» (всегда напоминавшим мне Декарта), перед которым мы так долго стояли с Ясом, много позже, теперь уже очень давно. Черт с ним, с Франкфуртом, едем дальше, мимо Висбадена (черт и с ним) через Рейн, не заезжая в Майнц, вдоль Рейна, по автостраде. Как я люблю эти коричневые леса ранней весны, эту внезапную зелень елок, вкрапленную в серость холмов. Да, мы здесь ехали с Ясом, конечно, в 1995 году. Он прилетел ко мне в Мюнхен, и мы поехали с ним вот так же, как мы теперь едем, через Нюрнберг, и Вюрцбург, и Франкфурт, и после вдоль Рейна – и затем не так, как мы поедем на этот раз, спустя четверть (боже мой!) века. Мы-то поедем в Бельгию, то есть мы прежде всего заедем в Бернкастель-Кус, на родину Николая Кузанского, где мы, нет, тогда с ним не побывали, хотя это он, Яс (тоже он), мне рассказал когда-то (в мои шестнадцать или семнадцать) о совпадении противоположностей, об ученом неведении; оттуда поедем в Льеж, потом в Гент; а ему нужно было (или просто хотелось?) тогда (в 1995 году; в мои уже тридцать два, его почти пятьдесят) в Амстердам, где, впрочем, он бывал и до этого, любил бывать, где я сам впервые тогда оказался. А между прочим, тогда шенгенских виз еще не было, или только они появлялись, или только готовились появиться, и, во всяком случае, никакого права не было ни у него, ни у меня ехать ни в какой Амстердам, и разумеется, никакого «Астон Мартина» не было у меня и в заводе, а был маленький, тоже очень красивый «Фольксваген Гольф», впрочем, уже новенький, хорошенький, быстренький (преды-

душий, мой первый автомобильчик, еще был куплен за три тысячи марок и имел прелестную привычку ломаться в самых неожиданных местах в самый неподходящий момент), и уж точно не приходило мне в голову, что через (боже мой!) четверть века, когда самого Яса давно уже не будет под этим (облачным, но все-таки светящимся) небом, на этой (с ее холмами и лесами) земле, я буду ехать здесь вместе с Жижой, моей любимой, вспоминая, вернее пытаюсь вспомнить что-то такое давнее, не четвертью, но уже почти половиной (еще не совсем половиной!) века отделенное от меня теперешнего, уже (скажем честно) стареющего, что-то такое давнее, дальше, чего как будто и не было никогда, но что ведь все же когда-то было. Мне было шестнадцать, потом семнадцать лет, я был прыщавый, патлатый мальчишка, сперва старшеклассник, потом первокурсник, и нет, ни малейшего представления, ни намек на представление я не имею теперь, как, и каким образом, и почему я впервые оказался у него дома, в таком доме, где я даже не подозревал тогда, что люди живут, и где меня долго допрашивала лифтерша, кто я такой и как посмел сюда заявиться; в новом, по тогдашнему времени, но в окружении старых, лучших московских домов, возведенном Софьей Власьевной для своих верных слуг доме; в прекрасной близости от всего – от Никитских ворот, от Тверского бульвара, от Бронных улиц, от Патриарших прудов.

Не сердись, Жижина, но, мне кажется, ничего кроме бюста Тамары Сергеевны, Ясовой жены, я в тот первый визит не увидел, не разглядел. У нее был бюст какой-то прямо государственный, да и сама она была державная дама. Она в комнату не входила – вливала. С вельможной ласковостью спросила меня о моих родителях; получив ответ, с ее точки зрения, по-видимому, удовлетворительный, снизошла до вопроса о том, куда я собираюсь *поступить* (или уже *поступил*); ответ тоже одобрила. На ней был черный свитер «с горлом» (о, вот это я помню, еще бы!); был, на свитере, на самом бюсте, золотой, подозреваю, что очень драгоценный, кулон. Кулон болтался и никак не мог найти себе места на свитере, падая то с Эвереста, то с Джомолунгмы, в общем, не справляясь с такими высотами, такими вершинами; свитер же, молодец, изо всех сил подчеркивал и сам бюст, и под ним намечавшийся, в ту пору еще только начинавший намечаться живот. И нет, нет, конечно, не получалось у меня, как в свою очередь я ни старался, отвести взгляд от этого кулона, этого свитера (и Яс это, разумеется, видел, глаза его играли усмешкой). Что до обстановки, то обстановка была музейная. Это было сплошное красное дерево, сплошная карельская береза, сплошные темные картины в сплошных темных рамах. Очень много было зеркал, с подобающей патиной. Две дочки, примерно десятилетние (одной, допустим, одиннадцать; другой, скажем, девять), явились мне как часть обстановки; промелькнули; исчезли. Я потом хорошо знал обеих. Они теперь – где? Они теперь обе, если я правильно понимаю, в Лос-Анджелесе. У обеих были его, Ясовы, черно-агатые глаза. У Тамары Сергеевны глаза были зеленые, для такой державной дамы, докторши всех наук и профессорши очень не кислых щей, пожалуй, даже слишком зеленые. Она только что вернулась из Эквадора с делегацией ЦК, ЦИКа, ЦИПЦИПа, ЦАПЦАРАПа, Учпрофсовета. Правда из Эквадора? Или из какой-то другой страны, не менее экзотической, из Экзодора, из Эквазота. Эквазот прекрасен, и Экзодор прекрасен не менее, но она предпочитает Перу. С делегацией ЦАРАПЦАПЦАПа она летит в Перу в августе. А оттуда летит в Аргентину. К Ясу, мне показалось, все это (и карельская береза, и патина, и Перуантина) не имело никакого отношения. То есть совсем никакого, ни малейшего. Просто он там сидел, в антикварном кресле, чуть-чуть смахивавшем на трон, с львиными мордами на резной темно-красной спинке и темно-красных же подлокотниках (каждая со своей гривой и намеком на улыбку в очерке разинутой пасти), но мог бы (я подумал; или мне теперь думается, что так я тогда подумал) вдруг встать и выйти; ЦАРАПЦАРАПА отлично обошелся бы без него.

А я уже не мог без него обойтись. И не потому я не мог без него обойтись, что он рассказал мне так много интересного о ван Эйке, о Рогире, о Рембрандте, о Спинозе, о Николае Кузанском, да и о Фоме Аквинском, случалось, рассказывал... не бойся, Жижина, я не буду при-

водить весь список, лучше остановись, пусти меня снова за руль. Да и кто его помнит теперь, этот список? Да и что – Спиноза? что – Николай Кузанский? Я и Мандельштама-то в шестнадцать лет не читал. А он мне однажды прочитал его наизусть (как мне показалось) всего, от «Камня» до «Воронежских тетрадей», и хотя он, конечно, не мог мне прочесть наизусть всего Мандельштама, но все же он мне прочитал так много из Мандельштама, за один вечер, у себя дома, сидя в антикварном кресле с перекинутой через правое колено левой ногой, которой легонько покачивал он в такт хореем, ямба и амфибрахиям, что это было для меня и в самом деле так, как если бы он прочитал мне за один вечер всего Мандельштама, поглаживая, по своей привычке, львиную морду на подлокотнике (милую морду, нисколько не грозную, всегда готовую улыбнуться), иногда отвлекаясь, чтобы раскурить свою трубку (он курил трубки; у него в комнате была целая их коллекция на особенном трубочном столике; среди них были трубки какие-то самые драгоценные, из какого-то самого правильного бриара, или еще из чего-то, из чего трубки должны быть) и тут же забыть о ней, оставить ее дымиться и гаснуть в пепельнице (где она грустно склоняла набок головку); и не только он мне прочитал за один вечер всего (как показалось мне) Мандельштама, но он дал мне (с обязательным возвратом, но очень надолго, чуть ли не на год) американское, запретно-заветное издание Мандельштама (я таких книг до этого и в руках не держал): том стихов, и том прозы, и еще один том, дополнительный (и как же я шел после этого вечера, с этими книгами в сумке, по заснеженным улицам, как ехал потом в метро, обеими руками держа свою сумку – на длинной лямке, рюкзаков тогда еще не было, – прекрасно сознавая, кстати, что это жизнь моя начинается, мир для меня открывается; или это я задним числом сознаю теперь? нет, я осознал это сразу, числом самым передним). Он же передал мне свое (в ту пору, впрочем, уже стихавшее, если я правильно понял) увлечение Томасом Манном, в мои, если я не ошибаюсь, семнадцать; и не просто передал мне свое увлечение, но (в отличие от Мандельштама, которого я честно ему вернул, которого, в таком же точно издании, нарочно ходил покупать потом, спустя вечность и впервые оказавшись в Париже, в лавку YMCA-Press на rue de la Montagne Sainte Geneviève; изданий Мандельштама к тому времени уже было множество, но я хотел точно такое же, американское, середины шестидесятых; оно там, на счастье мое, нашлось) – но (в отличие от О.М.) он подарил мне, в конце концов, «Иосифа и его братьев», два бирюзовых тома, в переводе Соломона Апта (ценность тоже по тем временам невероятная, ни в какой валюте не исчислимая, хоть и без сладкого привкуса крамолы). И не потому (я думаю) подарил, что у него был дубликат; а потому что решил, что мне эти два тома нужнее (у него оставался, впрочем, немецкий оригинал). В пору нашего знакомства это уже не была его *любимая книга* (или так он мне говорил), но была его когда-то в прошлом *любимая книга*, которую еще открываешь, но уже все реже и реже, заглядывая уже не столько в нее саму, сколько в свое же прошлое, в свою же молодость (как и я теперь, случается, заглядываю в нее; впрочем, уже совсем редко; раз в десять лет). Он читал, помню, Гете, тоже и разумеется – по-немецки; в каком-то парке (парке? или где-то на даче? где-то в лесу? среди деревьев, зимою...) рассказывал мне про «Избирательное сродство», которое и мне, по его словам, следовало бы прочитать – или, наоборот, пока не следовало читать, а следовало когда-нибудь потом прочитать, потому что это книга взрослая и для взрослых (говорил он, осторожно ступая по снежному насту, по укатанной, что ли, какими-то санками, вдруг начинающей сверкать в памяти, на зимнем солнце, снежной дороге...); взыскующих истины юношей она обычно не вдохновляет (я с тех пор повзрослел, прочитал, да так и не вдохновился). Он всегда ступал осторожно, очень медленно, даже если никакого не было снежного наста; как будто обдумывая, куда ему поставить ногу и стоит ли ее вообще куда-нибудь ставить; как будто каждый шаг его тоже был пусть маленькой, но все-таки мыслью. Там интересное происходит с именами (говорил он, это я помню): в именах всех четырех героев скрывается имя Отто – и в двух женских именах и в двух мужских именах. Они все втайне Отто: и Шарлотта, и Оттилия, и Эдуард, выбравший второе имя (у немцев часто бывает два имени, говорил Яс с видом

знатока заграничной жизни; бывает и больше), чтобы его не путали с другом юности, которого все называют капитаном, хотя и он тоже Отто. И что же? И все связаны; между четырьмя персонажами протянуты тайные нити. И все меняются местами: Шарлотта замужем за Эдуардом, но избирательное сродство влечет ее к капитану; Эдуард женат на Шарлотте, но влюбляется, конечно, в Оттилию. Это конструкция; в жизни не бывает таких конструкций. В жизни все еще сложнее и запутанней. Но и в жизни бывают тайные нити, тайные связи...

Не потому, все-таки и в первую очередь, я уже не мог без него обойтись, что он ссудил меня Мандельштамом и подарил мне Томаса Манна, научил меня видеть живопись, слышать музыку. Но потому что я сам был взыскующим истины юношей в свои шестнадцать, семнадцать и восемнадцать. Я ничего не понимал в жизни, в мире. Я совершенно не знал, как вести себя, чему верить. Мир обрушивался на меня тысячами голосов и тьмой мнений. Одни звали в церковь, другие предлагали водку и, *sit venia verbo*, баб как решение всех проблем, утешение в любых невзгодах, третьи совмещали водку с причастием, баб с литургией. Были завзятые пижоны, неисправимые модники, видевшие смысл жизни в посещении магазина «Березка». Были просто «фарцовщики», как это тогда называлось. Были хиппи, диссиденты, идеалисты, карьеристы, наркоманы, подонки. Одни желали обогатиться, другие достичь nirваны. Читатели Кьеркегора с наслаждением слушали Led Zeppelin и Pink Floyd. Кто-то верил в науку, рассуждал об искусственном разуме. Другим было плевать на разум, даже естественный. Третьи верили в интуицию, экзистенцию, Софию Премудрость, астральное тело. Никто не верил в марксизм. Все смеялись над Брежневым. И мы смеемся, Жижи. А мне бывало, как вспоминаю теперь, не до смеха. Все путалось, все кружилось во мне, в голове моей. Все и теперь кружится, и теперь путается; времена и мысли наползают друг на друга, как льдины на реке или на море; все сразу, кружась и путаясь, является перед внутренним моим взором. Но теперь я к этому, что ли, привык. Я как-то научился с этим справляться, ну... более или менее. Получается иногда хуже, иногда лучше... К тому же теперь какие-никакие, но есть у меня убеждения. Скорее никакие, чем какие, но все же они у меня теперь есть. Они меняются, но, по крайней мере, меняются постепенно, меняются исподволь, не каждый третий вторник, не каждый второй четверг. Наверное, молодость – самое трудное время жизни. Все колеблется, зыблется. И ум, еще в сужденьях зыбкий... Это сказано про тогдашнего меня, я теперь полагаю. Других атрибутов незабвенного Ленского – ни вечно вдохновенного взора, ни всегда возвышенной речи, ни черных до плеч кудрей – у меня не было; но зыбкий в сужденьях ум у меня точно был. Мои кудри были не кудри, а патлы, почти хулиганские, достойные лучших представителей подмосковной шпаны, пригородной урлы (я под них не подделывался, скорей их боялся, просто так само собой получалось: дух времени выражается даже в прическе); и никакая надежда меня не лелеяла, новый блеск и шум мира если и пленяли, то столь же часто и отталкивали меня, и цель жизни была для меня, конечно, загадкой, но отнюдь не всегда заманчивой, чудес не подозревал я, а уж в то, что где-то есть родная душа, только и ждущая, как бы поскорее соединиться со мною, не верил ни на йоту, ни на самую малую толику. Или я клевету на себя? Я не знаю теперь, каким тогда был; не вижу себя тогдашнего. Вижу себя на фотографиях, с этими пригородными патлами, с какими-то кретинскими усиками, которые я не сразу научился сбривать... Но что я на самом деле думал, как себя чувствовал, как смотрел на мир в семнадцать и в восемнадцать? Наверное, я был в гораздо большей степени Ленским, чем мне теперь кажется. Потом я быстро повзрослел, возмужал. Порвал со всей своей молодостью; сочинил другого себя. Это было потом. Пока не наступило это *потом*, никакого спасения не было от зыбкости, шаткости, от ощущения потерянности в большом непонятном мире.

И да, я ждал от него, Яса, каких-то важнейших слов. Сразу поверил, что он их знает. Что он вообще *знает*. Я не мог бы сказать, что именно знает он. Но он *знает*, и потому так важно все, что он говорит, все, что он делает. Я, собственно, жизни надеялся у него научиться... Научился? Ну, чему-то, наверное, научился. Точно не автомобильной езде, объявила Жижи,

возмущенно вздрагивая от моих обгонных маневров. А он на машине и не умел ездить, он ездил всюду и всегда на такси, мог позволить себе ездить всюду и всегда на такси, даже за город. Я в ту пору не спрашивал себя, откуда у него столько денег. Но денег было много, как-то даже бесстыдно много. Он их явно не копил, не ценил, тратил с шиком. И да, я с ним впервые оказался в «Арагви», в «Национале», в «Пекине». Его там знали, принимали по первому разряду, с околоточным подхалимством, сажали за лучший столик, получали несусветные чаевые. Он был такой большой, вальяжный; такой, во всем, барин. Он не был уж таким большим; был, как некогда выражались, хорошего среднего роста; но он словно рос и ширился, обсуждая меню с опереточным официантом (судак-орли, Яков Семеныч, сегодня отменнейший; или это я придумываю теперь?). Смешно только, что я сидел с ним за столиком в «Метрополе», за поеданием судака-орли с соусом, понятное дело, тартар, и нельзя сказать, чтобы я брезговал этим судаком-орли, этим соусом тартар, вовсе нет, я наслаждался и тем, и другим, и вообще всем вокруг, и угодливостью официанта, и понимающими улыбками знакомых Ясу, за соседним столиком, дам, их высокими, по тогдашней моде, прическами (*эшафодажем*, как Яс иногда выражался), и светом на скатерти, и цинандали, и даже боржоми, а в то же время я смотрел ему в глаза, ловил каждое слово, ждал, что он сейчас откроет мне истину, смысл жизни, вот прямо сейчас. Так-таки истину? так-таки жизни? Да, ни больше ни меньше.

И он это понимал, этим-то, наверно, и наслаждался. Он рассказывал по-прежнему о ван Эйке, и это было всегда интересно, всегда очень умно; или он говорил о Набокове; или о Максе Фрише, которого любил едва ли не больше всех из тогда еще современных писателей; или рассуждал о достоинствах цинандали, мукузани, киндзмараули; или о том, как надо пить коньяк (из пузатых рюмок, согревая его в руках, понюхивая, потом отпивая крошечными глоточками); и это тоже было интересно и тоже умно; и вообще все, что он говорил, о чем бы ни говорил, было умно и, следовательно, интересно (и потому было так интересно и так умно, что, казалось мне, он к любому *предмету* мысли прикладывал такое ее *количество*, какого этот предмет не всегда и заслуживал: количество, ни в каких единицах, наверно, не измеримое, но зримо копившееся, как будто клубившееся, в его большой, понемногу лысеющей голове; потому, иными и простыми словами, что он давал себе время подумать, не убегал от усилия мысли, как убегаем, увы, мы все); он не мог не видеть, однако, что я совсем другого от него жду, что я всему верю, что он говорит, что я в его руках, что он может все, что хочет, делать со мною. Это недолго продолжалось; рано или поздно я ведь должен был понять, что и он не знает истины, что и ему смысл жизни неведом. Да и какой вообще смысл? Но ведь какой-то должен быть, Яков Семеныч; ведь не может не быть никакого? Ведь это все не может быть *просто так*? Или мы *просто так* здесь сидим, *просто так* говорим о ван Эйке? Тогда зачем говорить о нем? Можем не говорить, отвечал он; можем говорить о Рогире, о Рембрандте... Тут, случилось, улыбка почти мефистофельская пробежала по его мерцающим внутрь глазам. Спору нет, мы все жаждем Смысла (в единственном числе, с большой буквы), или хоть смыслов (во множественном и с маленькой), и если не смыслов, то смысликов; только где же их взять-то? Смысликов, смыслишек, смыслиончиков... Хохочешь? Ну, хохочи... Я хохотал на весь «Метрополь», на полный «Националь», но я вправду жаждал Смысла (или хоть смыслов); никакими смыслиончиками не готов был удовлетвориться. Иногда он отвечал мне все же всерьез. Смысл есть, но он открыт только Богу. Бог и есть Смысл. Но Бог бесконечен, безначален, непостижим, Бог есть совпадение противоположностей, абсолютный максимум, как выражался Николай Кузанский, бездонная бездна, безосновная основа всего, как говорил Яков Бёме, сходжение прямых линий, число всех чисел, бессловное слово. И все наши слова в лучшем случае на него намекают. Между нашими словами и божественным Словом различие столь же бесконечное, сколь бесконечен сам Бог. Если Бог есть бесконечность, то какая конечная мысль, какое смертное существо способно его постичь? И все, что я говорю, это только земные, робкие слова, беспомощные намеки... Ну а мы-то что должны делать? Тут вновь, случилось, мефи-

стофельская улыбка пробежала по глазам его и губам. Мы-то? Пить цинандали... А у тебя, что же, есть теперь лучший ответ? Помилуй, Жижи, у меня вообще нет никаких ответов. Только я не стал бы говорить о божественном... А он верил в то, что говорил? Я не знаю. Иногда мне казалось, что да, иногда казалось, что нет, что он просто играет с разными мыслями, просто пробует их на зубок. Только эта игра была всерьез, игра настоящая, та игра, которая не-игра; вот в этом убежден я по-прежнему.

Впрочем, дело не в мыслях (любил говорить он). Ты думаешь, что если набредешь на верную мысль, то будешь знать, как жить, – и все у тебя начнет получаться? Вот еще! С какой стати? Человек не живет своими мыслями. Человек живет своим безмыслием. Человек живет; живет и живет; а когда начинает мыслить, тогда и начинаются все его сложности. Мысль разрушает жизнь. Тот, кто живет, не мыслит; тот, кто мыслит, уже не живет... И это тоже (теперь я думаю) была такая игра (которая не-игра); такая маска, которую иногда он примерял; такой образ, который создавал он в своих и моих глазах. А любая мысль есть маска (как он сам же мне много раз говорил); в том числе и мысль о вреде мысли для жизни. Мы надеваем маски и снова снимаем их. Наше лицо под масками, наша суть и подлинность по ту сторону всех наших мыслей: вот единственное, что важно... Все же я от мыслей отстать не мог; в пятнадцать лет прочитал Шопенгауэра (первый том в русском переводе; второго не сумел раздобыть); и – все; пути назад уже не было. Самая глупая из приходивших мне в голову мыслей была, пожалуй, мысль о том, что а) можно научиться мыслить вообще, и б) что научиться мыслить можно на философском факультете Московского университета им. Ломоносова. Хорошо, Жижи, согласимся, что первая половинка этой мысли была не такой уж глупой, но вторая точно была полным вздором. Яс меня отговаривал. Неужели ты хочешь быть ввергнутым в зловонные бездны диамата, в ядовитые испарения истмата? Но я был упрям и наивен. Я твердил, что диамат с истматом будут везде, куда бы я ни *поступил*, а прослушать курс античной философии, средневековой философии, главное же – курс логики я все-таки должен. Тогда простому московскому школьнику, пусть даже отличнику и победителю всяких-разных математических (в других я не участвовал; математика была моим вторым – но все же только вторым, как мне тогда казалось, – увлечением) олимпиад, *поступить* на философский факультет университета можно было только *по благу*. В то прекрасное время все было по благу; когда время блага закончилось, настало время блатных... Другое дело, если ты *по комсомольской путевке* (что бы это ни значило, а неохота даже и выяснять теперь, что бы это могло значить) прибыл в Первопрестольную из Комсомольска-на-Амуре, из Пионерска-на-Иртыше, *по рекомендации райкома* – из Райска или из Адска, *по направлению обкома* – из Обломовки-на-Обрыве. Таких *рекомендованных* немногие вменяемые студенты обходили потом за столько верст, за сколько могли обойти; впрочем, отдельно, очень отдельно, взятые *командированные* ко второму курсу преображались, принимались читать Кьеркегора. Но я не прибыл в Первопрестольную ни из Адска, ни из Гееннска, и никакого блата у меня (то есть у моих родителей) не было; мой выбор они тоже не одобряли – как и все мои последующие *фокусы*, *грядущие закидоны*; мечтали, чтобы я стал врачом; вообще (и всегда) мечтали, чтобы я стал каким-то другим, если не похожим на них, то хотя бы понятным для них человеком (без *закидонов* и *фокусов*). Блат был у Яса (у Яса, иногда мне казалось, блат был везде; а где не было, там он его создавал). Яс позвонил кому-то, потом еще кому-то (я до сих пор не знаю кому) – и вопрос был решен. Ты помнишь, Жижи, прелестное слово *позвонок*? Нет, ты не помнишь, ты слишком еще молодая. *Позвонок* – это тот, кто поступает в университет или в какое-нибудь другое *высшее учебное заведение* (прости господи) – *по звонку*. Когда вопрос был решен, *позвонок поступил*, мои родители пожелали с Ясом, наконец, познакомиться. Это было ужасно. Они пригласили его в гости, и он пришел. Было долгое скучнейшее застолье – с полным набором ненавистных мне с детства советских салатиков (майонез, горошек, рубленое яичко), с отвратительно жирным грибным супом (навсегда мне запомнившимся, как запоминается постыдный поступок), с запеченным (как тогда было

принято) под луково-майонезной шапкой, все равно, как бы долго его ни запекали, резиновым мясом, – которым (то есть застольем) они, видимо, хотели его отблагодарить (больше отблагодарить было нечем). Они сами были вполне советские люди, особенно мой отец; конечно, они не понимали, что связывает этого странного взрослого дядю *с их мальчиком*; моя мама смотрела на него с плохо скрываемою опаской. Он же смотрел на них, со всеми их разговорами о политике и попытками поговорить об искусстве, как на смешных и трогательных детей (стараясь только, чтобы они не заметили, что он так на них смотрит). Они и не заметили; зато я заметил; мы с ним изредка исподтишка переглядывались. Мы были здесь двое взрослых, двое знающих в мире наивных невежд, двое думающих в мире сплошного бездумия. Ты смеешься, Жижи? Правильно делаешь. Я сам смеюсь. Или плачу, вопреки заветам Спинозы.

После моего зачисления в университет Яс, вообще обожавший делать подарки, со словами: ну, раз ты у нас теперь философ... и улыбкой в высшей степени мефистофельской, подарил мне отличную, каких в Совдепии не бывало, репродукцию Рембрандтова «Философа» – или «Философа в раздумье», или даже «Философа в медитации» (названия разнятся) – одной из самых странных его картин (они все странные, но эта страннее всех), с ее витой лестницей, уходящей в ту невероятную черноту, которой, кажется, никто, кроме Рембрандта, не владел и не ведал, с исподом этой лестницы, похожим на завиток какой-то гигантской мифической раковины. Я картину эту знаю теперь наизусть: она и в Москве висела, и в Мюнхене висит, и где только не висела у меня над столом, все в той же, теперь немного облезлой, случайной рамке, в которой Яс подарил ее мне. Сразу подумал я, что этот старый, седой и бородатый философ, похожий на библейского патриарха или пророка, одиноко сидящий под лестницей у высокого окна, тоже окруженного чернотой, – что это он сам, Яс, один из его *образов* и тайных портретов; он в старости или он в глубине души; еще я подумал, и если не сразу подумал, то много раз думал с тех пор, что все это – это окно, этот очаг, разжигаемый служанкой, этот огонь в очаге, главное, еще раз, эта витая лестница, занимающая почти полкартины, – что это и есть какая-то *глубина души*, внутренняя конструкция ума и сознания; что чем выше мы поднимаемся по лестнице наших мыслей, тем темней, черней, сложнее и запутанней становится все и в нас, и вокруг; и что он, Яков Семенович, именно это, может быть, и хотел сказать мне своим подарком. С другой (и в буквальном смысле, и в смысле метафорическом, метафизическом) стороны, свет все же падает на мыслителя из высокого сводчатого окна и в печи вздымается не очень даже и маленькое, ярко-желтое пламя.

Не помню уж, до или после *поступления позвонка*, попал я на застолье у самого Яса; одно из тех бесконечных, беспросветных застолий, с полной (опять-таки) выдачей заграничных напитков и русских закусок, или русских напитков и грузинских закусок, или грузинских напитков и якобы заграничных закусок, или уж как угодно, какие в то время порядочным людям периодически полагалось устраивать по любому поводу, безо всякого повода. Это был, скорее всего, Ясов день рождения, вот что это было такое (теперь мне думается); день рождения, на который Яс бы, наверное, меня не позвал, если бы он не был таким многолюдным, с такой выдачей напитков, закусок, красной икры, черной икры, шотландского виски, французского коньяка, цинандали (опять-таки), киндзмараули (еще раз), мукузани (вновь скажем), сациви, чахохбили и хачапури (и дальше, и дальше по заветному списку гурмана). Пора и нам подкрепиться, или уж дотянем до Бернкастеля? И я там был не единственный *никому неведомый молодой человек*; там, к моему изумлению и огорчению, еще оказалась парочка *молодых людей*, явно считавших себя его, Яса, учениками. Кто-то из них и вправду был его учеником, надо думать. Был какой-то его аспирант, какая-то его аспирантка. Были молодые, и немолодые, и даже совсем немолодые сотрудники института искусствознания, где он работал, или скорее бездельничал (как он сам же имел обыкновение выражаться; я, впрочем, скорее ему не верил); были сотрудники, сотрудницы Тамары Сергеевны; были ее родители, очень вальяжные, очень сановные (если не академик и жена академика, то уж точно член-корреспондент и жена члена-

корреспондента). Жена была никакая, а сам член роскошный, строго-седовласый, с начальственным басом и министерскими шутками, над которыми первым же и смеялся. На зятя оба посматривали с печальным и словно привычным недоумением, так, значит, и не сумев за долгие годы привыкнуть к нему самому, привыкнув лишь к своему же недоумению, как это, мол, их чудесная, обожаемая, шальная дочка ухитрилась выйти замуж за Еврея Евреевича, Якова Соломоновича («Семенович» был, конечно, благочестивой легендой, не-спасительной маской эпохи победившего антисемитизма); оба, впрочем, вскорости удалились. Шальная дочка, державная дама, счастливая обладательница всемирно-имперского бюста, посадила меня рядом с собою, время от времени меня даже потчевала то икрой, то сациви, милостиво склоняясь ко мне своей высокой рыжеватой завивкой, улыбаясь своими слишком зелеными для такого государственного великолепия глазами, так что я даже, пожалуй, рад был, когда собственно застолье закончилось, все разбрелись по комнатам и ко мне вернулся дар речи, способность смотреть еще куда-нибудь помимо ее декольте.

Посреди карельской березы и красного дерева обнаружился рояль, вполне, наверно, бехштейновский; за роялем обнаружился молодой человек (которого мне сразу захотелось назвать *юношей*... или это Тамара Сергеевна, иронически щуря свои слишком зеленые глаза, назвала его *юношей*? или она произнесла даже *вьюношь*, выпячивая полные губы?.. может быть; все может быть), не с патлами, как у меня, а с черными, вот в самом деле, кудрями, если не до плеч, то почти, которыми патетически потрясал он, наяривая Шопена. Его звали Аркаша. Да, именно так, его звали Аркаша, я его потом еще пару раз видел, всякий раз в Ясовом обществе. Рядом с роялем стоял другой молодой человек (которого вовсе не хотелось назвать *юношей*), без кудрей и даже без патл (можно так сказать? ну, допустим, что можно), зато в очках и с клокастой бородкой, каковой молодой человек (которого хотелось, скорее, обозвать одним из тех мерзких слов, какими обзывали молодых людей в мерзком мире, со всех сторон окружавшем этот дом, эту комнату, нашу юность: *парнем, пацаном, чуваком*) – каковой, следовательно, молодой человек (*чувак и пацан*; его я тоже потом встречал пару раз, тоже в Ясовом обществе, но как его звали, решительно не могу теперь вспомнить; кажется, Колей) стоял, собственно, возле этого в высшей степени бехштейновского рояля, чтобы переворачивать страницы Аркашиных нот, когда тот кивал ему, патетически встряхивая романтическими кудрями, но со своими обязанностями отнюдь не справлялся, на Аркашины кивки внимания не обращал, а если обращал, то не сразу, так что Аркаша пару раз сбивался с такта и кивал ему уже яростно, клокасто-очкастый же (кажется, Коля) невозмутимо продолжал барабанить пальцами по крышке рояля, очевидно, воображая, что это не Аркаша, но он сам сейчас потчует присутствующих очередной мазуркой, новым этюдом, или воображая, как бы он сам потчевал присутствующих очередным этюдом, новой мазуркой, если бы он был не безымянным очкасто-клокастым чуваком-пацаном (кажется, Колей, но, может быть, никаким и не Колей), а вдохновенным музыкантом, студентом консерватории, учеником Гилельса, гением, Шопеном, Бетховеном. Это было очень смешно. Вообще все было довольно смешно. Смешно уже, что человека могут звать в наше время Аркашей. Как могут человека звать в наше время Аркашей? Ну вот, значит, могут. Хорошо он играл или нет, я не знаю. По крайней мере, он, когда не сбивался с такта, играл вдохновенно, не только кудрями тряс, но и глаза закатывал, и как-то особенно, высоко и резко, с добавочным вывертом кисти, выбрасывал вверх левую руку, заканчивая этюд, завершая экспромт.

В конце концов, пришлось Шопену уgomониться: другие ведь тоже хотели поговорить, поиграть, пошуметь, показать себя, настоять на своем. Был еще какой-то очень толстый господин в жилетке, как потом выяснилось – тоже доктор всевозможных наук, зримо потевший, пыхтевший, рассказывавший с течением времени все менее приличные анекдоты, отпускавший все менее пристойные шуточки, после которых Тамара Сергеевна грозила ему пальцем, вздрагивала всем бюстом, а какая-то подруга ее (Нина? Вера?), сухая блондинка (из породы

завязтых лыжниц, страстных пловчих), притворно пугалась, стыдливо рдела, закатывала смеющиеся глаза, давая, похоже, понять, что еще одна такая шуточка и она бухнется в обморок; этот же господин в жилетке всем охотно демонстрировал поразительное умение так загибать свои толстые пальцы, что они почти касались, или в самом деле касались, тыльной смуглой, восточно-волосатой стороны его мясистой ладони. Яс, по-моему, смотрел на все это как на театр теней, театр зверей. Опять подумал я, что он мог бы просто взять и выйти, что все это не имеет к нему отношения. А в то же время все вращалось (и все вращались) вокруг него (не только потому, что он был именинником); все искали его внимания, его одобрения (не одни лишь взыскующие истины выюноши, кудрявые гении, клокастые чуваки). Потом он вдруг опьянел. Он посмотрел на меня своими всегдашними, черно-агатовыми, одновременно ясными и глубокими, веселыми и печальными, мерцающими внутрь и отрешенными от мира глазами, сказал мне что-то (забытое), отвернулся, а когда посмотрел снова (через минуту), я понял, что он совершенно пьян (в зюю, в дупель).

За полночь, когда гости разошлись, ученики (или уж я не знаю, как назвать их) остались, когда был выпит крепкий чай с домашними пирогами и омерзительно сладким тортом, купленным, наверное, в «Праге» (или где полагалось в ту пору покупать торт для порядочного праздничного застолья), и пьяное веселье сменилось пьяной печалью, когда наступила та призрачная ясность в мыслях, которая обычно наступает в конце вечеринки, – за полночь и после крепкого чая с тортом из «Праги» Яс (я помню) начал спрашивать оставшихся учеников (или как бы ни называть их), что, собственно, они думают – о нем, Ясе. Скажите мне честно, что, собственно, вы думаете – обо мне. Самое странное, что все попытались ответить. Разумеется, это была вариация на вечно-русскую тему «Вася, ты меня уважаешь?», но ребята были молодые, глупые, на Яса смотрели во все глаза, ко всему, что он говорил, относились с трогательной серьезностью – и очень (ну, очень!) хотели показать ему, заодно и всем прочим, заодно и себе самим, свой глубокий ум, свою пронизательность, смелость своих суждений. Я был хуже всех, говорил дольше всех. У меня была в то время целая (если угодно) теория (вдохновенная чтением «Иосифа и его братьев»), с которой я прямо-таки носился (по Москве и окрестностям), пытаюсь (без большого успеха) приложить ее к разным людям. Смейся надо мною, Жижи. Мне ведь было всего семнадцать, восемнадцати еще не было. Это называлось у меня: о *первом*, *втором* и *третьем*. Все люди, по этой теории (которую, следовательно, и пустился я излагать в ту бесконечно давнюю ночь, посреди заметенной снегом Москвы, молчавшей за окнами, за открытой наконец форточкой, куда улетал табачный дым – ядовитый дым «Столичных», пахучий, заграничный дым «Мальборо», еще более пахучий, прекрасный, райский, эдемский дым Ясовой трубки, – собравшийся за вечер в музейно обставленных комнатах) – все люди делятся на *первого*, *второго* и *третьего*. *Первый* – это патриарх, основатель рода или династии, Авраам, пускающийся в свое странствие; тот, с кого все начинается, с кого начинается легенда, начинается миф, тот, кто только-только вышел из анонимной, архаической темноты, из первобытной безличности, еще хранит с нею связь; человек еще природный, но уже живущий в истории, уже обретающий лицо и личность, уже что-то *значащий*, иногда очень много значащий в мире. Нет, Жижи, не этими же словами. Вряд ли я мог говорить вот этими же словами. Но какими-то похожими я говорить уже мог, и что я говорил это, помню совершенно отчетливо. Черты *первого*, говорил я, есть, например, в Льве Толстом. И есть, с другой стороны, на другом конце, *третий*, завершитель, любимец богов и Бога, благословенный благословением неба и благословением бездны, лежащей долу, Иосиф Прекрасный, гений, Пушкин, Моцарт, тот, кому все дано, все дается, все удается, кому все завидуют, кем все восхищаются. А между ними, говорил я, *второй*, Иаков, уже не начинатель, но еще и не завершитель, самый сложный, самый противоречивый, самый мучительный, но в известном смысле и самый важный персонаж из всех трех. Ему трудно приходится. Он редко бывает в ладу с собой. В нем нет той простоты, решительности, непосредственности, уверенности в себе, какая свойственна *первому*. И нет легко-

сти, свободы, благодатной естественности и, по-своему, тоже простоты *третьего*. Он должен все добывать с бою, все оплачивать старанием, страданием, сомнением. Он всегда на распутье. И он всегда в пути, всегда странник, у него меньше всего шансов *дойти*...

Я видел, что Яс был тронут. В чистом виде, сказал я, не бывает, разумеется, ни *первого*, ни *второго*, ни *третьего*. Но в каждом кто-то преобладает. Я и до сих пор так думаю (говорил я Жижи, когда мы с ней мчались по шестидесятой автостраде вдоль Рейна). Мой собственный отец был типичный *первый*; потому я немало от него натерпелся. Вы, по-моему (говорил я Ясу в ту бесконечно давнюю ночь, посреди молчавшей за окнами, заметенной снегом Москвы) – вы, по-моему, самый настоящий *второй*, на что (говорил я, шалея от собственной дерзости, извиняя ее действием выпитого мной виски) – на что, Яков Семенович, намекает уже ваше имя. Тут он поднялся со своего львиноголового кресла, пошатываясь подошел ко мне и со словами (мне навсегда запомнившимися) «не подумай, что это спьяну» (хотя это и было спьяну, с чего же еще?), обнял и поцеловал меня очень крепко, прямо в губы, даже поднял руку, чтобы, видимо, провести ею по моим волосам, погладить по голове; потом все-таки опустил. Этот незавершенный жест еще долго меня преследовал. – Насчет Толстого ты не прав (объявила, к несказанному изумлению моему, Тамара Сергеевна, вообще-то занятая составлением пустых чашек и полных пепельниц на расписной огромный поднос). Толстой (объявила она) был, по твоей теории, *первым*, но пытался стать *вторым*. И в сущности даже стал. А вот Достоевский... Но что она сказала о Достоевском (унося поднос), я уже не могу теперь вспомнить. Я только помню, что тут все пустились примерять мою теорию к себе и соседу (главное, конечно, к себе). Аркаша твердо потребовал, и грозный взгляд его, заранее возмущенный возможными возражениями, потребовал еще тверже, чтобы его, Аркашу, немедленно признали *третьим*, самым *третьим* из *третьих*, самым Моцартом из всех Пушкиных, благословенным гением, любимцем муз и богов. Очкасто-клокастый провозгласил себя *тоже вторым*, но с элементами (он, по-моему, так и сказал: с элементами) *третьего*. Где уж он нашел в себе эти *элементы*, одним музам ведомо. Как же, как же, объявил Яс (с горестно-мефистофельской усмешкой). Люди, в большинстве своем, не *первые*, не *вторые* и уж точно не *третьи*. – А какие же? – А вообще никакие, вообще *нулевые*.

А мы лучше спросим себя, что нам эта Бельгия, в которую мы едем (зачем-то). Мы же едем в Бельгию – или уже не едем? Мы можем еще вернуться – или доехать до Бернкастеля, посмотреть на тот дом, где родился Николай Кузанский, на дом престарелых, им основанный, существующий до сих пор, – и поехать обратно. К вечеру были бы в Мюнхене. И это было бы самое умное (говорил я Жижи), потому что мир, похоже, закроют, потому что эпидемия ширится, потому что все вообще очень страшно. Мы не поехали обратно; мы свернули с автострады на федеральную дорогу, идущую через Хунсрюк, местные, не очень высокие, но прекрасные горы, отделяющие долину Мозеля (куда нам и нужно было) от долины реки с замечательным названием Нае («Близь»; «Близь течет вдаль», говорит немецкая поговорка: In die Ferne fließt die Nahe; на самом деле она течет в Рейн, от которого мы отдалялись). Дорога идет поверху; собственно, как сообщила мне дотошная Жижи, в свою очередь справлявшаяся с айфоном, куда я рулил (в то же время стараясь не упустить, наоборот: впустить в себя подробности пейзажа, перелески и облака) – это, собственно, военная дорога, с необыкновенной скоростью, всего за два года (1938–1939) проложенная нацистами (по следам древней римской, так называемой Авзониевой дороги), чтобы в следующем, 1940 году двинуть танки на Францию. Это не мешает ей быть одной из прекраснейших дорог на Земле. Близь течет вдаль; близь перетекает в даль; за каждой близью открывается новая даль. Даль всегда синяя. За синей далью – голубой горный кряж, за ним еще кряж, уже облачный. Какой мир большой, какое пространство огромное. Ветряные электрические мельницы с величавой неторопливостью крутили свои лопасти то на одном склоне, то на другом; был бы я Рогиром, нарисовал бы их тоже. Не говори глупостей. А что? Ведь это тот же ландшафт, что на великих старых кар-

тинах; мы узнаем его, разве нет? Всегда любил я эти задние дальние планы у ранних фламандцев, то таинственное, что мы видим в каком-нибудь отворенном окне, как на портрете «Мужчины, читающего письмо», который висит в Лондоне и считается работой не самого Рогира, но кого-то из учеников Рогира, усвоивших его приемы, но не совсем, может быть, овладевших его мастерством; или то, что видим мы за колоннами и балконом, в самом центре картины, но при этом в глубочайшей ее глубине, на знаменитой ван Эйковой «Мадонне канцлера Ролена», перед которой Яс, по его же словам, простоял полдня в Лувре, когда впервые, в еще густо, глухо советское время, к собственному изумлению, оказался в Париже (до этого он был *невъездной*; только Тамара Сергеевна, благодаря, наверное, своим сановным родителям, чисто арийскому происхождению и великодержавному бюсту, была *выездная*), о каковой своей поездке (которая для меня самого в начале восьмидесятых была как поездка на Луну или Марс) он рассказывал мне в пленительных подробностях, с восхитительной обстоятельностью, в какой-то, тоже теперь всплывающий в памяти, без *вчера* и без *завтра* день, тусклый и зимний, когда мы шли с ним (но почему? и куда? и зачем?) мимо еще в ту пору курившегося посреди Москвы, исходившего клокастым паром, в окружении заснеженных веток, бассейна «Москва» (напоминавшего, что ли, круг ада, один из кругов его, откуда в купальных шапочках выглядывали лишь отдельно взятые головы грешников), и затем вдоль реки, и по дотоле мне неведомым задворкам Замоскворечья, и сколько раз я бы ни ездил потом в Париж, я, в сущности, только тем и занимаюсь всю жизнь, что сличаю свои впечатления с его тогдашним рассказом, с возникавшим перед моим внутренним взором, покуда плутали мы в задворках Замоскворечья (по пути неизвестно куда, неизвестно зачем), образом туристического Монмартра, и проколотого чертовой черной башней Монпарнаса, и неизменной, аркадно-квадратной площади Вогезов, и порочного, конечно, Пигаля, где тогда еще были натканы по углам проститутки, и еще не подозревавшего ни о каких стеклянных пирамидах, стекляннейших пирамидочках Лувра, где он, Яс, по его же словам, убил полдня на созерцание «Мадонны канцлера Ролена» и другие полдня на созерцание не могу теперь вспомнить чего; всегда и больше всего на свете (еще раз) любил я (и продолжаю любить) эти дивные дальние планы у ранних фламандцев, с их не всегда еще выверенной, скорее интуитивной, но уже несомненной перспективой: все то таинственное, что мы видим сквозь раскрытые окна или за балконом с колоннами, прямо в центре картины, но в глубочайшей ее глубине, как у (еще и еще раз) ван Эйка, или как на цитирующей его (ван Эйка) картине Рогира «Святой Лука рисует Мадонну» (*ответ младшего мастера старшему*, по Ясовой формуле, из его уже почти мифических для меня подготовительных лекций), оригинал которой находится в Бостоне, а сделанные учениками *младшего мастера* копии – в Эрмитаже, в Не-помню-где и в мюнхенской Старой Пинакотеке, из чего, разумеется, следует, что я хожу смотреть на нее вновь и вновь, и что, когда Яс в 1995 году приезжал ко мне в Мюнхен, мы хоть и не полдня провели перед этой относительно ранней работой Рогира (написанной им, как рассказал мне Яс, скорее всего где-то в конце тридцатых или самом начале сороковых годов – пятнадцатого, разумеется, века, важнейшего века истории – после хотя лишь предполагаемой, но с большой долей уверенности предполагаемой современными учеными встречи наших двух любимых художников в Брюгге, где ван Эйк, по-видимому, как раз работал над этой самой «Роленовской Мадонной» по заказу этого самого Николя Ролена, всесильного канцлера Бургундского герцогства, впоследствии, когда картина была закончена, забравшего ее себе, так что Рогир, приехавший на свидание с великим Яном из Брюсселя, где он сам в то время уже занимал высокий пост «городского художника», не мог бы ее увидеть после того, как всесильный канцлер забрал ее в свою домашнюю церковь в Отёне, а значит, и не мог бы ее процитировать в своем «Луке»; Яс по-прежнему говорил обо всех о них так, как будто позавчера с ними простился, послезавтра снова должен был встретиться) – не полдня, но все же почти полдня простояли мы с ним перед этим «Лукою», то уходя от него, порознь или вместе, то снова к нему возвращаясь, встречаясь вновь перед ним, как когда-то, в незапамятные времена,

на дальнем плане жизни, в музее им. Пушкина перед мужским портретом, который, несмотря на все твои возражения, Жижи, я решительно продолжаю считать портретом неизвестного из мадридского собрания Тиссена-Борнемисы (и на котором дальнего плана не было вообще, как его очень часто не бывает на ван Эйковых и Рогировых портретах, именно портретах и только портретах); и хотя в своем качестве счастливого обитателя баварской столицы я сколько душе моей угодно могу заходить в Пинакотеку смотреть на эту работу (что я и делаю), я каждый раз чувствую новое волнение, новое восхищение, и прежде всего, наверное, потому, что *узнаю* его на этой картине, точно так же, как *узнаю* (узнавал) ландшафт, по которому (сквозь который) мы ехали с Жижи в Бельгию (хотя лучше было бы повернуть нам обратно).

Его – кого? Его – Рогира? Считается, что в этом евангелисте Луке, рисующем Богоматерь, он изобразил себя самого; оно и понятно: когда художник рисует художника (пусть даже тот, кого он рисует, по совместительству еще и апостол), он не может, наверное, не рисовать свой тайный, явный (совсем явный, очень тайный) автопортрет. Святой Лука здесь тоже не смотрит на нас, как не смотрят на нас ни Франческо д'Эсте из музея Метрополитен, ни Карл Смелый из Берлинской картинной галереи, ни, например, ван Эйкова чета Арнольфини, если это действительно чета Арнольфини, из лондонской Национальной галереи (самые, как любил говорить Яс, загадочные персонажи мирового искусства); но там, на тех портретах, мы не знаем, куда они смотрят; они там смотрят в неведомое «куда-то», которого мы не видим, но куда мы тоже начинаем смотреть вместе с ними; святой же Лука смотрит, конечно, на Богоматерь (с очень смешным кукольнообразным Младенцем, которого она кормит высокой белой маленькой грудью: впоследствии, кажется, никто уже так рисовать ее не решался); и смотрит на нее как художник: с той отстраненной нежностью, с тем удивленным, почти растроганным вниманием, без которого, я полагаю, искусства быть и не может. Он смотрит на нее и в то же время смотрит в себя (как и она в себя смотрит); если считать, что Рогир создал все это вокруг 1440 года, то ему самому тогда было около сорока; он и апостола изобразил примерно сорокалетним, уже с кругами усталости под глазами, с уже заметными морщинами вокруг губ и на лбу, уже наметившимися складками шеи; довольно сильно постаревший к 1995 году Яс смотрел на все это – и на эту погруженную в себя Богоматерь, и на этого апостола Луку (он же, так хочется верить в это, сам Рогир) с листком бумаги и серебряным карандашом в тонких, удивительно длинных пальцах, на эти складки ее темного одеяния, так положенные художником на шашечном, с вписанными в некоторые (не все) квадраты ромбиками, полу, что в одном (и только одном) месте они (эти складки) оказываются на одной линии с едва различимой под его (св. Луки) одеянием скамеечкой, что как будто перебрасывает мост между ними, создает связь между ними, Мадонною и апостолом (связь, которой нет и не может быть на «Роленовской мадонне» ван Эйка, потому что там не художник – там человек власти, с лицом жестким, беспощадно-корыстным, – смотрит на Богородицу), каковой (метафорический) мост делает излишним мост через реку за заднем плане (у ван Эйка он есть, у Рогира как раз нет; потому что – зачем? мост уже переброшен; зато у ван Эйка на заднем плане весь мир, вся вселенная: и города, и замки, и церкви, и холмы, и поля, и корабль на реке, и, действительно, мост, и не простой мост, но с отдельной башенкой, и ее отражением, и крошечной лодочкой между двумя опорами, и на самом дальнем, самом заднем плане – горы, уже фантастические, скалисто-снежные, по ту сторону мира, за пределами земной жизни; у Рогира же все это скромнее, соразмернее человеку: пара башенок и кусок зубчатой стены; и в дальней глубине горы, но такие же, невысокие, плоские, голубые, как вот эти, по пути в Бельгию, то есть такие же, какие он сам мог много раз видеть, путешествуя из Брюсселя в Дижон и обратно; а все же есть какая-то тайная тревога в этом пейзаже; и во всей картине – печаль, вовсе не тайная, хотя и неуловимая, необъяснимая...) – Яс (еще раз), в 1995 году, в мюнхенской Пинакотеке, смотрел на все это (казалось мне) так же, тем же, сразу вовне и внутрь повернутым взглядом (я *узнавал* его), каким апостол Лука смотрел на свою Мадонну, – и затем отходил, рассматривал другие картины (надолго задержался

перед Дюрером, на еще дольше перед Альтдорферовой «Битвою Александра»), и, возвращаясь к Рогиру, или, может быть, после, когда мы пили что-то (он, наверное, чай – он всегда пил чай, – а я кофе) в пинакотечном вытянутом кафе, возвратился (не мог не возвратиться) к своей давней, излюбленной, хотя и спорной (как он сам же и признавался), мысли (высказанной еще Эрвином Панофским, самим Эрвином Панофским, не кем-нибудь) о той связи, которую невозможно (нет, вопреки всем возражениям, никак не возможно) не заметить между появлением перспективы в европейской живописи, с одной, и, с другой стороны, представлением о бесконечности пространства и времени, как оно в той же первой половине пятнадцатого века было сформулировано Николаем, к примеру, Кузанским (годы жизни которого не зря же совпадают с годами жизни любимого нашего Рогира), в резкой противоположности со средневековым представлением о бесконечности Бога и конечности мира, отчего мы и видим, как правило, на средневековых картинах (скорее иконах) сплошной, закрытый, часто золотой фон, на каковом фоне (тоже символизирующем бесконечность, но бесконечность божественную) являются нам святые и ангелы, на картинах же эпохи так называемого Возрождения (сперва флорентийских, вскорости и фламандских) появляются эти невероятные, создаваемые как раз открытой тогда перспективой дальние планы, уводящие взгляд в бесконечность одновременно божественную и земную, туда, где параллельные линии сходятся; и на следующий, кажется, день (параллельные еще не сошлись) после этого посещения Пинакотечи мы поехали с ним в Голландию, и когда вернулись в Мюнхен, снова (если ничего я не путаю) провели сколько-то утомительно-счастливых часов в созерцании Рогира (и, что после Амстердама само собою напрашивалось, в созерцании Рембрандта); и затем я отвез его в Альпы, в Австрию, в высокогорно-великосветский Ишгл, откуда вскоре после нашей с Жижы бельгийской поездки начала по всей Германии распространяться зараза (или уже начала распространяться зараза, но мы этого еще не знали, когда 8 марта 2020 года подъезжали к Бернкастелю) и где, с одной из своих уже очень повзрослевших дочек, тогда (в 1995-м) убивала время (не знаю уж, катаясь или не катаясь на лыжах) не очень, но все-таки постаревшая Тамара Сергеевна; и на другой день я отвез их всех вместе на мюнхенский аэродром; и, глядя (за ужином в беспардонно дорогом альпийском ресторане, притворявшемся сельской харчевней; потом наутро за завтраком; потом в машине по дороге в Мюнхен) на (не очень, но все-таки) постаревшую, еще очень красивую Тамару Сергеевну, я (в том 1995 году) думал, признаюсь тебе, Жижы, примерно то же, что, случается, думаю и теперь (в 2020-м): что я совершил огромную ошибку и упустил величайший шанс своей жизни, не попытавшись тогда, когда-то, «на заре туманной юности», в 1980-м или 1981-м, завести с ней роман.

А что (прошу тебя, не сердись): что может быть лучше для семнадцатилетнего оболтуса (в патлах и с усиками), чем получить посвящение в *ars amandi* от такой великодержавной дамы, с такими зелеными глазами, такими имперскими формами? Мне нужно было дружить с ним и спать с ней, скажем просто и грубо. Мне это и в голову не приходило. Мне это еще как приходило в голову – как приходят нам в голову разные фантазии и прожекты, которые мы сами знаем, что не осуществим, не решимся (бросить все, устроиться работать в лесничество, жить отшельником, наблюдать за зверями и птицами). А это была не фантазия, это была возможность (была бы возможность, если бы я не был таким дураком). Он бы не возражал, я уверен. Он бы делал вид (мужьям это свойственно), что ничего не знает, не замечает; а сам бы все замечал – и был бы только доволен. Она, мне кажется, надоела ему еще до того, как они познакомились. О, разумеется, он был во всем джентльмен и держался с нею как джентльмен, но я-то смотрел внимательно, я-то видел, как она ему надоела. Для нее все это было всерьез: эта карельская береза, это красное дерево, эта (ненавистная Ясу) академическая дача то ли в Монине, то ли в Мозжинке, то ли (не помню) даже и в Жуковке, эти поездки в Эквазот и Перуантину, эти диссертации, защиты, банкеты, вообще весь этот ЦАРАПЦАПЦАП. Я теперь думаю (да и тогда я думал), что и ему это было не безразлично, даже очень не безразлично (ему же это даром

не досталось; ей досталось, а ему не досталось), но (и тогда я думал, и теперь думаю) он не любил в себе того, кому это было не безразлично, еще менее того, кому это было важно. Он хотел всего этого (этих вещей, этих денег, этих ресторанов, этих такси); но он не был (как была она) вполне тем, кто всего этого хотел, все это ценил, за все это боролся и всем этим наслаждался. Оттого он взял себе с нею, и с годами брал себе с нею все более, эдакий страдальчески-иронический тон (меня, мол, не понимают и никогда уже не поймут, ну и ладно), который не могу сказать, что очень мне нравился (ей так точно не нравился). Она называла это (намеренно выговаривая по складам) *вельзевульствовать* (не думаю, что сама придумала называть это так; он же, наверное, и придумал, на свою голову). Яша, не *вельзевульстуй*... Конечно, у него были любовницы (у кого не было в ту пору любовниц?); помню, как встретил его на улице (по-тогдашнему) Горького, возле Центрального телеграфа (где почему-то все всех встречали в ту фантастическую эпоху), в один из тех невыносимо жарких, душных, пыльных предгрозовых и томительных дней, когда только случайно оказываешься в Москве, не на даче, почему вся мужская половина улицы была в (каких-то, какие уж тогда водились) футболках (наверняка без надписей; в футболке с надписью *homo sovjeticus* на улицу не выходил: не решался, смущался), или в рубашках с коротенькими рукавчиками, и только один Яс – в потрясающем, пижонском, холщовом, с большими пуговицами, принципиально помятом пиджаке, под руку с высоченной, выше его (хотя он тоже был роста немаленького) девицей в очень заграничном, очень коротком летнем прозрачном платье, необыкновенно удачно обнажавшем ее великолепные ноги (предмет зависти и восторга всей улицы Горького, даже и самого Горького, Алексея Максимовича); девицей (имя забылось), оказавшейся мастером спорта и чуть ли не чемпионом чего-то (Европы, Галактики) то ли по гандболу, то ли по бадминтону (тоже не могу теперь вспомнить); явно шли они в сторону «Метрополя», где в другой раз (зимою) подсели к нам две (иначе не знаю, как сказать) фифы (Инна и Зина? или Аня и Таня?), очень веселые, очень хорошенькие, очень крашенные блондинки, одна из которых (хочется верить, что Инна, но может быть, Зина) так клала руку на Ясову, так к нему склонялась и так заглядывала в глаза, так посмеивалась, таким доверительным шепотком договаривалась с ним о свидании назавтра, что уже ни у кого, ни у меня, ни у официанта (порывавшегося и ей рассказать о достоинствах судака-орли) не оставалось сомнений в их близости; для того и проделывала все это, чтобы сомнений ни у кого не осталось; Яс не только не пытался ее утихомирить, но подыгрывал ей с явным удовольствием, с вызывающей и шальной усмешкой; вторая же фифа (предположим, что Зина, но возможно, что Инна) делала мне не очень понятные знаки глазами – отнюдь не строила глазки, – но скорее подмигивала, показывая на Яса, в том, видимо, смысле, что вот, Яс такой странный, вместо того чтобы выгуливать в «Метрополь» свою Инну (с подружкой), выгуливает патлатого мальчишку, то есть меня же, который, если таков был смысл подмигивания, при этом словно раздваивался: один был тот, кого Яс и выгуливал, другой должен был вместе с Зиной этому удивляться. Поскольку мальчишка был еще очень глуп, он не мог (дожидаясь судака-орли) не подумать о самосознании как раздвоении сознания, то есть о распаде сознания на собственно сознание и сознание сознания, о субъекте эмпирическом и субъекте трансцендентальном, о том, что «я мыслю» должно, по словам Канта, сопровождать все мои представления. Должно-то оно должно, но всегда ли сопровождает? Вот роковой вопрос, который я задавал себе, вместо того чтобы заняться второй фифой (Инной уж или Зиной) или заняться наконец Тамарой Сергеевной, чего ей явно хотелось.

А ей хотелось этого, теперь я уверен. Я был (смею думать) довольно хорош собою, несмотря на патлы и усики (или благодаря им). Я ходил в джинсовой курточке (на зависть другим первокурсникам), очень коротенькой, имевшей обыкновение задирается у меня на спине, когда я наклонялся или садился на корточки; такое же, помню, обыкновение было у водолазки, не черной, но, кажется, красной, скорее бордовой, которую тоже купил я, поди, не в магазинах «Москвошвее» (пижонство в моей жизни уже начиналось, хотя до Яса было мне далеко, да и

таких возможностей не было у меня). Мы сидели однажды на корточках на полу, у него дома, рассматривая то ли какие-то гравюры, то ли какой-то громадный альбом (из тех монстрообразных альбомов по искусству, которых ни на диване, ни на диванном столике не разложишь); вдруг склонилась к нам (в своей черной водолазке) Тамара Сергеевна. Тебе не холодно? – спросила она, проводя (теплой, мягкой, плотной) ладонью сперва вверх, потом вниз по этой моей голой спине. Подозреваю, что я покраснел. Покраснеть-то я покраснел, но ничего не последовало из этого. Ничего ни из чего не последовало. А были еще знаки, намеки. В другой раз я позвонил Ясу; подошла она; его не было. Она сообщила мне, что вечером уезжает на дачу (в Монино? в Мозжинку?); она уезжает, а он нет; он позже приедет... наверное. И ты приезжай; что тебе делать в городе? Мне было что делать в городе; но я долго жалел потом, что не поехал, что не понял намека, не услышал придыхания в голосе или сделал сам с собой вид, что намека не понял, придыхания не услышал. Мы же всегда делаем какой-то вид сами с собою. Если бы не делали, как, наверное, преобразилась бы наша жизнь... Все-таки я был слишком сильно увлечен им самим. Мне хотелось с ним говорить о ван Эйке, о Рогире, о пересечении параллельных линий в бесконечности перспективы, о самосознании субъекта, о Николае Кузанском и его ученом неведении. Потом (очень скоро) я начал сходить с ума от любви (отнюдь, увы, не к Тамаре Сергеевне; к просто Маре, без «та» и без отчества), и Яс (ненадолго) сделался чем-то вроде моего конфидента.

А между прочим, тогда как раз вышел (впервые в Совдепии) темно-красный, скорее бордовый (в цвет моей водолазки) двухтомник Николая Кузанского в русских переводах, и мне очень, я помню, понравилось, что бесконечная максимальная линия есть одновременно треугольник, круг и шар, и что математика лучше все прочих наук помогает нам в понимании божественных истин (а я математикой уже начинал заниматься всерьез... или почти всерьез), и что все на свете связано некоей соразмерностью, которую мы стремимся постичь, но, в силу бесконечной ее природы, никогда вполне не постигнем. Для меня это были лишь метафоры чего-то... я сам не смог бы сказать чего, и скоро я научился мыслить иначе, но все же читал это с наслаждением, с таким удовольствием, что даже запомнил зимний день, понемногу погасивший за окном моей комнаты (на «Юго-Западной», где еще я жил тогда с папой и мамой), и как я сидел на диване, глядя рукою его ворсистый валик, ногу закинув за ногу, отрываясь от чтения, глядя на замиравшее над белыми домами, белыми крышами морозное, в розовых росчерках, небо. Кто сказал бы мне тогда, что через сорок лет вместе с моей прекрасной спутницей и подругой, на спортивном, львино-рыкающем «Астон Мартине» я буду сворачивать с бывшей военной дороги, идущей по кряжу Хунсрюка, чтобы спуститься в долину Мозеля, в городок Кус (Kues), где Николай Кузанский (Nikolaus von Kues, или Nicolaus Cusanus; его настоящая фамилия была Kuyffts, то есть Krebs, то есть рак; по-русски быть бы ему Колей Раковым) родился на самом пороге важнейшего для нас с вами (не правда ли?) пятнадцатого столетия, в 1401 году, в семье торговца и судовладельца, очень небедного (если верить биографам). Городочек (Кус) такой маленький, что пришлось объединить его с городочком на другом берегу Мозеля (Бернкастелем), чтобы получилось хоть какое-то подобие населенного пункта; дотошливая Жижя сообщила мне, заглянувши в свой верный айфон, что по данным последней переписи в нем (то есть и в Бернкастеле, и в Кусе вместе взятых) насчитывалось 7134 жителя; интересно, кто из них посвятил свою жизнь ученому неведению, постижению бесконечного максимума и созерцанию единства противоположностей? Большинство, боюсь, посвятило ее получению профита с курортников и туристов, приезжающих сюда ради пеших и велосипедных прогулок по извилистым берегам реки, по окружным виноградникам и холмам – и ради, разумеется, мозельвейна, следы неумеренного потребления коего (не одной Руси есть веселие пити) обнаружили мы в виде огромных, из толстой проволоки, ящиков, если угодно – контейнеров, целиком заполненных пустыми бутылками, что (я подумал) дало бы, например, Ясу (после мозельвейна в особенности) хороший повод как-нибудь сострить насчет *заполня-*

ющей пустоты. Мир переполнен пустотой, сказал бы он (я подумал); вот, зрим, прямое тому свидетельство.

Мир (переполненный пустотой) еще не закрылся; но все уже было очень странно. Погода начала портиться, тучи мрачнеть. Дождь еще не шел, но явно стремился пойти. Было наводнение, как часто на Мозеле; бурливая, грязно-желтая вода разлилась по прибрежной стоянке; машину у дальней кромки еще можно было поставить, но не было уверенности, что, вернувшись, не застанешь ее затопленной; один бойкий белый «Фольксваген» объезжал другие, мирные машины, разбрасывая брызги из-под колес, воображая себя, похоже, амфибией, если не субмариной; косые линии разметки тоже уходили под воду, иногда все же светлевшую, даже сверкавшую, отражавшую облачные разрывы, небесные проблески. Мы долго стояли на мосту, глядя на этот разлив реки, синие знаки парковки, одиноко торчавшие из потока, бетонный причал для прогулочных катеров с готовыми оторваться от него красными сходнями, белые палки виноградников по холмам, рыжий кустарник над ними, далекие темно-лесистые склоны. Домишки жалобно жалась к реке; в таких городках еще видно, как мало места занимает человек в этом мире, как все вокруг его превосходит, его превышает.

Места мало, но времени иногда много; приют для престарелых, основанный Кузанцем (уже кардиналом, папским легатом, генеральным викарием Папской области) в 1458 году, за шесть лет до смерти, в своем родном городишке, существует, как сказано, до сих пор: двухэтажное белое здание, по местным меркам вполне внушительное, с красно-кирпичными карнизами и торцами, с высокой серой крышей, с выпирающими, как и полагается им, контрфорсами, готическими, как им и полагается, окнами встроенной в него церкви, с высоким, острым, в разорванное небо взлетающим шпилем, с золотым не-пушкинским петушком на кресте; через пятьсот шестьдесят два года после его основания мы просто зашли в него, повернув направо с моста; в церкви, еще открытой для посетителей (в отличие от собственно приюта и, увы, редчайшей, ценнейшей, по свидетельству знатоков, библиотеки Кузанца, хранящейся там по-прежнему), первым делом устремились, разумеется, к алтарю. Потому что вот он, Николай Кузанский, каким я впервые увидел его в первом томе того бордового (в цвет моей водолазки) издания (Москва, «Мысль», 1979 год); там он был черно-белый; и был только он, а на самом деле это трехстворчатый алтарь (складень), в срединной, самой большей части которого изображены известные события на Голгофе – три креста, на них два криво висящих разбойника и прямо висящий Иисус, под ними множество святых женщин с нимбами и не святых мужчин на конях, отчасти и пеших, и на самом переднем плане, ниже всех и ближе всех к зрителю – две коленопреклоненные фигурки, непропорционально маленькие по сравнению с другими, отчего они как будто выпадают из картины, оказываются не по ту, а по эту, нашу сторону незримой границы, отделяющей нас от изображенного, не внутри, а снаружи, или, лучше скажем, сразу и внутри и снаружи: Кузанец (донатор) и еще кто-то в белом (служка, спутник, откуда я знаю?). Они часто рисовали донаторов, эти средневековые, эти ренессансные художники, и ван Эйк, и Рогир, и все остальные (узнал я еще от Яса, сорок лет назад, в другой жизни): тот, кто дает деньги (на строительство церкви или приюта, или просто заказывает картину для приюта, церкви, чего угодно – как, скажем, канцлер Ролен заказал ван Эйку свою Богоматерь, как заказал ее же ему же некий каноник ван дер Пале для своей церкви в Брюгге, откуда она переместилась в музей Грунинге, в Брюгге тоже, где и перед каковой картиной нам с Жижой суждено было вскорости оказаться – знали бы мы, после какой встречи, с кем): тот, следовательно, кто дает деньги, имеет право (по их невероятной логике) увидеть свой собственный образ в обществе всех Марий, всех святых, самого Распятого, заодно и Дисмаса с Гестасом.

Этот алтарный триптих, по утверждению всезнающего айфона моей прекрасной Жижой (смейся, смейся), создан был безымянным кельнским художником, которого историки вынужденно называют «Мастером жития Марии», по его самой известной работе, тоже алтарной, тоже с донатором, сохранившиеся створки которой висят в мюнхенской, опять же, Пинако-

теке; я обожаю их; в особенности одну. Он считается продолжателем Рогира, этот безымянный кёльнский мастер; были ли они знакомы друг с другом? Скорее всего, были (утверждал в 1995 году Яс, стоя перед этими створками, одной в особенности, которую с самого начала мне хотелось ему показать); скорее всего, кёльнский мастер бывал во Фландрии в молодости, прежде чем возвратиться на Рейн создавать свои собственные шедевры. А это шедевры? Конечно. Впрочем, они оставили его (показалось мне) равнодушным; даже ангелы, похожие на маленьких крылатых человечков (из какого-то, что ли, комикса, из детской книжки или из детского сна), его не вдохновили, разве что позабавили; я же, попадая в «Пинакотеку», вторым делом (первым – к Рогиру) иду к этой створке, изображающей так (по-русски) называемую «встречу Марии и Елизаветы» (по-латыни: *Visitatio Mariae*, по-немецки: *Mariä Heimsuchung*, удивительным образом), когда будто бы забеременевшая от Святого Духа Мария отправилась в гости к своей кузине Елизавете, в свою очередь забеременевшей (не от Святого Духа, но тоже не последним человеком – будущим, ни много ни мало, Иоанном Крестителем, или Предтечей, знакомство коего с тем, кого предстояло ему возвестить, произошло, следовательно, еще до рождения обоих; я сам, помнится, учился в одном классе с сопливым мальчишкой, с мамой которого моя мама ходила в одну и ту же женскую консультацию, о чем обе мамы любили вспоминать на родительских собраниях); эти-то две беременные (беременность их почти незаметна), одна с непокрытыми волосами (потому что будто бы девственница), другая с закутанной белым головой, но с нимбами – обе, встречаются здесь на чудном, одновременно средневековом и ренессансном, фоне. Он средневековый, потому что он – золотой; потому что есть это золотое, светящееся, метафизическое небо, зримое только духовным зрением; не только всегда безоблачное, но безоблачное по определению, не допускающее самой возможности каких бы то ни было облаков, случайных подробностей, необязательных акциденций. А под этим средневековым небом – уже возрожденческий дальний план, синие горы, башни, город, дорога, путники на этой дороге; уже перспектива, и значит (при всех возражениях против сей почтенной теории), уже намек на бесконечность, не только божественную. Самое прекрасное (говорил мне когда-то Яс) – это мгновение перехода; волшебная грань между *уже* и *еще*... Но здесь самое прекрасное – ангелы; умильные темно-синие ангелы, похожие на крылатых человечков, на персонажей комиксов, детских книжек, на суперменов и бэтменов; или, может быть, на летающих людей Леонардо (о которых вряд ли мог знать безымянный кёльнский мастер, его современник). Знать он не мог, но духовным зрением все-таки видел (прозревал, как говорили когда-то). Вот так бы выглядели летающие люди Леонардо, если бы ему удалось построить один из фантастических своих аппаратов... Это там, в Мюнхене. На здешней кусовской картине никаких ангелов нет (к сожалению); но есть и этот средневековый золотой фон, и этот возрожденческий задний план с невысокими голубыми горами (теми же, через которые мы только что ехали), с башнями (мимо которых только что проезжали). А вот интересно (спросил я Жижи), редакционная коллегия издательства «Мысль» Института философии Академии наук СССР, когда в 1979 году выпускала в свет двухтомник Кузанца (с черно-белой репродукцией его изображения, на которое мы смотрим теперь вживе и в цвете), нарочно подобрала обложку под цвет его мантии? Совпадение с моей водолазкой было случайным, не сомневаюсь. Мантия, короче, оказалась густо-бордовой, а вот его шляпа (лучше, наверное, шапка?), на завязочках за спиной, поразившая меня еще тогда, на репродукции, своими размерами и тем, что она так смешно, по-детски, держится на шнурочках, – шляпа (шапка) эта оказалась ярко-, ярчайше-красной (как, видимо, кардиналу оно и положено); что до лица и взгляда, то лицо и взгляд оставались такими же, какими я помнил их с юности. Взгляд был по-прежнему устремлен ввысь, в горный мир; а лицо было суховатое, современное, здешнее, немолодое.

Еще есть в Кусе дом, где он родился, чуть дальше по затопленному берегу Мозеля; не один лишь дом, но и музей в этом доме. Мы туда не попали; музей был закрыт. Мир уже закрывался, и музей был закрыт. Он не потому был закрыт, что мир закрывался, а просто потому,

что в этот день (воскресенье) был у него выходной, и если не весь день был у него выходной, то в это время (во второй половине дня) уже начался у него выходной (о чем мы не знали, заранее не подумали, узнали только в пути, посмотревши в верный айфон). Все же был он закрыт (и мир уже закрывался). Еще не были закрыты кафе, еще и рестораны работали. И там везде людей было множество, в каждом ресторане и в каждом кафе, в которое мы заглянули. И все они были тесные, душные, плюшевые. Нет ничего пошлее этого плюшевого, рюшевого немецкого уюта; ничего неуютнее этого немецкого плюшевого, рюшевого уюта. И уже страшновато было заглядывать куда бы то ни было; уже невольно мы спрашивали себя и друг друга, кто каким вирусом вот сейчас на нас дышит (продавщица, официантка, молодая пара с большой, белой, грустной собакой, турецкое семейство со всем набором бабушек и детишек). Все-таки посидели мы в угловом кафе (оно же булочная) у моста, выпили кофе и съели по сухому сэндвичу, глядя на по-прежнему разлившийся Мозель, на воскресно-праздничных приезжих, тоже, похоже, устремлявшихся в плюшево-рюшевые кафе, под начинавшим крапать дождем, на двух сереньких монашек, устремлявшихся, очевидным образом, отнюдь не в кафе, но прямо в Царство Божие, решительным шагом, на трех (почему и откуда?) индусов (двух индусок в чем-то очень цветном и пестром, одного индуса в европейском пальто), устремлявшихся, наверно, в Нирвану.

Итак, еще раз: что для нас Бельгия (куда мы устремляемся)? Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя... Всегда я спрашивал себя, почему именно бельгийский, почему не английский, французский? Потому что звучит лучше, интересней и неожиданней? Английский пистолет, подумаешь! А вот бельгийский... И вовсе даже не потому, отвечала всезнающая Жиж (уже в машине, усаживаясь за руль). А потому бельгийский, что в Бельгии, и даже не просто в Бельгии, но именно в Льеже (где мы собирались заночевать), а еще точнее под Льежем, в городишке Эрсталь, находился и находится один из крупнейших, мощнейших, важнейших в Европе оружейных заводов – завод, делавший, в частности, «браунинги», так что Гумилев, скорее всего, именно «браунинг» подарил кому-то (все уже давно забыли кому) в этих стихах, вместе с портретом (фотографическим, надо думать) несчастного Николая, отнюдь не Кузанского... А что еще для нас Бельгия? Твое прозвище, Жиж (сказал я Жиж). И это тоже связано для меня с Ясом (как столь многое в моей жизни). Но что мы помним? – вот вопрос, который я задаю себе снова и снова. Мы делаем вид, что помним. Мы думаем, что было так-то и так-то, но мы не уверены. Возможно, было так. Но возможно, было иначе. Он позвонил мне (вот, по-моему, как было дело) с предложением взять такси и поехать к нему на дачу (в Мозжинку? в Монино?), где он терпеть не мог находиться, где все-таки временами оказывался; просто взять такси и немедленно ехать к нему на дачу, потому что там есть поселковое кино, и в этом поселковом кино, удивительным образом, сейчас будут показывать фильм, который давно уже нигде не показывают, который его, Яса, поразил еще в детстве (а он никогда не говорил о своем детстве; вообще никогда; обо всем его детстве я только и знаю, что его поразил этот бельгийский фильм, давным-давно пропавший из проката, вообще отовсюду; мне ведь не надо напоминать никому (не правда ли?), что никаких компьютеров, никакого YouTube'a, никаких DVD, даже никаких видеомагнитофонов – видаков, видяшников – тогда еще не было? Они скоро появятся, получают все эти клички). И денег не было у меня на такси (еще бы, до самого Монино!); да и в голову никогда бы не пришло мне ехать на такси до самой до Мозжинки. Он, однако, настаивал (что теперь мне кажется самым из всего этого удивительным); он сообщил, что заплатит за мое такси, что это должно быть последней моей заботой, а чтобы я не сомневался, брал такси и немедленно ехал к нему. Как я ехал, как доехал, как он платил за такси, я не помню. Помню поселковый клуб, душный зал. Вряд ли это был такой зал, какой бывает в деревенском кино, с мелеными (так что лучше не прислоняться к ним) стенами, с фанерными скрипучими креслами, а то и скамейками в первых рядах, со стрекочущим за пробоиной в задней стене аппаратом (такое кино было в моем собственном детстве, не знаю, было ли в Ясо-

вом). Но к тому времени и его, и даже мое детство закончилось, времена изменились, и наверняка (теперь я думаю) это было что-то поприличней, в том академическом поселке (Мозжинке уж или Монине), что-то для докторов, кандидатов, разных членов разных наук; но фильм был старый, середины пятидесятих; и копия была старая, крапчатая, звук плохой, иногда вообще исчезавший. Главное, это был не Алан Рене, не Пазолини, не Бертолуччи, вообще не что-то такое, о чем тогда говорили, но это был забытый людьми и Богом бельгийский, действительно, фильм пятидесятих, в самом деле, годов (кто из нас вообще смотрел какие бы то ни было бельгийские фильмы? да никто из нас ни о каких бельгийских фильмах никогда и не слыхивал), который почему-то крутили в Совдепии в те же пятидесятые, потом спрятали, потому что он никак уж не соответствовал линии партии, постановлениям правительства, заветам Ильича, указам Политбюро. «Чайки умирают в гавани», вот как он назывался, и я тоже запомнил его на всю жизнь, хотя смотрел его уже не подростком, уже взрослым (как мне безо всякого на то основания казалось в мои восемнадцать).

Там идет дождь все время, в этой гавани, этой Бельгии, этом фильме. Он там, может быть, идет не все время, но мне так запомнилось – и так говорит его главный, таинственный, печальный, измученный угрызениями совести, непонятно от чего и от кого убегающий персонаж в экзистенциалистском плаще с криво поднятым воротником, голодный, несчастный и загнанный, мечтающий уплыть куда-нибудь к черту из этой Бельгии, этой гавани, этого фильма. А там было много прекрасного, в этом фильме. Там были промышленные пейзажи незабываемой прелести и печали, газгольдеры, баркасы, пакгаузы, подъемные краны, пустыри, бетонные громады новостроек прямо за пустырями, рок-н-ролл в портовом кафе, лебедки, тросы, сараи, склады, каналы и доки, черный дым над фабричными трубами, нефтяные разводы, бьющие в борт кораблей, проститутки, мошенники, пьяные шкиперы, Рембрандтовские темноты, контрасты, внезапные ракурсы – и та отстраненность, та волшебная, трагическая странность, которая достигается лишь черно-белой съемкой, которая была когда-то в настоящих, послевоенных фильмах, которую уничтожила цветная поганая пленка с ее примитивным, пошлым правдоподобием (в живописи цвет – все, в кино – конец всему, говаривал Яс). И там была девочка по имени Жиж, чем-то похожая на тебя, Жиж (говорил я Жиж). Или ты бываешь похожа на нее, когда говоришь что-то детское. Когда я беру тебя за руку и говорю: у тебя рука горячая, а ты на меня смотришь, потом думаешь, потом отвечаешь: а у тебя – нет, тогда ты – Жиж (говорил я Жиж). Или когда я спрашиваю, есть ли у нас чистое полотенце, и ты мечтательно отвечаешь: где-то там есть; потом думаешь и говоришь: лежит где-то там; потом еще думаешь и говоришь: лежит себе, валяется; потом спохватываешься – и приносишь чистое полотенце, тогда ты – чистейшая Жиж, чистой воды Жиж, восхитительная Жиж, обожаемая Жиж (говорил я Жиж). И конечно, эта девочка с мячиком и рисунком *грустного человечка* в неловких руках – сирота-француженка, никому не нужная и никем не любимая, – конечно, только она одна понимает убегающего от полиции и своей же тоски героя; и это звучит сентиментально, но это так было снято и сыграно, что сентиментальным не показалось мне ни тогда, ни впоследствии, через много лет, когда, благодаря интернету, я смог снова посмотреть этот фильм, и почему бы нам с тобой, Жиж, не посмотреть его вместе, когда мы доедем до гостиницы, если там будет связь хорошая, или не посмотреть его завтра, когда доедем до Бланкенберге, и да, разумеется, если ты захочешь, я перестану называть тебя так, но я все же очень надеюсь, Жиж, что ты не захочешь, потому что я привык уже к этому, да и Яс бы, наверное, посмеялся, порадовался, если бы услышал, что я так тебя называю. Уже не услышит. И как смириться, как жить теперь с этим? А ведь вот же мы живем, Жиж; как-то живем без тех, кого когда-то любили. Он так, я думаю, чувствовал себя подростком, в своем, мне неведомом, отрочестве. Взрослый человек, в здравом уме и без особых на то причин, исключительных обстоятельств, не может так себя чувствовать. Но что-то от этого загнанного подростка всегда остается в нас, до конца оставалось в нем. Мир ловил меня и не поймал? Как же, как же... Мир

ловил меня и, конечно, поймал. Рано или поздно ловушка захлопывается. Она может выглядеть так или иначе, эта ловушка. Она может притвориться немецким гемютным городишком с плюшево-рюшевыми *кафешками* или превратиться в бельгийский забетонированный ландшафт со всеми его газгольдерами. Гибель наступает нас там и там. Ей вовсе не надо являться нам в образе полицейских на мотоциклах, в круглых белых шлемах и еще военного времени сапогах, со странно маленькими пистолетами (сделанными, поди, подо Льежем); простого гриппа достаточно, чтобы с нами расправиться; не говорю уж о коронавирусе (или как там его зовут?). Но еще мы *рыпаемся*; еще куда-то катим на «Астон Мартине», черт знает куда и зачем; еще надеемся, что нас не догонят, как до самого конца надеется (или уже не надеется) несчастный герой незабвенной картины, в последней долгой секвенции только бегущий и бегущий, под барабанную дробь, мимо складов и доков, через разводные мосты, по бесконечным промышленным лестницам, уводящим прямо в никуда, прямо в небо.

Забетонированный мир начался, как только мы въехали в Бельгию; сразу или почти сразу пошли послевоенные эстакады; склады и фабрики; потом прервались; потом снова пошли. Дождь, в свою очередь, пошел уже окончательно, уже пустился хлестать по ветровому стеклу, явно показывая, что заканчиваться не входит в его намерения, что он и не закончится, пока мы не уберемся из Бельгии, что нечего было нам ехать в эту Бельгию, что он, дождь, спровадит из этой Бельгии всех заявившихся сюда дураков, потому что нечего им делать тут, дуракам, даже на «Астон Мартине» (нашлись тоже пижоны). Мы упорствовали до самого Льежа; долго ехали по промышленным пригородам, потом вдоль Мааса, который оказался весь застроен постаревшими параллелепипедами, порождениями примитивного конструктивизма, обрюзглыми, грязными, иногда, но редко позволявшими промелькнуть перед нашим разочарованным взором какой-нибудь ложноклассической цитате (фронтону, колонне). Из одного туннеля мы никак не могли выехать, в другой никак не удавалось нам въехать. Наконец оказались мы на более или менее центральной площади, с намеком на скверик и статую, перед «Макдоналдсом» с нищими неграми на ступеньках его, перед гостиницей с белыми бродягами на ступеньках и под навесом. Мест там не было, да и оставаться там не хотелось. Еще покружили мы по невнятным улицам, под все более сильным дождем; наконец нашли номер в гостинице подороже, получше, где, впрочем, девушка на рецепции не умела вообще ничего, пять раз, улыбаясь все радостнее, вносила номер моего паспорта в ошалевший от ее усилий компьютер, в конце концов позвала из-за стойки бара усатого юношу, который, тоже поковырвавшись, ничего не добившись, в свою очередь позвал начальницу-арабку, пожилую и полную, каковая, не улыбувшись, справилась с непосильной для ее подопечных задач одним клацающим кликом. Вот реальность, в которой мы растворяемся. Мы ищем гостиницу, мы теряем себя. Мы ждем, пока они справятся с их кретинским компьютером, стучим по стойке кромкой кредитной карточки, осматриваемся в холле (темный угол, глубокие кресла, две девицы в углу, выставяющие из кресел черно-чулочные, костляво-коленные ноги, на радость новоприбывшим), берем в руки проспекты с перечислением местных достопримечательностей, еще какие-то листочки (на каждом по вирусу) с перечислением еще чего-то (ресторанов, аттракционов), опять осматриваемся в холле (бильярдный стол с брошенными киями; а я в бильярд не играл, наверно, лет сорок); просим дать нам номер потише, с окнами не на улицу; еще раз просим дать нам номер потише (с окнами не на улицу); наконец получаем ключ (в виде карточки); идем к машине (мигавшей всеми своими аварийными огнями в запретном для остановки месте; «Астон Мартину» закон, впрочем, не писан; плевать ему на запреты); загоняем ее, скрипя тормозами и шинами, в мрачнейшую, с облупившимися стенами, беспробудно-бетонную, круто-выражную парковку, на самый седьмой этаж; тащим вещи в гостиницу. Это просто жизнь, Жиж; вот она такая; ничего же страшного не происходит. Ну ровным счетом не происходит ничего страшного; никто за нами не гонится; никто не преследует; ни одного полицейского мы за всю дорогу не видели; немного проголодались; сейчас пойдем ужинать. А вот вдруг тоска существования

обрушивается на нас всей своей тяжестью; реальность – всей своей беспросветностью; и непонятно, что с этим делать; как справиться.

В эпоху Цеденбала, Нетто и Брутто я верил, что это не навсегда. Что есть (должен быть; ведь не может не быть его?) какой-то способ справиться с этой тоскою – которая и в ту пору захлестывала меня беспощадными волнами (куда более беспощадными, чем теперь, если вдуматься; теперь-то я привык уже к жизни); сбивала с ног; или вынуждала пускаться во все тяжкие, во всякие глупости (от девок до анаши). Все же я отказывался признать ее окончательность. Какой-то, верил я, должен быть способ с ней справиться; какой-то должен быть выход. Я ждал от Яса важнейших слов, решения всех загадок. Я понимал, что глупо ждать их от кого бы то ни было, но все-таки и по-прежнему ждал. Не верил, что он мне может сказать их, – и все-таки верил в это. Еще я верил, что если Мара перестанет морочить мне голову, то все наладится, все будут счастливы. Не верил и в это. Все-таки верил в это. Поверил в это чуть ли не с самой первой минуты, когда столкнулся с ней в лифте, по пути на какую-то (прости господи) вечеринку на какой-то (решительно не помню какой) заметенной снегом московской окраине (Беляево? Бирюлево?): лифте (теперь я думаю), мало чем отличавшемся, в сущности, от того, в котором (спустя вечность) мы с Жижи поднимались в наш гостиничный номер в бельгийском городе Льеже, куда зачем-то приехали (что за Льеж? что за глупости?), потому что лифт есть лифт, и всегда в нем тесно, всегда в нем джентльмен и дама оказываются в интересной близости друг от друга (не правда ли, *mon amour?*), даже если это затхлый советский лифт с неприличными царапинами на голубеньких стенках и двумя дверцами, которые, со скрипом и неохотой открываясь, образуют проем слишком узкий даже для одного, даже молодого и стройного человека, мужского уж или женского пола, тем более если на дворе, в Москве и в мире зима, снег, мороз, и оба персонажа в тех тяжелых шубах, которые тогда еще носили, которые теперь уже мало кто носит, даже в Москве (не говорю уж о мире). То есть на мне была дубленка (как вы догадались); я уже был вполне себе пижон, через пару лет после знакомства с Ясом; хотя денег у меня по-прежнему не было (моя бабушка, помнится, *отвалила* мне, говоря ужасным языком эпохи, сто или сто-и-сколько-то рублей на эту дубленку, к недоумению и негодованию родителей; мы с Ясом ездили покупать ее в комиссионный магазин – *комиссионку*, говоря тем же языком, – в Столешниковом, кажется, переулке, где у него, Яса, была – кто б сомневался? – знакомая продавщица, очень почтительно, даже, помнится мне, с придыханием произносившая: Яков Семеныч); а вот на ней, Маре, была настоящая шуба, роскошная шуба, черная шуба; и мы стояли в лифте, невольно, неизбежно прижавшись друг к другу; из чего, впрочем, вовсе не следует, что я тут же и влюбился в нее; вовсе нет; я влюбился в нее в конце вечеринки, в минуту, когда она сообщила мне, что на душе у нее *коломятно*.

На душе у нее – как? На душе у нее – *коломятно*. Что это за слово такое? Да не все ли равно... Что на душе у нее *коломятно*, стало заметно сразу, как только она сняла свою роскошную шубу, размотала длиннющий шарф (тоже черный), стянула с себя в тесной прихожей зимние (не менее черные, разумеется) сапоги (получив, я полагаю, взамен те неизбежно стоптанные тапки, которые в прекрасной советской стране выдавались гостям независимо от пола и возраста); без шубы и в тапках сразу сделалась ниже и уже; сделалась хрупкой девочкой; ломкой девочкой; девочкой-мальчиком. Под шубой и прочим были черные джинсы, черная кофточка, черные бусы, подведенные черным глаза – вообще все, включая душу и за исключением волос: волосы были белые (крашенные, как вскорости выяснилось). Потом и они стали черными, как все остальное. Под этими (в тот вечер) белыми волосами, уложенными (сказал бы я) скобкой (сверху – челка, по бокам – наискось и назад; почти как на портрете неизвестного мужчины из собрания Тиссена-Борнемисы, перед которым, продолжаю утверждать и настаивать, мы некогда познакомились с Ясом) – под этими рогировскими, но неестественно белыми волосами лицо было полным, широким, не круглым, но скорее квадратным (ты права, Жижи, при такой прическе лицо *квадратеет* неотвратимо), с очень зримыми скулами, и даже не только

скулами, но, под ними, еще какими-то дополнительными (*желваки* зачеркиваю, пишу просто:) выпуклостями (как если бы у нее всегда был легкий флюс с обеих сторон), каковыми выпуклостями (чему я впоследствии не раз был свидетелем) она умела двигать и вправо-влево, и даже вверх-вниз, выражая этим разные чувства, как правило и по большей части – презрение. А глаза (темно-карие: я впоследствии их тоже очень хорошо рассмотрел) не просто обведены были черной краской; они еще и от природы обведены были темными, с желтоватым отливом, кругами; как будто падали в эти круги (как в пруды); выглядывали из этих кругов. Портрет получился не самый привлекательный, признаю. А она была все же красавицей (или так все тогда считали), с этим ее полным большим лицом (которое хотелось взять в руки, в обе ладони, как драгоценное мягкое существо), поразительно сочетавшимся (или как раз не сочетавшимся, но именно потому сочетавшимся) с тонкостью, стройностью, ломкостью всего ее облика, с ее гимнастической гибкостью, которую охотно демонстрировала она, ложась, к примеру, на полничком и отведенными за спину длинными, тонкими, еще более утончавшимися, удлинявшимися при этом руками дотрагиваясь до в свою очередь закинутых наверх ног, до узких ступней, до лодыжек, чуть ли не до колен (ты это тоже можешь, Жижи, я и не сомневался); потом садилась на диван, обхватывала себя руками и, обратив спину к зрителям (обычно скучающим, потому что все это уже видели), тянулась пальцами одной руки к вытянутым пальцам другой; тянулась, тянулась; пару раз, кажется, дотянулась. За сим следовало сообщение, что Ахматова в юности тоже так могла и всем охотно показывала. Подразумевалось, что и она, Мара, проделывает это исключительно в память об Ахматовой, иначе бы и не стала проделывать. В стихах и во всем остальном подражала она Цветаевой. Она, собственно, относилась к той уже с самой ранней юности, признаюсь, бесконечно несимпатичной мне породе стихопишущих (или стихо-не-пишущих, но обычно все-таки пишущих или хоть пописывающих) девиц, которые Цветаеву никогда, ни при каких обстоятельствах не называют Цветаевой, но с придыханием, из глубины груди и души, произносят: *Марина...* В тот вечер и на той вечеринке я этого еще не знал; знал бы, не влюбился? Да нет, наверное, влюбился бы при всех обстоятельствах. Что за вечеринка была, не помню; какая-то; одна из бесчисленных. Ведь это было время вечеринок, время компаний, время Окуджавы в беспомощном исполнении под плохо настроенную гитару. На гитаре она не тренькала, отдадим ей должное, и про склянку темного стекла не пищала; это проделывали другие девицы (круглобровая Нина, теперь известная московская журналистка; почти абстрактная Дина, теперь, по слухам, жена депутата Кнессета, или бывшего депутата Кнессета, или никогда не бывшего никаким депутатом никакого Кнессета неизвестно кого, или вообще никого, или сама депутат Кнессета, или не депутат никакого не Кнессета, или вообще ее не существовало в природе; существовала одна лишь крутобровая Нина, теперь известная журналистка). Еще был (вот он был, это помню) очень смешной, очень толстый, очень молодой (молодыми, впрочем, тогда были все) человек в кудряшках, с пунцовым потным лицом, быстро напившийся, подходивший ко всем девицам по очереди (и к Нине, и к Дине, и к Маре, хотя с Марой шутить было небезопасно) с одной и той же фразой, уж не знаю, им ли самим придуманной, у кого-то подслушанной. Дорогая (выговаривал он, потев и пунцовевя), ты прекрасна, как *медленные части Гайдна...* В общем, было весело, шумно и бестолково, как на таких вечеринках должно быть. Ей не было весело, этого я не мог не заметить. Она курила сигарету за сигаретой, пила вино большими булькающими глотками, презрительно улыбалась, с презрительной печалью смотрела темными глазами вокруг себя, словно забывши – и вот вдруг вспомнив, где она, кто эти люди; ни с кем не заговаривала первой; ждала, чтобы к ней подсели, заговорили; в конце концов сняла с полки какую-то синюю книгу; склонила над ней свои крашенные, неестественно белые волосы.

А когда подняла голову, лицо у нее оказалось другое, простое. Нет, Жижи, не будем преувеличивать, никаких слез не стояло в ее темных глазах; но все же это было искреннее, искренне-растроганное лицо. Я наконец подсел к ней; синяя книга оказалась хорошо знако-

мым мне томом Анненского из «Библиотеки поэта»; тут, ясное дело, трудно было удержаться мне от цитаты, даже от двух цитат (если память в очередной раз меня не морочит) – любимой: про черный силуэт на зеркале гранита; банальной: про слово *невозможно* (которого нет ни нежней, ни печальней... а что я тогда понимал в этом? тогда все еще было возможно). Ну вот и отлично, объявила Мара, захлопывая книгу и ставя ее на место: цитатами, мол, из Анненского ее не удивишь и не покоришь. А я ни удивлять, ни, того менее, покорять ее вовсе не собирался; отошел от нее с облегчением. С любителем *медленных частей Гайдна* (дались ему эти *медленные части*... неужели *быстрые* хуже?) долго, помню, стояли мы на балконе и холоде, где он понемногу трезвел, я наслаждался красотами московской окраины (Беляева? Бирюлева?), ничем, конечно, не отличавшейся от той, где я вырос. Любителя звали Андреем (или не Андреем, но как-то наверняка его звали); с Марой ходил он в одну какую-то поэтическую «студию», на одни какие-то литературные «курсы»; о стихах ее отозвался иронически; предложил почитать свои; я сослался на холод и ветер. Больше поэтов, слава богу, там не было; вообще ничего больше не было; ничего больше не вспоминается; разве что, под конец вечеринки, ее снисходительный вопрос – мне, что я еще читал, кроме Анненского. Ладно уж, так и быть, поговорю с тобой, раз больше здесь не с кем... Мне вовсе не хотелось поддерживать с ней разговор; все-таки я ответил, не менее, поди, снисходительно, но в полном соответствии с истиной, что – вот, только-только закончил *штудировать* Спинозу и *перехожу* к «Критике чистого разума». Она посмотрела на меня как на полного уже идиота; подвигала вправо-влево, вверх-вниз своими челюстными выпуклостями, которые мне уже тогда не хотелось называть желваками; затем, увидев смех в моих глазах, рассмеялась (впервые за вечеринку); опять лицо у нее было другое, простое, живое. Потом и с ней постояли мы на балконе, она опять в черной шубе, я опять в заветной дубленке; и я теперь спрашиваю себя, зачем, собственно, мы все ходили на этот балкон. Мы ходили туда не курить; наоборот, курили (тогда все курили) внутри; от душегубного дыма и убегали, может быть, на балкон, заставленный (вот вспомнил) лыжами (в чехлах и без оных). Или убегали туда от обычной вечериночной скуки? Побывать снаружи, посмотреть извне на невинную банальность происходящего в комнате... Сквозь балконную дверь видны были бутылки на столике, гитара на кресле, длинно-, темноволосая девушка на полу (имя забыто), ее приятель, такой же длинноволосый (имени никто никогда и не помнил), вообще весь очень длинный, набивающий очередной *косяк* длинными пальцами (в кольцах? почему-то видятся серебряные кольца на мужских крепких пальцах); поэт, любитель Гайдна и вовсе, может быть, не Андрей, снова и теперь уже навсегда напившийся, делающий вид, что засыпает на диване, между круглобровою Ниною и абстрактною Диной. А мы видели, что он делает вид. Он голову сначала повесил, потом наклонился к одной из девушек (Нине), так прижимаясь к ней, что и ей пришлось чуть-чуть наклониться от него в сторону, с усталым возмущением кругля свои брови, потом голову ей положил на плечо, потом все той же головою начал съезжать ей на грудь, одновременно стараясь посильнее обнять и по возможности тоже ухватить за грудь другую девушку (Дину, будущую депутатку Кнессета, если она вообще существовала в природе). Мара усмехнулась мне заговорщицки; в темных глазах ее стояло отчаяние. Мы друг друга поняли в эту минуту. Отчего же на душе-то так *коломятно*? – она сказала, отворачиваясь от комнаты к погасающим новостройкам. Я не обнял ее, как мне вдруг захотелось. Я понимал, что могу обнять ее, но, нет, не решился. Я почувствовал душевное напряжение в нас обоих, которого мне было не выдержать (как если бы вдруг, без разбега и подготовки, мы взяли вершину, о существовании которой даже и не подозревали за минуту до этого); потому я сказал что-то тоже невинно-банальное, в том, кажется, смысле, что на душе, да, *коломятно*, но что вином и анашой *коломятности*, наверное, не поможешь. Тогда чем же? Ее темные, обведенные желтым глаза смотрели на меня с мольбой – в ту минуту я поверил, что настоящей. Все же и как ни был я тронут, во мне вдруг обнаружился *ловелас*, к собственному моему изумлению. От *коломятности*, объявил я (или объявил он), помогает хорошая

воскресная прогулка по заснеженной зимней Москве. Если ты дашь мне свой телефон... и так далее. Из этого *далее* проистекли немалые невзгоды, как легко догадаться.

Что до нас с Жижой (спустя вечность), то у нас на душе было тоже вполне *коломятно*, когда мы вошли наконец в гостиничный номер в Льеже (какой, к черту, Льеж?), вполне пристойный и с окнами действительно не на улицу (о нет, отнюдь не на улицу): с окнами на оказавшуюся прямо тут же (отделенную от нас только узким двором, даже и не двором – просто кубом наскоро нарезанного пространства, серого воздуха) многоэтажно-парковочную стоянку, где мы только что оставили наш погрузивший без нас «Астон Мартин», на еще какую-то, под углом к стоянке, заднюю стену. Долго стояли мы у окна, уткнувшись глазами в эту бледно-кирпичную, обшарпанно-бетонную задворочную конструкцию, с ржавыми водосточными трубами и длинными черными прорезями этажей, забранными или не забранными металлической сеткой, и в том, и в другом случае совершенно тюремными, пострашней Пиранезиевых. Какое радостное, помогающее жить место... Пойдем ужинать? Да, пойдем скорей ужинать. Дождь идет всегда, как говорит герой любимого фильма про чаек, умирающих в гавани. Здесь гавани не было, но дождь по-прежнему был, дождь все усиливался, струился, журчал и падал, побулькивая, в решетчатые водосточные люки. Под этим дождем, по безлюдному бульвару, вдоль рельсов и заборов, снова вышли мы к смутной площади, с едва намеченным в глубине ее памятником; ресторан на углу, куда гостиничные борцы с компьютером нам посоветовали пойти, обладал светящейся вывеской, большой, забранной пластиком террасой с подогревателями, множеством свободных столиков, быстро бегавшими официантами, другими признаками живой жизни, по которым, как выяснилось, мы успели уже соскучиться.

Почему-то всегда я ем кролика в Бельгии. Ни в какой другой стране я не ем кролика, но в Бельгии почему-то всегда. Что ж, кролик так кролик, и красное вино к нему, и даже если к кролику обыкновенно подают белое, нам на это наплевать, скифы мы или нет, да и неправда, что к кролику подают белое, к кролику (сообщила мне всезнающая Жижой) только тогда подают белое, когда он, кролик, приготовлен в сметанном или, скажем, сливочном соусе, но мы закажем кролика отнюдь не в сливочном и уж в совсем не сметанном, а в винно-, опять-таки, травяном легком соусе, безо всякой (да простят меня музы) лактозы, и к нему отлично пойдет красное вино, вот и оно, и как хорошо вообще сидеть среди людей, слушать их голоса, тем более что их становится все больше и больше, столики, смотри, почти все уже заняты, кролики уже на подходе, все рифмуется, жизнь налаживается. Они все целовались друг с другом, с официантом, потом с другим официантом, потом с кельнершей, потом еще с кем-нибудь, потом снова друг с другом, эти заполнявшие ресторанную террасу бельгийцы, а уже, например, во Франции к тому времени было запрещено целоваться, хотя, как известно, французы тоже большие любители чмокнуть в щечку приятеля, прижаться к подружке. Бельгийцам, видно, закон не писан, вирус не страшен. Плевать им на вирус, бельгийцам этим, как я погляжу. Вот они входят огромной компанией, стар и млад, и дама с завивкой, и господин с бородкой, и все, все, как один, целуются с вертлявым официанчиком, он же сейчас понесет нам все их вирусы, в придачу к закускам и своим собственным, все китайские, все не-китайские, такое будет эйхнем, такая наступит ухань, лохань, что... Твое здоровье, Жижой! Давай не будем бояться, постараемся не бояться, возьмем пример с бесстрашных бельгийцев, вот с этой дамы, этого господина, этого юного, смотри, смотри, *приколиста* в кепочке, с синей бородою. Он прямо в кепочке, в черной маечке уселся между дамой и господином, лицом к залу, с радостным блеском в ясных глазах обращая к присутствующим широкое плоское лицо и, главное, широкую плоскую бороду, покрашенную ярко-синей, от счастья сияющей краской. Барб-то блё, но что это значит? Все-таки бывает в жизни прекрасное. Ты думаешь, сумасшедший? По виду не сумасшедший, и он кого-то напоминает мне, только я не могу теперь вспомнить кого, кого-то в кепочке, с бородою, хотя и не синей. Рыжей? Черной? Кого-то в кепочке с черною бородою напоминает мне этот барб-блё, и да, есть прекрасное в жизни, и бояться не надо, даже думать

не надо обо всей этой ухани, лохани, а надо говорить и думать о том, что нас влечет, восхищает, волнует, о том, что помогает нам хоть ненадолго справиться с неизбывной *коломятностью* бытия, о том же, к примеру, Рогире и Николае том же Кузанском, которые тоже, может быть, где-то и когда-то встречались, как скорее всего встречался Рогир с кёльнским мастером жития Марии, а тот, судя по всему, знаком был с Николаем Кузанским, нарисовал же его образ, в обществе Гестаса и всех прочих, по сути портрет его, на который только что (неужели это сегодня было? а кажется, уже так давно) мы смотрели в крошечном, таком идиллическом по сравнению с бетонной Бельгией Кусе, и почему бы нам не вообразить теперь встречу Николая с Рогиром, вот здесь, в этом Льеже (кто докажет нам, что они здесь никогда не бывали? я почти уверен, что они оба бывали здесь), и почему не в каком-нибудь трактире или гостинице, которая вполне могла стоять (ведь могла же?) вот прямо здесь, вот на месте этого самого ресторана, где мы сидим сейчас, где нам вот-вот, я уверен, принесут уже нашего кролика, и во всяком случае (вот что можно сказать с полной уверенностью) Николай Кузанский знал о Рогире, видел его работы, упоминает их в своем относительно позднем сочинении «О видении (с ударением на первом *и*) Бога» (второй бордовый том моей молодости), *De visione Dei*; сочинении, о котором Яс любил, наверное, говорить больше всего, черными агатами своих глаз глядя на собеседника, или на публику, или на избранных, которых он приглашал, бывало, к себе домой, чтобы прочесть им маленькую лекцию, потом выпить с ними чаю, потом поговорить о чем-нибудь интересном (о том, что хоть чуть-чуть помогает нам справиться с неизбывной *коломятностью* бытия), не обязательно о живописи и не всегда о ван Эйке; и неужели я не помнил? нет, я просто очень долго не вспоминал об этих домашних собраниях, этих домашних (как называл их Яс) *посиделках*, где встречал я разных людей – и мне уже знакомых, вроде музыканта Аркаши, по-прежнему трясшего романтическими кудрями и порывавшегося поиграть Шопена (но здесь ему этого не давали или давали под самый конец сборища, маленькими порциями: один этюд, два экспромта), или очкастко-клокастого *пацана-чувака*, по-прежнему безымянного (кажется, Колю; но может быть, и не Колю; он-то и управлялся, как мне вдруг теперь вспоминается, с домашним слайдовым аппаратиком, пускавшим изображения картин, образы образов на, вот не помню, то ли простыню, то ли специальный экранчик, который, следовательно, тоже был у Яса в хозяйстве), или (закроем скобки) ближайшей подруги Тамары Сергеевны, лыжницы и пловчихи, или, наконец, того толстяка, доктора всех наук, мастера загигать пальцы и говорить непристойности, который (как мне тоже теперь и вдруг вспоминается) не просто мастер был говорить непристойности, но еще и так читать какие-нибудь известные всем стихи, чтобы они получили в его сладких сальных устах уже совсем непристойное звучание, непристойнейшее значение (крошка-сын к отцу пришел, – начинал он с невинным видом, – и спросила кроха: папа, *это* хорошо? – тут уж всем становилось понятно, о каком-таком *этом* шла речь, и папин ответ звучал как стон истомы, выдох изнеможения: да, сынок... неплохо...); помимо всех этих, уже раньше встречавшихся мне, я, следовательно, видел там и людей, мне вовсе еще не знакомых, среди них, но редко, одного из едва ли не самых знаменитых – в очень узких кругах – персонажей эпохи, господина с косым галстучком и в сером костюмчике, про которого все всем рассказывали, что он расшифровал какие-то невероятные, до него вообще не существовавшие в природе то ли коптские, то ли критские клинописи и что он знает половину всех живых языков этого мира, три четверти мертвых.

Еще бывал там некий Василий, человек трогательный и пьющий, гонимый и бедствующий, лысый и длинноносый, нестарый и скособоченный, которому Яс, как я впоследствии выяснил, периодически помогал и деньгами и не-деньгами, вновь и вновь принимаясь устраивать его беспросветно-запутанные дела, и вот о нем уж, Жиж, я никак не могу не рассказать тебе, пока мы все еще ждем здесь, в Льеже, нашего кролика. Этот Василий учился в Тарту (по моему, даже в аспирантуре) у самого (с каким придыханием произносил он это имя) Юрия Лотмана, даже успел побывать на (самой последней и если не самой последней, то самой пред-

последней) Летней школе (как это называлось) по вторичным (как называлось это) знаковым системам, успел и опубликовать статью или две в не менее, чем все остальное (но в тех же узких кругах), знаменитых «Трудах по (все тем же) знаковым системам»; затем пустился подписывать (кажется, все подряд) письма протеста, опубликовал (отнюдь не семиотическую) заметку в «Вестнике РСХД», под своим полным именем (как *подписанту* оно и положено), затем, окончательно осмелев и тоже под своим именем, – в «Гранях»; из аспирантуры был изгнан, из Тарту уехал, загремел в психушку; выйдя оттуда, запил так, что снова оказался в психушке; вновь выйдя, работал то истопником, то сторожем; к настоящим диссидентам все-таки не примкнул, не знаю уж почему; скитался по знакомым, ночевал иногда у Яса, утверждал, что пишет большую книгу, главный труд его жизни, где всё всем наконец объяснит. С ним единственным я встречался иногда без Яса и не у Яса; пару раз ночевал он и у меня, на раскладушке, к большому неудовольствию моих пугливых советских родителей; другую пару раз мы выпивали с ним в каких-то случайных компаниях. После первой рюмки он начинал говорить о знаковой природе сущего, после второй – об означающем и означаемом (по Соссюру и Несоссюру), после третьей – о бинарных оппозициях, после четвертой – о дуальных моделях, а уж на пятой добирались мы до Мирового древа. Все, знавшие Василия, знали, что после пятой рюмки Мирового древа не миновать. Мировое древо трехчленно, как и настоящее дерево. У дерева есть корни, ствол и крона. Мировое древо соединяет подземный мир, загробное царство с миром божественным и небесным. Лучший образ Мирового древа находим мы, на шестой рюмке, в рассказе Набокова «Облако, озеро, башня» (прочитанном собутыльниками в блеклой самиздатовской ксерокопии), где башня есть ствол, смыкающий облако с озером, крону с корнями, высшее с нижним, горнее с дольным. Уберите башню – все рухнет. Образы Мирового древа окружают нас повсюду, в нашей повседневной жизни, хоть мы и не замечаем их. Вот, видите, эта рюмка, уже седьмая? Вот у нее подставка, вот ножка, вот чашечка. Мировое древо чистой воды, ваше здоровье. А стакан – нет. Поэтому из стакана пьют варвары. Настоящий семиотик, он же структуралист, пьет только из рюмки. Или возьмем, например, светофор, объявлял Василий, обнажая гниловатые зубы. Что ж, возьмем его, почему бы его и не взять? Светофор – классическое Мировое древо, объявлял Василий, уже начиная покачиваться. Светофор – трехчленен, как Мировому древу оно и положено. Внизу зеленый свет – можно ехать. Сверху красный – надо стоять. Божественная статика и демоническая динамика исключают друг друга. А посередине – желтый: ни то, ни се, и то, и другое, все сразу вместе, вечное смешение, всегдашняя неразбериха – наша земная жизнь. Отлично, Василий; но как же быть с семафором? Там только два огня; он, следовательно, на Мировое древо уже не тянет? Вопрос о семафоре сбивал Василия с панталыку. Василий морщил лысину, но не сдавался. Василий был по-своему человек героический. Наморщив лысину, Василий выкручивался, ссылаясь, например, на дуальные, уже помянутые модели, якобы свойственные русской культуре в противоположность культуре западной, которой свойственны как раз модели тернарные, отчего русскую культуру можно было бы назвать семафорной, а западную светофорной культурой, и не случайно главный русский роман заканчивается трагической сценой на железной дороге, и да, он, Василий, еще напишет об этом большую книгу, где всё всем наконец объяснит, но *все* уже не слушали, кричали каждый свое, кто про Анну Каренину, кто про Андропова, а кто и про Бенвениста с Ельмсловом. Перед Ясовыми посиделками Василий выходил из запоя. На Ясовы посиделки он являлся чисто выбритым, в галстучке, блестя лысиной и растроганными глазами. Яс над ним подшучивал, иногда иронически к нему обращался, но видно было, что он любит Василия. Да и все любили Василия. В России, с ее семафорной культурой, все любят пьяненьких, хотя и стараются удержать их от слишком частого общения с Бахусом. Хоть какая-то есть польза от посиделок, сказал мне однажды Яс. Они уже начинают надоедать ему, Ясу. Но приходится продолжать – хотя бы ради спасения Василия от алкоголизма.

Кролик тоже явился; оказался отменным. Поедим кролика, помолчим. И да, я тоже пью твое здоровье, Жижи, из трехчленно-семиотического бокала; пусть все вирусы нас обойдут стороною. У *злой акулы* пускай все болит, а у нас с тобой чтоб никогда ничего не болело. Но мы ведь еще не покончили с Рогиром и ван Эйком? Ты любишь их не меньше, чем я; и даже не меньше, наверное, чем их любил Яс; я знаю, я знаю. Математика, как показывает пример Николая Кузанского, никому еще не мешала любить ван Эйка и Рогира. Наверняка Кузанец видел какие-то картины ван Эйка, но пишет он, по моим сведениям, только о Рогире... Люди на портретах Рогира, на портретах ван Эйка смотрят, как правило, в сторону, в незримое нам *куда-то* (которое оказывается, может быть, самым важным, что мы, не видя его, видим на этих портретах); на других картинах (не портретах) они смотрят туда, куда, по логике действия, полагается им смотреть (апостол Лука – на Мадонну, которую он рисует; человек с письмом – в письмо, которое он читает). Но есть исключения. Есть, например, ван Эйков портрет ювелира Яна де Лейва, который мы все еще надеялись увидеть на выставке в Генте (хотя не раз его видели в Вене); есть почти так же построенный, ван Эйков тоже, «Портрет человека в тюрбане», считающийся его автопортретом, хранящийся в Лондоне (где мы и его не раз видели), с его, ван Эйка опять-таки, незабываемым девизом на раме: *Als ich can*, что обычно переводят словами «Как умею» (не лучше ли перевести «Как могу?»); и тот и другой портрет – в три четверти, но с глазами, обращенными к зрителю; и они смотрят так, эти глаза, что очень трудно отвести свой взгляд от их взгляда; их взгляд как будто идет за тобою. Наверное (рассказывал, помнится, Яс, на одной из своих посиделок, рассказывал я Жижи, приближавшейся к полной победе над кроликом, над картофельным гратеном, поданным к кролику, прекрасным не менее кролика) – наверное, похожий взгляд был у Рогира на несохранившейся картине, висевшей некогда в брюссельской ратуше: огромной, из нескольких панелей, работе, которая считалась современниками его главным, величайшим творением, но, к несчастью нашему, погибла в конце семнадцатого века в одной из бесчисленных войн Людовика Четырнадцатого, вообще много чего порушившего в Европе. Сохранился, однако (узнал я от Яса), замечательный гобелен, судя по всему довольно точно повторяющий работу Рогира и теперь висящий в Швейцарии, в Берне. Для нас в ту пору что Брюссель был, что Берн; а теперь, я думаю, мы еще съездим туда, если китайский вирус не приговорит нас к окончательному карантину. А там и шла речь о (справедливых, истинных) приговорах; они, собственно, висели в брюссельской ратуше в зале суда, эти огромные, четыре с половиной (как считает наука) на четыре же с половиной метра панели; для того висели там, чтобы вдохновить судей на правильное решение, праведный приговор (рассказывал, помню, Яс, выбрасывая вперед руку, чтобы очкасто-клокастый – кажется, Коля, но может быть, и не Коля – поменял слайд в аппаратуре); среди бесчисленных фигур на этих панелях (не сохранившихся) и, соответственно, на этих гобеленах (теперь висящих в Берне) есть одна, которую и современники считали, и он, Яс, считает, ну и вообще наука считает (снижительно добавлял он, помавая белой рукой, рассказывал я Жижи; Жижи смеялась на радость официантам, соседям) автопортретом самого Рогира (более ранним автопортретом самого Рогира, разумеется, чем его автопортрет в образе апостола Луки, рисующего Богоматерь); и вот смотрите, как он на нас на всех смотрит своими бледно-голубыми глазами (или такими, по крайней мере, они казались на слайде); наверное, на самой картине он смотрел еще пристальнее, пронзительнее, поразительнее. Сначала картина, потом гобелен, потом слайд, потом моя память: то, что доходит до нас, доходит в бесчисленных отражениях, искажениях, преломлениях. У него там на голове тоже что-то вроде тюрбана (не красного, но, в pendant к глазам, синего; и как-то иначе закрученного; все они, в своем пятнадцатом веке, проявляли большую фантазию в рассуждении головных уборов, не только женских, но и мужских, хотя женских в первую, разумеется, очередь); и вообще все в этом лице – выразительное, резко своеобразное (в сравнении с прочими, иногда, по крайней мере – в гобеленовой передаче, даже чуть-чуть схематическими, друг друга повторяющими лицами). Его лицо темнее всех прочих

лиц; у него большие уши, большой, длинный, с интересным загибом, нос. Губы тоже у него выгибаются, как у человека, не чуждого чувственным радостям. Главное: он выделен тем, что повернут совсем не в ту сторону и смотрит совсем не в ту сторону, куда повернуты, куда смотрят все стоящие рядом с ним. Они все смотрят на то, что происходит по сюжету картины, на (не к столу будь сказано, но ты ведь простишь меня, Жижи, я уверен) чудесно обретенный уже в христианские времена, ужасно улыбающийся череп древнеримского императора Траяна с чудесно сохранившимся, живым, красным, омерзительно большим языком (потому-де и не истлевшим, что изрекал правду и выносил верные приговоры); только сам художник смотрит, как уже сказано, в совершенно другую сторону – и прямо на нас, смотрящих, в свою очередь, на него: как если бы он, Рогир, уже был как мы (говорил Яс, говорил я Жижи): как мы, нынешние, почти всегда равнодушные к сюжетам всех этих старых картин. Он, конечно, не был как мы; но так это выглядит. Потому что приходится признать правду. Нам не очень интересно, признаем уж правду, то, что эти картины рассказывают (все эти чудесно обретенные черепа, кровавые языки), нам интересно лишь то, что они (помимо и поверх своих случайных сюжетов) изображают, то, что они являют нам, открывают нам, позволяют нам увидеть, делают для нас зримым.

Здесь Рогир являет нам, открывает нам и делает зримым для нас свой всевидящий взгляд: взгляд художника, сказал бы он, Яс (говорил я Жижи), если бы это не звучало так обыденно и банально; свой отрешенный и спокойный взгляд, способный смотреть на мир, удивляясь ему; способный смотреть на мир, просто чтобы смотреть; способный из такого отдаления смотреть на него, из какого он, мир, видится как будто впервые, вот сейчас, созданный или, лучше, каждое мгновение вновь создаваемый Богом. Вот этот-то взгляд Рогира и упоминает Кузанец среди прочих нарисованных взглядов, смотрящих на тех, кто сам на них смотрит. Для Кузанца речь и идет о Боге, как же иначе? И это очень правильно (говорил Яс, к моему изумлению... или не-изумлению; уже я не помню). Речь всегда идет о Боге, о чем бы мы ни говорили, о чем бы ни думали, что говорим... Для Кузанца все земное – образ небесного. Потому он мыслит символами, ищет подобий, как человеку Средневековья оно и положено. Он уже человек Возрождения и еще человек Средневековья, одновременно и сразу (как и мы с вами, в иронических скобках добавлял Яс, живем в разных временах и внутренне принадлежим совершенно разным эпохам). Это момент завершения и момент начинания, момент перехода, краткий момент равновесия. Поэтому правы те, кто, как Хейзинга в своей известной книге, говорит здесь об «осени Средневековья», но правы и те, кто, возражая ему, говорит о «весне Возрождения». Нет (утверждает Кузанец), по крайней мере среди человеческих произведений, более удачного для нашей цели образа Всевышнего, чем лик, тонким живописным искусством (тут Яс, уж наверное, процитировал по-латыни; он любил цитировать по-латыни, с небрежным невинным шиком: *subtili arte pictoria*; весь, кстати, Кузанец легко находим в интернете, по-латыни и в разных переводах; так что я, скрывать не стану, сверяю теперь цитаты) – лик, следовательно, *subtili arte pictoria*, нарисованный таким образом, что он словно смотрит сразу на все вокруг. Он приводит в пример несколько таких *ликов*: какого-то (какого, кстати?) лучника на площади в Нюрнберге; какую-то картину в Кобленце, в моей (как он выражается) капелле Св. Вероники; главное же: картину превосходного живописца Рогира (*Rogeri maximi pictoris*) в брюссельской ратуше; и это, разумеется, та же самая картина (говорил Яс, вставая со своего львиноголового кресла, показывая на белый экранчик, с которого светились, на нас глядячи, Рогировы голубые глаза), о которой мы только что имели удовольствие с вами беседовать, и я очень надеюсь, что вы сейчас чувствуете то же волнение, которое я сам (говорил Яс, принимаясь расхаживать по своей антикварной гостиной, рассказывал я Жижи) всегда чувствую, доходя до этого места, благо оно в самом начале Николаева трактата о видении Бога (с ударением на первом и): как если бы они вот сейчас, на моих глазах, встречались где-то, в каком-нибудь трактире или гостинице, Николай и Рогир, наши герои (он не мог говорить так, это я теперь выдумываю за него, говорил я Жижи; а как весело было бы верить, что он, Яс, уже говорил так, сорок лет

тому назад, в заметенной снегом Москве), в каком-нибудь из прекрасных городов, входивших в ту пору в возлюбленное нами всеми Бургундское герцогство (в каком-нибудь Генте, каком-нибудь Льеже).

Но конечно (продолжал Яс), Николай Кузанский никак не мог послать своим друзьям-монахам на озеро Тегернзее, что в Баварии (а весь текст есть собственно письмо этим монахам, почти сразу, впрочем, меняющее адресата: после нескольких вводных главок Николай обращается уже прямо к Господу Богу, с большим восторгом и пафосом, в лучших традициях Блаженного Августина), – конечно (продолжал Яс, не подозревая, что один из его слушателей через каких-нибудь десять лет поселится в Мюнхене и сможет сколько его душевкам угодно ездить на Тегернзее, чтобы подойти хотя бы к внешним стенам когда-то знаменитого бенедиктинского монастыря, давно, впрочем, переставшего быть монастырем, превращенного во что-то светское... сейчас не помню, и лень проверять, во что) – нет, никак не мог он послать этим бенедиктинским монахам огромную работу Рогера из брюссельской ратуши (четыре панели по, как мы помним, четыре с половиной на четыре с половиной метра каждая); потому он шлет им просто какую-то картину, какую уж смог раздобыть (*quam habere potui*), где тоже был этот взгляд изображенного на ней человека (мы не знаем, увы, и уже никогда не узнаем, чей именно): взгляд, повернутый к зрителю, зримый зрителю и зрящий его. Потому что (еще раз) для Николая речь идет об образе и подобии Божиим. Он называет ее картиной со всевидящим ликом, также – иконой Бога. Повесьте ее где-нибудь, пишет он баварским братьям-бенедиктинцам, скажем – на северной стене, встаньте все на равном от нее расстоянии, всмотритесь – и каждый из вас убедится, что, с какого бы места на нее ни смотреть, она глядит как бы только на тебя, и даже если ты переходишь с места на место, с востока на запад или с запада на восток, ее взгляд будет следовать за тобой, и если брат-бенедиктинец, переходящий с востока на запад, спросит другого брата-бенедиктинца, переходящего с запада на восток, двинется ли взгляд иконы вслед за этим братом с запада на восток точно так же, как он следует за ним самим с востока на запад, то брат, идущий с запада на восток, ответит ему, в согласии с истиной, что именно так дело и обстоит, и тогда каждый из братьев вынужден будет поверить, что неподвижный взор иконы следует за каждым из них и за всеми одновременно, и тут, конечно, каждый из нас, присутствовавших на Ясовых домашних посиделках, начинал смеяться, и все вместе тоже начинали смеяться, потому что цитата все никак не заканчивалась, и Яс читал ее все вдохновеннее, делая вид, что сам не смеется, и если этот брат-бенедиктинец, пишет дальше Кузанец (читал дальше Яс, говорил я Жижи, давно покончившей с кроликом, тоже смеявшейся), убедится наконец в том, что неподвижный взор движется к востоку так, что вместе движется и к западу, и к югу так, что вместе и к северу, и в направлении одного места так, что одновременно и ко всем сразу, тогда он поймет, что за каждым икона следит так же пристально, как за ним одним, даже если он и не способен представить себе кого-то еще предметом столь же пристальной заботы. Тогда-то поймет он, что тщательнейшая забота (*diligentissima cura*) относится к ничтожнейшей твари в не меньшей степени, чем к величайшей и ко Вселенной в целом.

Потому что (еще и еще раз) все это только образ, подобие, намек и символ. Как взгляд изображенного на картине неизвестно кого (продолжал говорить Яс) следует за каждым в отдельности и за всеми одновременно, так Господь Бог дарует свою любовь и заботу ничтожнейшему из людей всю целиком, словно ни о каких других людях и речь не идет. Ведь если ты не оставляешь меня, ничтожнейшего из всех (говорит Кузанец, обращаясь уже прямо к Всевышнему, продолжал говорить Яс, обращаясь к участникам посиделки, к Аркаше, к очкасто-клокастому, к Василию, к не помню еще кому), то ты никогда не оставишь никого. Ты так же присутствуешь во всем и в каждом (говорит Кузанец, обращаясь прямо к Всевышнему), как во всем и в каждом присутствует бытие, без которого ничего не может быть, причем ты, абсолютное бытие всего, присутствуешь в каждом так, словно ни о ком другом у тебя и заботы

нет. Это как бесконечная линия (говорил Яс, говорил я Жижи), любимый образ Кузанца. Бесконечная линия вмещает в себя все прочие линии, и самую коротенькую, и самую длинную. От бесконечной линии нельзя отрезать кусочек, потому что тогда она стала бы меньше, чем была до сих пор, а это по определению невозможно, ведь она бесконечная. Бесконечность не делится. Бесконечное присутствует в конечном все целиком, а не какой-то своей частью. Так и бесконечная божественная любовь вся целиком и безраздельно даруется каждому – и мне, и тебе, и ему. И никак, никаким воображением ты, Господи, не даешь мне вообразить, что ты любишь что-то другое больше, чем меня (говорит Кузанец, обращаясь к Всевышнему, говорил Яс, говорил я Жижи), потому что ведь одного лишь меня никогда не оставляет твой взор, а поскольку где глаз, там и любовь, то и я убеждаюсь в твоей любви ко мне, раз глаза твои всегда пристально смотрят на меня, твоего малого раба.

А что, неплохо? – говорил (помню) Яс, вдруг останавливаясь, вдруг словно пораженный (вновь пораженный) этими отнюдь не новыми для него мыслями. Неплохо ведь? – повторял он, обращая к кому-нибудь (например, к Аркаше) агаты своих черных блестящих глаз, поводя своим синим, древнеримским и выдающимся подбородком, с легкой, совсем легкой, совсем чуть-чуть мифистифельской усмешкой, игравшей вокруг его полных, как у Рогера, изогнутых губ. На земле живет сейчас столько-то и столько-то миллиардов человек, а за всю историю и за всю предысторию жило еще столько-то и еще столько-то миллиардов. И среди всех этих миллиардов – кто ты и что ты? Никто и ничто. Это ты так думаешь, говорил Яс, обращаясь к Аркаше (хотя Аркаша-то уж точно так не думал; Аркаша думал, что среди всех этих миллиардов он – самый главный). А для Бога что один человек, что одиннадцать, что одиннадцать миллионов, что сто одиннадцать миллиардов. По сравнению с бесконечностью все эти числа одинаково огромны или одинаково ничтожны, потому что конечны. А бесконечность, повторяю, не делится. Бесконечная божественная любовь обращена к каждому из нас вся целиком. Какое, собственно, Богу до меня дело? Вот я, маленький человек, человечиска, муравьишка, один из бесчисленных, со своей жалкой жизнью, своими ничтожными, никогда не сбывающимися надеждами, своим бессильным бунтом, своим отчаянием, своими смешными мыслями. Но Богу есть до меня дело; ему столько же до меня дела, сколько до любого из миллиардов. От бесконечности кусочек не оторвешь. Бог не может потратить на меня лишь частицу своей любви. Одну частицу на меня, а другую, например, на тебя. Нет, она вся потрачена на меня, и вся на тебя, вся бесконечность божественной любви, вся ее безмерность, бездонность.

Это была маска, теперь я уверен. Эти мысли тоже были маской, которую он примерял на себя, к себе, к своему, нет, мне кажется, никак не совпадавшему с ней лицу. Но он хотел носить ее, хотел думать так. Хотел ли совсем совпасть с ней, хотел ли сделать эти мысли бесповоротно своими? Я не знаю; может быть, иногда хотел, иногда не хотел. Мысли, в отличие от картин и масок, не окончательны (о чем он тоже любил говорить). Во всяком случае, ему нравилось это. Неплохо ведь? – повторял он. Это хорошо, хорошо вот так думать. Сразу успокаиваешься, обретаешь под ногами хоть какую-то почву... Мне это тоже нравилось, но почвы под ногами не обретал я (не думаю, чтобы и он обретал). Мне нужна была не почва, мне нужно было твердое основание, неколебимое основание, *fundamentum inconcussum*, как его называл Декарт, уже становившийся в ту пору моим главным героем. Конечно, говорил я (или так мне помнится) Ясу после одного из таких собраний, одной из таких посиделок, когда только Василий и верные юные Ясовы ученики (Аркаша, очкастый, еще кто-то?... нет, не могу теперь вспомнить; не могу и понять до сих пор, был ли кто-то из них, кто-то из нас его учеником в самом деле; если да, в каком смысле?) оставались за чайным столом (в обществе неубранных чашек, недоеденной пастилы и нетронутого зефира... никогда, ни за какие коврижки, ни за какой зефир с пастилою не решился бы я сказать ему этого в присутствии взрослых, чужих, серьезных дядей и тетей), – конечно, говорил я (или мне так помнится) Ясу после одной из таких посиделок (на которых Тамара Сергеевна обыкновенно отсутствовала: уезжала, наверно, на дачу, если не в Экватор;

да и дочек его я теперь не вижу среди гостей): если уж мыслить Бога, то вот *так* его и стоит, наверное, мыслить, – интересней и отрадней всего вот именно *так* его мыслить (говорил я, глядя на Яса, стараясь не смотреть на Аркашу) – как бесконечность, в равной мере, то есть целиком и полностью обращенную ко всем своим несчастным, мятушимся, не удовлетворенным никакими результатами и выводами созданиям; но зачем мыслить его вообще? нельзя ли обойтись без этой гипотезы? Ведь это только гипотеза – и какое, в сущности, отношение имеет все это к моей, непонятной мне, жизни? А если эта гипотеза не работает, тогда – что? Тогда все здание рушится; остаются одни сомненья, метанья. Тут Аркаша попытался что-то ляпнуть в том смысле, что метанья, сомненья как раз и заканчиваются в созерцании божественной бесконечности, и очкасто-клокастый (кажется, Коля) тоже попробовал ляпнуть что-то про божественную любовь и покой созерцания (и не потому пытались они все это ляпнуть, что в самом деле так думали или в самом деле имели что сказать и ответить, но, как прекрасно понимали все присутствовавшие, исключительно ради того чувства превосходства, которое всегда испытывает отвечающий по отношению к тому, кто спрашивает: ты, мол, спрашиваешь, потому что не знаешь, а я вот знаю – и отвечаю тебе); Яс пресек все это простой усмешкой, легким, быстрым движением руки. Если Бог – всего лишь гипотеза, – объявил он, глядя на меня агатами своих мерцающих внутрь глаз, – то без него можно обойтись, ну еще бы, но если Он живая реальность, или реальная жизнь, действительное переживание, внутреннее событие, то обойтись без него уже никак невозможно. – Значит, мы покидаем область чистой мысли? – спросил я. – Значит, этой живой реальности можно достичь только верою (*sola fide*; в то время уже читал я Шестова: запретный плод сладок). – А почему бы и не покинуть область чистой мысли? – отвечал (или мне так помнится) Яс. – Кто сказал, что нужно в ней оставаться? Может быть, самое лучшее, самое важное открывается не на путях мысли, но как-то иначе? На путях веры? Или, может быть, важней всего чувство? Главное – чувство, говорит Фауст у Гете. Может быть, в нем все дело?

Может быть, может быть... но и это были только вопросы, отнюдь не ответы, и о своих собственных чувствах, если они у него были, он ни слова не проронил, и возвращаясь в тот день домой по заснеженным улицам (по Малой Бронной к Никитским воротам, по бульвару – к «Арбатской», потом уже на метро), я думал (помнится мне), что у меня-то уж точно никаких таких божественных чувств нет в заводе, что мне они подозрительны и что если искать какое-то твердое основание в жизни, то скорее в точных науках, например – в математике, но в математике не метафорически-метафизической, как у Николая того же Кузанского (хотя она волновала и веселила меня по-прежнему, эта метафорически-метафизическая игра с бесконечными величинами), а вполне себе настоящей, которая в те годы еще оставалась вторым – но уже очень порывалась стать первым – моим увлечением... И не только не хотелось мне покинуть область чистой мысли (хотя в чем, собственно, заключается ее чистота?), но мысль (лучше: мысль о мысли) уже (мне кажется) в ту давнюю дальнюю пору была для меня самым главным, единственно важным. Декарт действительно уже на первом курсе философского факультета сделался моим героем, ярчайшей звездой на моем внутреннем небосклоне. И да, смешно вспомнить, я сам искал неколебимого основания (*fundamentum inconcussum*, как он называл это); не гипотетической почвы под ногами, но основания настоящего, несомненного. Во всем усомниться – чтобы найти несомненное основание... Декарт нашел его в своем *cogito*; и я надеялся найти его там же. Менее всего на свете я был готов жить безмыслием. Во мне был (смешно вспомнить опять-таки) почти пафос мысли, восторг и упоение мысли. Мне было восемнадцать лет; мир идей мне только начинал открываться. Все было впервые: и Декарт был впервые, и Кант, и Гуссерль, и Рассел, и Витгенштейн, и дальше по бесконечному списку. Я потому, среди прочего, занимался тогда математикой, и логикой, и математической логикой, что все эти связанные между собой дисциплины и были для меня – дисциплиной, что они давали мне вожденное ощущение силы мысли, ее длительности, ее возможностей, ее внезапностей. *Cogito*,

pardon, ergo sum. Мыслью значит есмь. Когда я мыслил – я был. Я не сомневался в своем бытии, покуда я мыслил; я начинал сомневаться в нем, когда переставал думать. Потому я пытался не переставать думать. Уставал, но не переставал. Переставал, конечно, но лишь когда уже совсем уставал. Это и была моя медитация, моя вера. Другим верам я не верил и другими медитациями не занимался. А были знакомые, были даже приятели, которые если не занимались, то увлекались всевозможными медитациями, разными верами, не-верами, антиверами. Премного разных трав и вер... Да, да, есть цитаты, от которых никак не избавиться, без которых не обойтись. Был один Макс, очкарик, все время болтавший о дзен-буддизме, о хлопке одной ладони, о собаке, которая то ли обладает, то ли не обладает какой-то «природой Будды». Мне сам он был симпатичен, но слушать его без смеха я не мог; он, впрочем, не обижался, утверждая, что так и должно быть, что дзен смешон и что в этом вся его суть (помню долгие с ним прогулки, где-то возле Кутузовского проспекта, по дворам и полуфабричным задворкам, вдоль вечно ржавых жестяных гаражей, потом по набережной, понемногу обретавшей подобие парадности, потом через гремучий, ревучий мост, к двустворчатой стекляшке СЭВа и к Белому дому, тогда еще не достроенному или как раз только-только достроенному, еще не подозревавшему, что станет символом, войдет в историю, подружится с танками).

Покуда я рассказывал Жижи что-то из этого – не все, но кое-что о тех домашних сборищах, тех экзотических посиделках, тех приятелях, тех увлечениях, соседи наши, и справа и слева, на подогретой и занавешенной пластиком террасе льежского ресторана сменились (лишь разновозрастная компания с Синей Бородою посредине оставалась неизменной, неизменно-нешумно-веселой): за столиком слева образовались еще двое бородатых персонажей, тоже налегавших на кролика, по виду простых рабочих, если не *работяг*, в задрипанных свитерочках и с большой любовью к местному пиву; прислушавшись к их бельгийско-французскому говору, плохо понятному мне, разобрал я, что речь шла у них о недавних постановках Шекспира, на которых оба они побывали: один, похоже, имел удовольствие посмотреть «Короля Лира», другой наслаждался «Бурей». Все-таки есть прекрасное в этом мире. А любимая Ясова пьеса была «Юлий Цезарь»; мы с ним смотрели ее раза четыре, уж точно не меньше. Справа от нас расположилась пожилая пара – она в скромно-строгом костюме, явно для выхода, он, в отличие от нее, но в pendant к облачению шекспироманов, в неубедительном свитерочке, сереньком в розовую полоску, – свитерочке, который почти сразу же снял он (они сидели возле обогревателя), оставшись в тоже серенькой рубашке (рубашечке), с тоже розовыми (есть, есть прекрасное в жизни) цветочками, чудесно гармонизировавшими с его красно-складчатым лицом, его растрепанной сединою. К нашему русскому разговору они прислушивались с плохо скрываемым любопытством; наконец, не выдержав, спросили, причем одновременно, она – Жижи, он – меня, кто мы, и откуда, и куда направляемся. Сами же оказались они бельгийскими немцами, или немецкими бельгийцами, в общем – представителями небольшого немецкоязычного меньшинства, с незапамятных времен живущего в Бельгии, – меньшинства, историю которого они нам попутно, хотя и вкратце, поведали, видимо, привыкнув за жизнь объяснять случайным встречным, сотрапезникам и попутчикам, как обстоит с ними дело. Он бывал в Москве в семидесятые годы по делам своей фирмы, сообщил мне мой сосед, с удовольствием перейдя на немецкий; он помнит, помимо Красной площади и гостиницы «Россия», почему-то Цветной бульвар... Конечно, какой же еще? – я подумал, глядя на его рубашку в цветочках. Город с тех пор изменился? О да, город очень сильно с тех пор изменился. А изменился ли в самом деле? Я все узнаю, когда бываю в Москве: и Цветной бульвар, и Трубную площадь. Слишком многих нет из тех, с кем я ходил там когда-то; нет Яса, потому что вообще его нет; нет Мары, потому что я давно потерял ее следы; знаю, что в девяностые годы, когда все уехали (и я сам уехал), она тоже уехала за границу; не знаю только куда. Или она еще раньше куда-то уехала. Все уехали, а Яс почему-то остался. А они, сообщила Жижи ее скромно-строгая соседка, были только что на концерте Анны Нетребки и Юсуфа Эйвазова, вот здесь, в льежской Опере; да, вот так; да,

вот только что. Этот концерт, тут же сообщил мне ее цветочный муж, вообще-то должен был состояться в конце февраля; но дива занемогла, так что концерт перенесли на 8 марта, причем на пять часов вечера, что для них даже удобнее, сейчас они съедят по (огромной) котлетине с картошкой фри (каковая котлетина оказалась местной гастрономической *spécialité*, так что, по мнению наших соседей, мы сделали роковую ошибку, ее не попробовав; смотреть на нее было скорей страшновато) и отправятся обратно в свой городок, в ту на протяжении последних столетий непрерывно переходившую из рук в руки часть Бельгии, где с незапамятных времен живет немецкоязычное меньшинство; ехать им, наверное, около часу. А мы, что же, в Гент направляемся? А билеты у нас есть? Если у нас билетов нет, объявили в один голос оба представителя немецкоязычного бельгийского меньшинства, то даже и соваться нам в Гент не стоит, ни на какую выставку ван Эйка мы точно не попадем. Мы можем, разумеется, попытаться, но они совершенно, на все сто процентов убеждены, что ничего у нас не получится, только время мы потеряем. А концерт – да, концерт был прекрасный, и Нетребко такая красивая (добавил мой сосед), *so schön*, такая красивая.

Дождь хлестал и струился по-прежнему; идти было некуда. Мы все же пошли куда-то, сами не зная куда, по невразумительным улицам, мимо темных домов, мимо закрытых, или готовых закрыться, или уже мечтающих закрыться кафе; дошли до собора; обошли его; возвратились в гостиницу. Все идет сплошным потоком в жизни; все мешается, путается; радость и отчаяние, тоска и веселье наползают друг на друга, как льдины на весенней реке (например, на Волге; например, в Ярославле); времена налезает друг на друга, как те же льдины, на той же реке. Ночью в льежской гостинице, лежа рядом с тихо засыпавшей Жижжи, вспоминал я всякое-разное, не в силах справиться с возбуждением после долгой дороги, съеденного кролика, выпитого вина; вспоминал (удивляясь про себя и себе самому, что так долго не вспоминал их) те сборища для своих и посиделки для избранных, которые, как мне теперь кажется (или в Льеже казалось), Яс устраивал несколько лет подряд, где выступал (если это можно назвать так), читал доклады (если это слово подходит здесь) или делал небольшие (как это называлось в той среде) сообщения не только он сам, но и разные другие знаменитости или не-знаменитости, например и в особенности (но кажется, только один-единственный раз) – знаменитейший, и даже в не самых узких кругах, господин (в чудовищном советском костюмчике), про которого действительно говорили, что он знает половину живых языков, три четверти мертвых и что, главное, он расшифровал какие-то критские, коптские клинописи (или кумранские рукописи?), о чем он и рассказывал, очень долго, довольно занудно. Главное, видно было, что для него все это всерьез, что ему и в голову не приходит спросить себя, так ли уж нужны человечеству его кумранские клинописи, коптские рукописи. Он-то сам знал про них все... и про все прочее он тоже все знал. Он был блондин, этот знаток всего (назову его Петром Карловичем, по очень отдаленному сходству с его настоящим именем), в то время, впрочем, уже начинавший сидеть (той желтоватой сединою, которой седеют блондины); носил, в дополнение к московшевским серым костюмчикам, сбитые набок галстучки (причем, похоже, никто никогда не удосужился объяснить ему, что верхнюю пуговку рубашки под галстуком непременно следует застегнуть: незастегнутая верхняя пуговка рубашки под галстуком казалась мне в ту пору апофеозом дурного вкуса, пароксизмом немодности); на все это ему было очевидным образом наплевать; он об этом просто не думал (думал я, на него глядячи и как бы, получается, за него); себя, значит, не видел; в зеркало не смотрелся; совершал небось каждое утро некие механические действия (вставал, брился, надевал рубашку, повязывал пресловутый галстук), сразу, с первой утренней зорьки, начиная размышлять о кумранских клинописях, критских рукописях, а то и о самом Минотавре; говорил он, хмыкая, экая, запинаясь, задумываясь, замолкая, вновь принимаясь хмыкать, экать и запинаясь, забывая главную мысль, сворачивая на одну боковую тропинку, потом на другую, теряясь в дебрях подробностей, утопая в болоте учености (так что, казалось мне, вот сейчас пузырьки начнут булькать над его желто-седеющей головой) – потом

делая внезапное ап! и вновь оказываясь на главной дороге, по которой, как в таких случаях выяснялось, он продвинулся гораздо дальше, чем если бы просто шел по ней, ни в болота, ни в дебри не забредая... Слушать его, короче, было мучительно, увлекательно, мучительно увлекательно (можно ставить, можно не ставить здесь запятую). Я потом слышал его еще несколько раз, на разных докладах и конференциях (он на любой мог выступить, обо всем имел что сказать, хоть о Минотавре, хоть о Тезее). Самое странное (думал я, лежа в Льеже рядом с Жижи), что он не казался мне уж таким умным, этот знаменитый тогда Петр Карлович (с которым, впрочем, я сам и словом не перемолвился); он казался мне скорее безумным, мирно помешанным... что, как всем известно, вовсе не исключает ума, и таланта, и (если угодно; если не бояться этого слишком патетического, слишком затрепанного выражения) гениальности. Все это у него было; а все же (казалось мне) чего-то (важнейшего) не хватало его уму, ему самому. Он, может быть, все знал и про Ариадну, и, если надо, про Аристотеля, но чего-то (чего же?), что (я по-прежнему верил в это) знал Яс, – он не знал.

Я попробовал поговорить об этом с самим Ясом (еще бы; с кем же еще?), и – нет, нет, разумеется, нет у меня уверенности (потому что уверенности ни в чем нет, уверенности вообще быть не может), что это было именно в тот день и вечер, когда в очередной раз мы шли с ним в консерваторию, но ничто и никто, в конце концов, не мешает мне думать, что именно так это было, никто уже не может (потому что некому) проверить или оспорить меня, и потому я просто буду думать (думал я, лежа в Льеже рядом со спящей Жижи), что заговорил с Ясом о Петре Карловиче и о том, чего не хватает его уму, ему самому, когда мы в очередной раз шли с ним, Ясом, в консерваторию, и значит, вновь, в очередной раз, мимо Никитских ворот, и мимо огромного, кумачово-отечного портрета трех *брадатых богов* (по Ясову выражению), который висел тогда на торце большого дома у этих Никитских ворот, в самом начале теперь тоже Никитского, тогда Суворовского бульвара (и мимо которого я проходил вместе с Ясом так часто, что эти трое, стекавшие по стене, сделались для меня чем-то вроде свидетелей наших с ним разговоров: если бы, думал я, лежа в Льеже рядом с заснувшей Жижи – и уже сам, наверное, засыпая, опять просыпаясь: если бы они еще висели там, они бы точнее вспомнили, что когда кто и кому говорил; но их там больше нет, и мне остается лишь полагаться на свою собственную память, свои собственные слабые силы); и мимо ТАССа с его чудовищными, похожими на телевизионные экраны окнами, и дальше, по тогда еще улице Герцена; и хотя я решительно не помню, какой был концерт в тот вечер (точно не Нетребки с Эйвазовым), ничто и никто не мешает мне думать, что мы шли в очередной раз слушать Пятнадцатую симфонию Шостаковича, которую он любил больше всех других симфоний Шостаковича и вообще больше всех других симфоний на свете, которую слушал и переслушивал бесконечно, бессчетно; и снова был снег, чавкавший под ногами, была толпа торопящихся с работы серых людей, такая в тот день густая, такая густо- и грубо-серая, что мы (ничто, никто не мешает мне думать, я думал) свернули в Леонтьевский или в Нелеонтьевский переулок, еще перед началом концерта поплутали по дворам и задворкам; и было (наверняка оно было) вечернее прозрачно-розовое небо над крышами; был (не могло не быть его) легкий, тоже словно прозрачный, снег на крышах и на карнизах (и каким же чудесным теперь кажется все это, в сравнении с европейской чернотой, льежской ночью). – Ты свихнулся? Петр Карлович – умнейший человек нашего времени, светоч науки... Не мог же он произнести это *светоч*, не усмехнувшись, не *вельзевульствуя*? Если он и смеялся, то смеялся над словом *светоч*, не над самим Петром Карловичем. О Петре Карловиче он отзывался почтительнейше, не *вельзевульствуя* нисколько (нисколечки), без тени *мефистофельской* усмешки в черных глазах. – Мы все никто рядом с ним... Даже (показалось мне) он погрустнел. – Мы все с ним рядом никто и ничто... Однако я не сдавался. – В смысле учености, может быть. Но, Яков Семенович, разве ум это не что-то другое? – Кто знает, что такое ум? – спросил он, глядя на меня сбоку лучившимися умом глазами. Я сказал (сам, помнится, неожиданно набредши на эту мысль; продолжаю думать, что

по пути в консерваторию, на очередное – какое? – исполнение Пятнадцатой Шостаковича), что ум – это больше, чем ум, что для настоящего ума нужно еще что-то, помимо ума, или еще что-то, превосходящее ум. – Что же это, по-твоему?.. Я не знал, конечно, и до сих пор не знаю, что это, но я это чувствовал и продолжал чувствовать в Ясе, и теперь, вспоминая его, чувствую это даже, пожалуй, отчетливей и острее, чем чувствовал, пока он жил на земле. – Может быть, это сразу много вещей, и одно, и другое, и третье, и вон то, и вот это? Может быть, среди прочих вещей, это (сказал или не сказал я?) дистанция?.. Я этого в тот предконцертный вечер ему, наверное, не сказал, но я об этом думал, на него глядячи, это точно. Ум – это дистанция, думал я (снова и снова, на него глядячи, в разные годы). Теперь я думаю, что он это и сам понимал, ценил это в себе – а иногда, может быть, не только этого не ценил, но, наоборот, огорчался, и сожалел, и завидовал другим людям, совпадавшим с собою.

Он сам не совпадал с собой никогда. Он никогда не был тем, кем он был. Оттого он, в сущности, никем и не стал. Он, конечно, был доктором всяческих наук и профессором всевозможных щей (и рассольника, и солянки, и чего-вам-будет-угодно), но, в отличие от столь многих, от Тамары его же Сергеевны, не принимал этого всерьез вообще, ни на самую малую толику. Плевать ему было на звания и титулы. С великолепным равнодушием относился он ко всему, что хоть как-то связано с карьерой, успехом, продвижением по службе; во всяком случае, уже мог позволить себе это равнодушие к тому времени, когда я с ним познакомился. А между тем занимал пост немаленький в том научном (псевдонаучном, как неизменно добавлял он) учреждении (институте), где работал: одним из тех (по его же словам) прекрасно-бесмысленных псевдонаучных учреждений, созданных (по ее неизменной дурости) Софьей Власьевной для подкармливания ученых бездельников, просвещенных краснобаев, высоколобых говорунов, иронических златоустов, трагических празднословов... при условии что краснобаи не рыпаются, болтуны не болтают лишнего, антисоветскую литературу распространяют с величайшей осмотрительностью, не стесняются поставить на первой странице очередной статьи о Кампене или о Хоппере цитату из Ленина, на последней – цитату из Маркса. Яс распространял антисоветскую литературу со страстью; сам- и тамиздат любил любовью нежной, преданной, бескорыстной; все модные тогда книжки были у него (я так и не узнал откуда) в чудных заграничных обложках, на неведомой совписам с гослитами белой тонкой бумаге (и «Прогулки с Пушкиным», и «Школа для дураков», и «Остров Крым», и «Зияющие высоты»); нет, на столике не лежали, но извлекались из недалеких закровов по первому желанию посетителя (мне он давал их домой; знаю, что не всем давал, не всем доверял до конца). Цитаты же из *брадатых богов* ставил с отвращением, с зубовным скрежетом и злым светом в глазах (но все-таки ставил); для этих целей, впрочем, у них в институте была всеобщая избавительница, добрый гений, белокурая жрица, крутобедрая хранилища сокровенного знания, именем Ира, обычно называемая Иришей, однажды (как она сама мне со смехом рассказывала: я познакомился с ней у Яса, потом еще встречал ее в разных местах), на самой ранней заре очень туманной юности выписавшая ровным девически-ученическим почерком в большую, «общую», черную тетрадку все необходимые для дальнейшей жизни цитаты из классиков марксизма-кретинизма (как неизменно называл это Яс); когда кому-нибудь из сотрудников их заведения, убежища просвещенных празднословов, требовалась очередная цитата из оных классиков (*брадатых богов*, бюсты, статуи, портреты коих еще зырились, пялились на нас изо всех углов нашего призрачного существования, не только с торцовой стены в начале Суворовского бульвара, у Никитских ворот) – когда, следовательно, кому-нибудь из сотрудников требовалась очередная цитата, он в любое время дня и ночи (гипербола... но близкая к истине) мог обратиться к этой хорошенькой, белокуро-крутобедрой Ирише, она же ухоженными пальчиками с ярко-красными ноготками открывала заветную затрепанную тетрадку – и цитата немедленно находилась.

Ко всему этому, к чинам, постам, институтским интригам Яс, скажу еще раз, относился с презрением (мог позволить себе относиться с презрением ко времени моего с ним знакомства); в ценность и смысл своих и чужих научных работ верил довольно мало (впрочем, его статьи, да и несколько его книг – о ранних, в особенности, да и о не очень ранних фламандцах, – я читал с удовольствием, перечитываю теперь с наслаждением, хотя в них нет, увы, того блеска, который был в его лекциях, был в нем самом; к тому же страшно портит их комический канцелярский язык, которым тогда полагалось – похоже, и теперь полагается – пользоваться в среде несчастных гуманитариев, вечно пыжащихся в попытках придать серьезный вид своим не всегда серьезным занятиям, а то ведь, не дай бог, заподозрят их в *ненаучности*: язык, которому уже тогда я предпочитал точный язык поэзии или поэтический язык точных наук, не стремящихся никому доказать, что они тоже науки и тоже нужны, гомеровский в своей возвышенной простоте язык математических формул). Конечно, он любил то, о чем писал, о чем читал лекции (или, наоборот, читал лекции, писал статьи и книги о том, что любил): и ван Эйка, и Кампена, и Рогира, и дальше по длинному списку; научил и меня любить их; видеть их; даже, может быть, что-то в них понимать. Но он любил еще многое, разное; интересовался разным и многим. Ему живые люди были все-таки интереснее нарисованных. Он наблюдал за ними, изучал их так же внимательно, так же страстно, как изучал Кампена и Рогира. Но он и жил с ними, принимал участие в их судьбе. Он был, как выразилась о нем одна случайная американка, человек *помогательный*. На самом деле (думал я, лежа в Льеже рядом с Жижи) он был едва ли не самый *помогательный* человек из всех, какие мне встретились на жизненном пути моем. Он всегда готов был бросить все свои дела, заняться чужими (моими). Мы с ним не только дублинку покупали вместе, но – чего мы с ним вместе только не покупали (и новый проигрыватель, как это тогда называлось, и новый, как это тогда называлось, магнитофон); и когда начались у меня первые стоматологические сложности, тут же устроил он меня к своему дантисту («лучшему в Москве», как же иначе?), даже (подозреваю теперь) заплатил ему больше, чем тот взял с меня и чем согласились бы заплатить мои советские родители (с невинным видом посылавшие меня в «районную поликлинику»); и когда Мара через (мне кажется) год (или полтора года) после нашего с ней знакомства довела меня до того, что я пустился во все алкогольно-эротические тяжкие, из загула в запой и обратно, тогда он же, Яс, ездил со мной к другому доктору, своему знакомому, грубо-усатому, мерзко шутившему, но, следует признать, довольно быстро вылечившему меня (запах цинковой мази мне потом даже снился) и от гонореи, и от чесотки, которые умудрился я подхватить почти одновременно то ли от одной (незабываемой) ночной бабочки, встреченной мною в обледеневшем троллейбусе, то ли на какой-то чудовищной, пригородной (как тогда выражались) *хазе*, насквозь пропахшей анашой, перегаром, дешевой красной помадой, которой мазались мерзкие, злобно-веселые обитавшие там девицы.

Он сам пускался в разные тяжкие, во всякие приключения. Тамара Сергеевна (всего однажды) показала мне их, ее и Яса, старые фотографии; его, Ясовы, детские. Там Яс был большеглазым испуганным мальчиком; хорошим мальчиком из добропорядочной еврейской семьи – уже, впрочем, смотревшим в камеру так (или это я придумываю теперь?), словно только и ждал, как бы поскорее сбежать с этих мутных снимков. Увы, не помню там его папы и мамы (а как бы хотелось теперь посмотреть на них); помню только расплывчатые, словно подводные предметы пятидесятих годов (стол с сетчатой скатертью, безобразный безразмерный буфет). Он сбежал с этих карточек и убежал от них все дальше всю жизнь. Всю жизнь (теперь мне кажется) он боролся в себе с тем хорошим еврейским мальчиком, который все-таки в нем проглядывал, которого он очень старался не показать никому. И уж во всяком случае, предметы вокруг него должны были быть другими, хоть он и называл себя, случалось, собирателем старья, охотником за рухлядью, выжлятником ветоши (это слово – *выжлятник* – из Манделъштама, конечно, забрело в его лексикон). Его рухлядь стоит теперь что-нибудь

наверняка запредельное, неисчислимо. Картины, сливавшиеся для меня в мой первый приход в одно сплошное масляное пятно, окруженное, как рамой, креслами из красного дерева и столиками из карельской березы, вскорости разделились, распределились по стенам: вон там, над диваном, чудесный пейзаж Осмеркина, здесь мужской портрет Фалька, подобранный, иногда мне казалось, в силу смутного свойства с хозяином (кто был на нем изображен, я не помню; помню, что подбородок был у него такой же древнеримский, с тяжелой небритостью, как у самого Яса); вот, наконец, в простенке между окнами, крошечный рисунок Бенуа, театральный рисунок Бакста. Был восемнадцатый век; почему-то два портрета императрицы Елизаветы Петровны, очень парадных, в горностаевой мантии. Веселая царица была Елисавет, приговаривал он, когда видел, что я вновь их разглядываю. Ничего веселого ни на одном из этих портретов в ней не было; скорее с неудовольствием взирала она на непонятную ей жизнь, в которую зачем-то ее поместили.

Он позволил мне краем невосхищенного взгляда заглянуть в мир коллекционеров, жестокий и жутковатый. В нем самом я не чувствовал той алчности, той гончей ярости, ловчей страсти, которую замечал в других (в его же знакомцах); или он умело скрывал ее; но он всегда готов был (в мороз, в метель, в три часа ночи) мчаться на другой конец Москвы, чтобы опередить своего главного конкурента (страшно худого, при этом глухо и как-то мокро басившего персонажа, которого все называли Герман, без отчества) или свою главную конкурентку (Зою Викторовну, запомнил имя, почему-то тоже худую, с жидким пучком на затылке и совиными глазами особу, похожую на школьную учительницу, из тех, кого несчастные ученики зовут Каргой или Клюшкой), чтобы перекупить у какой-нибудь бедствовавшей старой дамы ее заветный столик, заветнейшее кресло красного дерева, последний осколок давно погибшего прошлого. Тогда еще попадались эти осколки; теперь и они исчезли. Все эти охотники за осколками были (говоря откровенно) чуть-чуть (или не чуть-чуть) рвачами и спекулянтами; значит, и Яс был им тоже. Я бы долго не выдержал (мне казалось) ни этой Клюшки, ни этого Германа (с одним «н»... от героя «Пиковой дамы» в нем была только жажда наживы), ни этой погони за рухлядь. А он выдерживал; в нем любопытство и (хорошо скрытый) азарт вновь и вновь одерживали верх над брезгливостью, хотя он потом плевался и, случалось, сам говорил мне, что все вообще ему надоело. Все это *так*, игра; тлен и прах; он мог бы завтра же все это бросить; вообще все бросить; еще, пожалуй, и бросит. Он, может быть, совсем не меня (теперь я думаю), но себя самого пытался уверить в том, во что верил все менее. Я-то как раз ему верил (я вообще ему верил... в девятнадцать и двадцать лет уже, впрочем, не так безраздельно, бездумно, как верил в шестнадцать).

А что же, эти Клюшки и Германы бывали на тех домашних посиделках, на которых выступали тогдашние знаменитости (как и не-знаменитости)? А почему нет? Они ведь тоже по-своему разбирались в искусстве, даже очень хорошо разбирались в нем, ценность любой картинки определяли с первого взгляда. Я их не помню там, но что я вообще помню (вновь и вновь спрашивал я себя в Льеже, как и теперь себя спрашиваю)? Я помню разных людей, которых я там встречал... может быть, я вовсе не там встречал их? Вот Ира, Ириша, сотрудница Ясова института и хранительница марксистской премудрости: я встречал ее там? или не там? или и там, и где-то еще? Я встречал ее – с кем? Я встречал ее в обществе какого-то то ли голландца, то ли (неужели?) бельгийца; я вдруг его вспомнил, в Льеже, лежа рядом с тихо спавшей Жижи. Был какой-то вислоусый веселый голубоглазый голландец (или все же бельгиец?), крутившийся вокруг Яса и даже, кажется, не имевший отношения ни к голландской, ни к бельгийской живописи (ни к раннефламандской, ни к позднефламандской), а имевший отношение к делам, бизнесу или (как говорил Яс) *гешефту*, сотрудник фирмы «Филиппс» (почему его и звали, наверное, Филипп), или фирмы «Грундиг» (но все равно его звали Филипп), или вообще никакой не сотрудник никакой не фирмы – просто случайный голландец (или бельгиец?), случайно попавший в совершенно непонятное ему общество, в какое вряд ли попал бы

он в своей Голландии (своей Бельгии), и где его принимали, разумеется, с распростертыми изо всех сил объятиями широкой русской души (даже самый задрипанный иностранец воспринимался в ту пору как высшее существо, как темно-синий ангел на золотом фоне средневековой картины). Ясу, теперь мне кажется, он нужен был в первую очередь как поставщик прекрасного голландского (или бельгийского) буйно-пахучего трубчатого табака (в плоских пакетах, в круглых коробках). Что-то смешное рассказывал он – не в ресторане ли? в «Арагви»? в «Национале»? и не в хохочущей ли компании вышеупомянутых ресторанных фиф, нимф (Инны и Зины, тоже, конечно, мечтавших выскочить замуж за иностранца, богача, фирмача)? или в гостях у Ириши, крутобедрой хранительницы цитат (где никаких ресторанных фиф, тем паче нимф, быть, наверное, не могло)? – все кружится, все путается в измученной моей голове, – но что-то очень смешное он рассказывал (по-английски) о разнице то ли между голландцами и бельгийцами, то ли между фламандцами и валлонцами: в том смысле, помнится, что одни (то ли голландцы, то ли вообще фламандцы) – люди северные и потому (как все северяне) внешне суровые, но по сути честные, добропорядочные, работающие, положительные, обязательные, надежные во всех отношениях, создатели материальных и духовных ценностей, в общем настоящие люди, герои капиталистического труда, а вот другие (то ли валлонцы, то ли вообще бельгийцы) – южане, а потому (как южанам оно и положено) с виду, может, и симпатичные, такие живчики, но по сути шалопаи, лентяи и прохиндеи. Полагаться на них нельзя, доверять им не следует, обведут вокруг пальца, обманут за милую душу, обдерут как липку, оберут до ниточки, облапошат, глазом не моргнут. Яс хохотал до слез, его слушая. Там расстояние, говорил он, давясь табаком и хохотом, как от Москвы до Звенигорода.

Этот же Филипп (если так его звали) имел чарующую привычку то и дело хлопать свою (уже собравшуюся за него замуж) Иришу по попке (действительно выдающейся); в пуританской Совдепии жест невозможный, немислимый. Привет от Брейгеля, говорил Яс... Она, мне кажется, нарочно подставляла ему эту попку. В каких-то, помню, случайных гостях, в конце долгого бессмысленного застолья, всякий раз, как проходила она мимо кресла, где он сидел, тут же он ее – хрясь изо всех сил по заднице; хозяйева в шоке, она визжит, он гогочет. Заграница, одним словом. Яс, хоть и не разделял всеобщего низкопоклонства перед Западом, все же как-то попробовал повторить этот жест у себя в институте, о чем рассказывал с деланным смехом и неподдельным стыдом; увы, опыт европейской раскованности в строгих советских условиях кончился, как обычно, конфузом; у скромной сотрудницы, подвернувшейся ему под руку, на попке оказался фурункул. Вряд ли им пришлось вызывать ей «Скорую помощь», как после утверждала молва и легенда; больше, во всяком случае, воспитаннейший Яс на моей памяти никаких брейгелевских грубостей не позволял себе никогда. А вот было ли все это до или после того, как я впервые привел Мару на одну из его, Ясовых, домашних посиделок, я теперь не могу и лежа в Льеже, нет, никак не мог вспомнить. А я упорно пытался, лежа в Льеже рядом со спящей Жижи, вспомнить, что было когда, что идет за чем (еще сам не понимая толком, почему мне это так важно; я понял... через два дня, под вечер); навести хоть какой-то порядок в своем собственном прошлом. Там нет никакого порядка. Там все путается; там времена и события налезают друг на друга, как ломкие льдины на весенней реке (в Ярославле, на Волге). Я только помнил, что привел Мару к Якову Семеновичу почти сразу после нашей с ней первой прогулки по воскресной снежной Москве – той самой прогулки, которую я предложил ей в качестве более действенного, чем анаша и вино, средства от *коломятности бытия*; о которой не вспоминал лет тридцать, если не тридцать пять, как будто ее и не было... а ведь она была; был снег, крыши, какие-то купола, вороны над куполами; тот зимний день, те восемнадцатилетние мы.

Мы оба были в длинных шарфах. Мой был английский, светло- и темно-серый, купленный в «Березке», прекрасно подходивший (как мне казалось) к заветной моей дублинке. На ней была та же (роскошная) черная шуба, тот же черный шарф, что и накануне, так же густо

замотанный вокруг шеи. А что у меня было на голове? Быть может, и ничего. Большим шиком считалось в ту пору среди молодых идиотиков ходить зимою без шапки. А у нее на голове? Что-то было, но я ничего не вижу. Вижу только шарфы, которые никто еще тогда не завязывал по-нынешнему петлею; вижу снежные ветки на Тверском бульваре, потом на Никитском. Мы встретились, значит, на Пушкинской? Вот и нет; мы встретились у Центрального телеграфа (почему, кстати, не знаю: она жила на Чистых прудах). Мы встретились у Центрального телеграфа и пошли вверх по тогдашней улице Горького, нет, я полагаю, не заглянувши в магазин «Дружба» (если он так назывался), где продавались гэдээровские издания немецких классиков, куда любил заходить Яс, да и не он один. И что еще? И ничего больше. Только смешное: как мы забрели в арбатские переулки и как где-то (в Гагаринском, или в Сивцевом Вражке, или в другом чудном месте) я понял, что сейчас умру, если не решу *державинский вопрос* (как называл это, опять-таки, Яс). Мы ведь все помним, что спросил старик Державин, приехав на лицейский праздник, у восторженного Дельвига, выбежавшего навстречу ему? Где, братец, здесь нужник? Яс, входя куда-нибудь (в ресторан ли, на выставку), улыбался своей самой чудной, самой шальной улыбкой, поднимал брови, покачивал круглой головой и говорил мне: ну что, первым делом *решим державинский вопрос?*.. Между прочим, *решить державинский вопрос* в тогдашней Москве было совсем не просто. Был подвальный туалет прямо напротив Центрального телеграфа, в начале Камергерского переулочка, тогдашнего проезда МХАТ, в *доме с градусником* (как называли его знатоки и жители Первопрестольной), прямо под этим самым градусником, рубиновым и огромным, неизвестно когда и кем присобаченным на торцовой стене большого дома, выступавшего вперед, соревнуясь с соседним, тоже немаленьким (где жил потом один мой приятель). Градусника давно нет; туалета тоже нет; на месте туалета стоит удивленный Чехов (А. П.), худой и высокий (как градусник). Тогда Чехова не было, а туалет был, и нет бы мне зайти туда прямо перед свиданием. Но прямо перед свиданием державинский вопрос еще не стоял передо мной во всей своей неотменяемой неотложности, хоть я и выпил перед выходом из дому океан крепкого кофе, пытаюсь проснуться после наканунешних эксцессов в компании будущих известных московских журналисток и, по-видимому, все же придуманных мною депутатов израильского парламента. Еще был туалет на Новом Арбате, тогдашнем проспекте Калинина, но мы туда не свернули. Мы (думал я в Льеже) должны были, вообще говоря, пройти мимо подземного туалета на Тверском бульваре, в соседстве с памятником Тимирязеву, но то ли этого туалета тогда еще не было (он, мне помнится, как-то вдруг появился, в глубине моей молодости; он же единственный до сих пор, если я ничего не путаю, существует), то ли я постеснялся оставить даму дожидаться меня на морозе (в пуританской Совдепии джентльмены ведь вообще в уборную не ходили). Но в Сивцевом Вражке или в Гагаринском переулке (тогдашней улице Рылеева) мне уже было плевать на пуританские предрассудки, викторианские нравы. Обнаружился деревянный гвоздательный забор (смутно напомнимший о даме с собачкой), в заборе – щель, за забором – стройка, рытвины, колдобины, занесенный снегом маленький желто-ржавенький экскаватор, затем, в глубине, вагончик для отсутствовавших, по счастью для меня и по случаю воскресенья, рабочих; за вагончиком я, наверно, и спрятался. Дожидавшейся меня даме (которую только шуба дамой и делала; собачку, как потом выяснилось, она оставила в тот день дома) рассказал я, ликуя от облегчения, о *державинском вопросе* и об *одном своем знакомом*, который это так называет. Тут она принялась хохотать. Ничего не помню, что было до этого, – ни ее, ни моих слов, ни ее лица, ни глаз, ничего. Вот этот смех ее, какой-то круглый, хочется сказать – облытый, помню отлично. Этот облытый смех нас с ней сблизил. Ей не надо было ничего объяснять; она сама все знала и про лицейский праздник, и про восторженного Дельвига, и про убежавшего Пушкина. Наверное, это было так, словно маска, которую носила она весь наш путь от Центрального телеграфа к Сивцеву Вражку, вдруг свалилась с нее – и я снова, как пару раз накануне, увидел в рамке волос и челки то чистое, беззащитное и, пожалуй, простое лицо, в кото-

рое, собственно, и влюбился. Хотелось взять в руки это незащитное большое лицо, полное, мягкое и, да, по-прежнему немного квадратное (нисколько не облое). Взять его в руки мне в тот день не пришлось. Смеясь и продолжая смеяться, она объявила, что и ей, в сущности, пора бы *побеседовать с Гаврилой Романьичем*, хотя девочкам это труднее. Ее шикарная шуба не без усилий пролезла в заборную щель. Отсутствовала она долго. Воздух вокруг был морозный, чистый, живительный. Над близким, бескrestным, но бойко блестящим куполом кружились и кричали вороны. Шла старушка в войлочных (или мне вспоминается так) туфлях, чуть ли не домашних тапочках, прямо по снегу, не сметенному с тротуара, в пальто, но без варежек, с большой обтрепанной сумкой в костлявой руке; застыла, увидав Мару, наконец вылезавшую из дырки; что-то прошамкала; ничего не сказала; сильней и злее сжала красными пальцами лямки своей сумки, замотанные синей (или это я придумываю теперь) изолентой; потопала дальше по снегу; обернулась; посмотрела; снова потопала. Потом сразу начинается наш с Марой роман; наши с ней встречи: каждый день, каждый вечер.

Это имя – Мара – она сама себе, как оказалось, придумала. Ну еще бы, на свете ведь может быть только одна *Марина* (с придыханием: огромное «а», протяжное «и»: на первом слоге нужно набрать воздух в легкие, на втором долго-долго его выпускать: МА-рииииина...); при жизни самой МА-риииины никаких других Марин не было; ни МА-лейшего НА-мека не было и не могло быть ни на какую другую МА-риииину. Зато теперь, когда каждую вторую профурсетку зовут Мариной, когда у них в классе половину дурех с косичками звали Маринами, когда продавщицу у них в винно-водочном все алкаши кличут Маринкой, – нет уж, увольте. Поэтому она – не Марина. Она – Мара, до скончания веков. Ее Мариной называют только дураки и невежды, пошляки и пройдохи, гады и сволочи. Называть ее Мариной – святотатство. Мариной называть ее – богохульство. Преступление против поэзии, худшее из преступлений на этой преступной земле. И когда же она придумала эту Мару? Лет в четырнадцать, поняв, что она – поэт. Если я еще раз назову ее поэтессой, мы расстанемся навсегда. Она – поэт, она – Мара, ей на все наплевать, она в гробу всех видала, она во всем идет до конца, ее душа – одна кровоточащая рана, во имя высокой дружбы она способна на все, ее душа – чистое пламя, всегда устремленное ввысь, она любит только рифмы, ритмы, закаты, рассветы, росу на юной траве и свежем чертополохе, она первой нищенке готова отдать свою шубу, подаренную богатыми родителями, ее душа – окно, распахнутое в безмерность восторга, любви и страдания, снег пахнет ландышами, ландыши пахнут... Тут все же и снова принималась она хохотать (облым смехом), вспоминала Бальмонта (моя душа – оазис голубой), вспоминала, хохоча еще пуще, пародию Анненского на Бальмонта (моя душа – эбеновый гобой); маска сваливалась; лицо появлялось.

Мы все носим разные маски, покуда юность не кончилась; потом... потом мы носим только одну (одну какую-нибудь, которую под конец уже еле тащим, но и содрать не в силах); есть люди, впрочем, у которых юность не кончается долго, которые и в тридцать, и в сорок лет еще пробуют разные роли, разные взгляды. Я теперь думаю, что и у Яса, при всей его вальяжности, была эта долгая молодость. Он по-прежнему пробовал то одно, то другое, когда мы с ним познакомились, да и впоследствии. Мара тоже меняла маски, чему я много раз был свидетелем, являлась то великой грешницей, то маленькой скромной святой, то беспомощным дитятей, то даже, вдруг, деловой леди. Так же вдруг пошла она в автомобильную школу; на первом же уроке чуть не *впендюрилась* в фонарный столб, чуть не сбила *милтона*, о чем сама с восторгом рассказывала (примерно в этих выражениях); подмести комнату было выше ее сил; в магазине, кроме винно-водочного отдела (с продавщицей Маринкой), она не бывала; раз в полгода принималась, однако, изображать *хозяйку*, варить (почему-то) гороховый суп (несъедобный). Приступы хозяйственности, как и приступы святости, заканчивались запоем. Когда она напивалась, глаза ее пустели уже окончательно; окончательно пустыми глазами она смотрела на тебя – и ты не знал, что она сейчас выкинет, то ли заплачет, то ли начнет драться.

Драться она любила; пару раз принималась, даже довольно больно, колотить меня по груди кулаками; я хватал ее за тонкие, вытянутые запястья; она кричала, вырывалась, плевалась. Пусти, подлец, как ты смеешь... Иногда она выбирала себе другую жертву; внезапно, ни с того ни с сего, двигая (и вправо-влево, и вверх-вниз) выпуклостями (которые я старался сам с собой не называть желваками), начинала издеваться над какой-нибудь случайной, невинной девушкой, широкими от восторга и страха глазами смотревшей на очередное сборище поэтов, психов, художников, диссидентов, где непонятно как, зачем и почему она оказалась. Одну такую девушку (смешную, с зелеными веками и слезами в зеленых глазах; имя, увы, забыто) я даже как-то взял за холодную, с подрагивающими пальчиками руку, вывел на улицу и отвез на такси домой, простившись с ней у подъезда, хотя она, наверное, совсем не того от меня ожидала и хотя, конечно же, Мара получила в результате таковых моих действий новый отличный предлог для ненависти, злости, насмешек и примирений. Она и сама понимала, что ведет себя не вполне, так скажем, нормально, просила меня удерживать ее от вина, вермута и портвейна (или какую гадость мы пили?), даже, случалось, поговаривала о психотерапии (что было в ту пору еще почти недоступно, уже очень модно); даже, кажется, какой-то подпольный психоаналитик появился вдруг в ее жизни, так же вдруг исчез, растворился, рассыпался. От поэзии вылечить невозможно, объявила она очень торжественно. Она – поэт, она – Мара, если я еще раз назову ее поэтессой, она меня убьет, если назову ее Мариной – подкрадется ночью, перережет мне горло, у нее уже и кинжал приготовлен, ей на все наплевать, она любит только закаты, рассветы, рифмы, ритмы, росу на юной траве. Вместе с тем и вопреки всякой логике (да и на что нужна логика? логика – ложь! правда превыше всех земных ваших логик!) – вопреки земной нашей логике (а я изучал как раз логику, все с большим увлечением и удовольствием), она тоже была *Мариной* – если не забывала ею быть. Она была – Марой, Марой, запомните навсегда, гады, сволочи, пошляки и пройдохи; но втайне-то, но на самом-то деле она и была *Мариной*, настоящей *Мариной*, истинной *Мариной*; воплощением *Марины*; *Мариной* после метампсихоза; реинкарнацией *Марины* в поганой действительности, пошлой повседневности, со всех сторон окружающей нас; заместительницей *Марины* в нелепом мире вот всех этих жалких людишек, собирательных обывателей, не обрывающихся с крыш; явлением *Марины* народу на вот этой, в грязных сугробах, серо-советской улице, по которой мы идем с ней, скользим с ней на очередную постылую пьянку, бессмысленную гулянку, бездарную вечеринку, куда ей – поэту! – вовсе бы не следовало идти, куда, уж ладно, так и быть, пойдет она – и чтоб вы все сдохли; полномочной представительницей *Марины* в опоганенной современностью, но по праву только ей – Марине! – принадлежащей Москве, никому больше не принадлежащей Москве, в *ее* Москве, которую всякие убожества с их лягушачьей логикой (и еще каким-то там мать-перемать-анализом, теорией множеств, теорией – ничтожеств) пытаются отнять у нее; она и только она одна, под маскою скромной Мары, была несомненной, губельной, гибнущей, ранимой, раненой, пронзенной стрелой Амура и – еще чем? – копьем Афины, взглядом Аполлона – или что там было у Аполлона? – *Мариной*; а кто этого не понимает, не видит, тот уже гад окончательный, пошляк в соевой степени; тому уже не поможешь. Иногда она все-таки забывала, что ей надо быть *Мариной*; за что я ее и любил. Забывала, но сразу же вспоминала опять; вся вытягивалась (как свеча в ночи, как чистое пламя посреди мирового мрака); устремляла взор в пустоту; являла зрителям изгиб и излом (руки, шеи, ноги); не понимала простейших вещей, которые я или кто-нибудь решался ей сказать; смотрела с упреком: как посмели, мол, отвлечь ее от возвышенных ее мыслей, трагических ее дум, от намечавшихся, назревавших, уже звучавших в ней строчек; или, наоборот, дурачилась, показывая, что поэт всегда ребенок; или отказывалась разговаривать с кем бы то ни было, кроме своей лохматой грязно-белой собаки, маленькой и очень дурно воспитанной, которую иногда таскала с собою даже в долгие гости, в бурные большие компании, где собака всем мешала, лаяла, запрыгивала лапами на стол, требовала внимания и любви; когда же мы выходили наконец на улицу, принималась изо всех

сил тянуть поводок, хрипеть, задыхаясь в ошейнике, или, наоборот, упираться, не желая покидать вождельные запахи, оставленные на снегу другими, возможно более цивилизованными собаками; из-за чего Мара, помнится, приходила в ярость, тащила и дергала ее с остервенением; собака же, упиравшись, распластывалась по земле, превращаясь в какое-то другое существо, еще неизвестное природе, скорее земноводное, подводное, многочленистое, чем млекопитающее, четвероногое, теплокровное: то ли в краба, то ли в лягушку. Потом они мирились, и Мара, присев на корточки, утыкала свой нос в собачий, сообщая ей, что только она одна ее понимает, или (правда, уже в сильном подпитии) пускалась читать ей (и только ей одной) свои новые, еще горяченькие, стихи.

Из этих стихов я помню только одно, да и то не целиком, да и то не уверен, что помню точно. Там был какой-то *он*, как же иначе (почти все ее стихи обращены были к какому-то – разумеется, не достойному ни их, ни ее – *ему*; иногда, впрочем, обращены были прямо к Господу Богу, как если бы автор, отчаявшись, решил наконец обрести окончательного адресата для своих излияний). Стихов, обращенных к Господу Богу, я вспомнить, увы, не в силах, как ни стараюсь; что же до не-божественного *его*, то *он*, как сказано, подвел, подкачал. *Он* был, вполне вероятно, в других отношениях неплох – и ростом вышел, и лицом ничего себе, и в плечах широк, и в постели все у него получалось, но вот не было у них настоящей близости, хоть ты тресни, и потому она прощалась с ним, расставалась с ним, как бы горько это ей ни было. Ему-то что? Он другую найдет. А вот для нее, такой трепетной, любой разрыв – трагедия. Но нет, нет никаких сил терпеть... главное, Пруста он не читал, вот что! Так бы еще ничего, но незнания Пруста она простить ему не могла. Но раз ты мне вообще духовно чужд, и всех моих не понимаешь нужд, и раз ты не читал Марселя Пруста, и раз так пусто в твоей душе, то уходи сейчас, немедленно, покуда не погас в окне закат, пока мы оба живы, и молоды, и так еще красивы... Как лист крапивы, хотелось мне тут добавить. И нет, я не утверждаю, что не сочинил этого сам, сейчас, за нее, но что-то такое было, это точно, и задача моя заключалась в том, чтобы ни словом не обмолвиться про крапиву, а главное, не рассмеяться, когда она читала это кому-нибудь: мне, собаке, подруге.

Подруга была, закадычная. Закадычная подруга Аня, с которой они учились в одном классе и которая играла при ней роль *прилюськи*, как это называлось в поколении наших родителей. Ну как же, раньше, на танцах: главная красавица – Люська, и при ней подруга, совсем не красавица. Без своей *прилюськи* Люська на танцы не ходит. Люська с ней приходит на танцы под ручку, Люська ей жалуется на своих кавалеров, Люська ей, случается, даже уступает какого-нибудь, *завалящего*. Данная конкретная *прилюська* Аня была пигалица, еще и чуть-чуть скобоченная, едва ли не хроменькая, причем лицо у нее было прелестное, как говорится – иконописное (но этого никто, конечно, не замечал); я теперь думаю, что она была раз так в десять (хорошо, в пять) умнее и образованнее своей *люськи* Мары (как обычно оно и бывает). У нас нет единицы измерения ума; была бы, вот в десять (хорошо, в пять) раз больше, чем Мара, я и дал бы ей этих единиц ума, этих *бесов*. Эта была у нас шутка такая; я вдруг вспомнил ее, через сорок лет, лежа в Льеже, рядом со спящей Жижи. Мне хотелось разбудить ее, рассказать ей все это; она бы со мной посмеялась (я уже сам не знал, впрочем, смеюсь ли я, в темноте, тишине бессонной, бетонной ночи, в льежской гостинице, или втайне я плачу). Была такая шутка у нас (я вдруг вспомнил), потому что была среди невысказанных Мариных приятельниц, в основном – поэтесс (к которым Аня ее, разумеется, ревновала), одна совершенно комическая, при виде и даже при упоминании о которой ревнующая Аня принималась смеяться, я тоже, так что и Мара, в конце концов, вынуждена бывала признать, что, да, она смешная (хотя что-то в ней есть, что-то в ней есть...); Анжелина Бес – вот так ее звали. Анжелина Бес – ухочешься. Эта Анжелина Бес (в отличие от Аняты) была как раз дылда, лохматая, рыжая, к тому же (как и Мара) вся вытягивалась, красовалась, ломалась. Вся была в сережках и бусах. Она говорила: *читну*. Вот слово, от которого и Аня, и я сразу начинали сгибаться, пытаюсь

удержать в себе хохот. На каких-то поэтических посиделках, в какой-то, что ли, студии, или просто компании, где пару раз оказывался я с Марой, пару раз и с Анютой, где все, в том числе упомянутый выше Андрей (или не Андрей, любитель *медленных частей Гайдна*), читали по кругу, Анжелина Бес, прежде чем сервировать собравшимся свои вирши (безусловно бесстыдные, прекрасно порнографические), всякий раз, потрянув огромными кольцами сережек, бусами, лохмами, выговаривала: ну что же, и я, пожалуй, *читню*. – Читни, читни, голубушка, – отвечал ей еще один персонаж этих сборищ, совсем молоденький, но с черной большой бородою, никогда не снимавший тоже очень большой (à la грузин на рынке, ну или чуть поменьше) серой и плоской кепки (вот, значит, кого напомнил мне тот *приколист*, барб-блё, которого мы видели только что, сегодня вечером, в ресторане за поеданием кролика... как давно это было, думал я, открывая глаза в темноте; как быстро отдалается от нас прошлое, как улетучивается, как падает в бездну). У того другого, давнего, *приколита* глаза были тоже ясные-ясные, прямо прозрачные, совершенно не сумасшедшие. – Читни, голубушка, читни, чихни, чего хошь, чего уж теперь?.. Про эту-то Анжелину Бес прилюська Анюта (хохоча и ревнуя) сказала как-то, что если бы существовала единица измерения ума, то она, Анжелина, получила бы всего одну такую единицу; например (она задумалась и пустилась хохотать еще пуще) – например: один *бес*. Тут мы принялись, хохоча в свою очередь, перебирать общих знакомых, наделяя их таким-то и таким-то количеством *бесов*: толстый Андрей (любитель Гайдна) получил у нас, кажется, шесть *бесов*; круглобровая Нина (знаменитая в будущем журналистка) – семь; Дина (депутат Кнессета, если она вообще существовала) – аж девять; кепчато-бородатый, по требованию Мары, целых одиннадцать. Больше всего *бесов* получил бы у меня Яс, но этого я им не сказал. И нет, я не помню, не могу вспомнить, и не мог вспомнить в Льеже, где все это происходило; наверное, в темной, затхло-запущенной Мариной квартире на Чистых прудах, где ее бесконечно уезжавшие в заграничные командировки (как это тогда называлось) родители отрадно часто оставляли ее одну – точнее, втроем с собакой и старшим братом (противнейшим), который тут же начинал приводить к себе девиц (непотребнейших), что давало Маре *законный повод* (как она выражалась) оставить и меня ночевать у нее, вместе с ней, к большому неудовольствию собаки (которую приходилось запираť в родительской комнате) и не меньшему неудовольствию Анюты, горестно уходившей, прихрамывая, в снежную ночь.

Любовница она была плохая; она, собственно, относилась к тому худшему сорту любовниц (думал я, лежа в темноте рядом с Жижи, радуясь, что Жижи спит и мыслей моих не слышит), которые лежат (в темноте ли, при свете) – и ждут, чтобы их обслужили. Не просто ждут, чтобы их обслужили, но ни на мгновение, кажется, не перестают оценивать качество услуги, сравнивать службу сегодняшнюю с службой вчерашней, нынешнего любовника с предыдущим, значит, ни на мгновение не расслабляются, не забываются, не отдаются. К тому времени уже понаторев на фифах и нимфах, я, конечно, справлялся с поставленными задачами, но радости это не приносило мне, не приносило, похоже, и ей. Она была как будто из проволоки. Что-то механическое, что-то от заводной куклы появлялось в ее движениях в те самые минуты, когда мы всего более ждем живого, теплого, мягкого. Может быть, я поначалу надеялся, что разбужу ее, что и она загорится. А потом, лежа рядом с ней на ее, увы, пропахшей псиной тахте, в ее всегда неприбранной, с набросанными на кресло джинсами и блузками комнате, под громадной, страшно увеличенной и оттого расплывавшейся фотографией *Марины* (явно недовольной тем, что ее потревожили, вообще посмели в ее храме и капище заниматься такой низменной вещью, как ублажение плотского человека в себе), думал о том, что никакой, может быть, *он* ей (Маре, про *Марину* не знаю) не нужен. Она-то думает, что *он* ей нужен, но никакой, увы, *он* не может (и никогда не сможет) соответствовать ее высоким требованиям, ее взмывающей в небеса беспощадности, ее (я думал) намеренно-неумеренным ожиданиям. А потому что к черту умеренность! Что мне ваша умеренность, с этой моей *безмерностью в мире мер*... Она призналась мне как-то, что лет с четырнадцати начала возбуждаться при чтении стихов. Читала

самой себе вслух *Марину* – и возбуждалась. *Проста моя осанка, ниц мой домашний кров...* И что, прямо-таки?... Да, прямо-таки *кончала*. И пальчиком куда себе при этом не лазила? Тут она дала мне пощечину, из чего я сделал простой вывод, что да, лазила, еще как. Лазила, и наверное, продолжала лазить, и в конце концов, почему бы и нет, кому какое дело, никому это не мешает, и, например, Рильке (как мне однажды рассказывал Яс) продолжал навязчиво мастурбировать (говоря просто и грубо) всю свою жизнь, в чем признавался сам в письмах к Лу Андреас-Саломе, что не помешало ему быть Рильке, написать все то великое, что он написал, и пережить все те любовные, невероятные, невероятно-многочисленные (отчасти, впрочем, платонические) истории, которыми полны теперь его биографии (включая его историю и переписку с *Мариной*, с которой они так никогда и не встретились; Мара, когда я пересказал ей это, по дороге то ли к Ясу, то ли от Яса, долго оставалась под впечатлением услышанного, долго думала, на вопросы не отвечала); все это было слабым для меня утешением.

С Ясом (как уже сказано) я познакомил ее вскоре (что значит: вскоре? как трудно навести в памяти хоть какой-то порядок) – все-таки (мне кажется) вскоре после нашей первой (державинской) прогулки по снегу и стройкам; взял ее с собой на один из Ясовых домашних докладов, одну из его пресловутых посиделок, куда вовсе не было принято *приходить с девушками*, так что он удивленно поднял брови, увидев меня с нею в дверях, ничего не сказал мне, но держался так отстраненно, что я потом попробовал попросить прощения у него за это (как я выразился) *faux-pas*... он отмахнулся от моих извинений своей аккуратной белой рукой, что *faux*, что *pas* – все чепуха, мол. Еще отстраненней держалась Мара в незнакомом ей обществе; напустила на себя такой холод и такую загадочность, что даже сам Яс временами поглядывал на нее, тем более поглядывал на нее Аркаша, трясая своими кудрями, поглядывал клокасто-очкастый (кажется, Коля), с вожделием поглядывал толстенный доктор всех наук, мастер загибать пальцы и рассказывать неприличные анекдоты, поглядывали все прочие. Она села у окна, в одно из двух, еще более, кажется, старинных, чем Ясово, очень узких и неудобных, несколько не львиных, кресел, в которые редко кто решался садиться; сидела весь вечер прямо, не касаясь спинки, тонкую джинсовую ногу закинув за другую тонкую ногу, не менее джинсовую, двигая выпуклостями, иногда погрызывая пальцы, пробуя на зубок то одну, то другую фалангу, как это бывало ей свойственно, когда ей что-то очень не нравилось или кто-то очень не нравился (то есть часто), она же еще не придумала, что *учудить* и что *отчебучить*; слушала, я видел, внимательно, но с таким выражением квадратного, смуглого, в ту пору еще обрамленного неестественно белыми волосами лица, как будто она не только не слушала, но как будто ее вообще здесь не было, ни в кресле, ни в комнате. Вот я здесь, любуйтесь мною; но на самом деле меня здесь нет и быть не может; с какой такой стати я могла бы здесь быть?

Яс в тот вечер (если ничего я не путаю) говорил не о ван Эйке и не о Рогире, но, начав, по своему обыкновению, с Рогира и ван Эйка, почти сразу перешел от этой прекрасной *зари* к трагическому *закату*, от пятнадцатого века к двадцатому. То, что родилось в пятнадцатом веке, в двадцатом умирало и, может быть, умерло. Пятнадцатый век открыл человека, двадцатый его закрыл. Яс любил эффекты: после ван Эйковой «Мадонны канцлера Ролена» сразу (с помощью клокасто-очкастого Коли-не-Коли, переключавшего аппаратик) показывал Пикассовых «Авиньонских девиц» или Дюшанову «Обнаженную, спускающуюся по лестнице», после Рогирова «Святого Луки» – пресловутый писсуар того же Дюшана, или консервную банку Уорхола, или консервную банку с *дерьмом художника*, бессмертное создание Пьеро Мандзони, изготовленное им в нескольких экземплярах (один из коих был недавно продан за 220 тысяч евро; Яс до этого не дожил, но он это предвидел, предсказывал), или входившего тогда в моду (за железным занавесом об этом знало пять человек) Жана-Мишеля (или как его?) Баския, с его грубо намалеванными уродцами (за которых платят теперь десятки и сотни миллионов долларов в обезумевшем мире; в мире, степень безумия которого мы тогда только угадывали, за нашим уютным, уже, впрочем, провисавшим, ржавевшим, готовым порваться железным занавесом,

в Ясовой антикварной квартире); это всякий раз было больно. Вот так-то, произносил он со своей самой вельзевуловской улыбкой, мефистофельской усмешкой. Откуда мы вышли и к чему мы пришли. Вот наш двадцатый век, и мы должны спросить себя, что нам с ним делать и как к нему относиться.

А мы тогда себя чувствовали внутри двадцатого века – даже еще не в конце двадцатого века, но во второй его половине, от середины недалеко, – и когда Яс, например, говорил о *нашем* двадцатом веке, то он говорил именно о *нашем* двадцатом веке, о нашем настоящем, отнюдь не о прошлом; и если даже о прошлом, то о прошлом недавнем, еще делящемся, еще не совсем прошедшем; о том, что случилось вчера – не позавчера и не два дня назад (и кто мог представить себе в ту пору, что все это скоро станет историей, как и времена нашей молодости сами уже стали историей?). Еще был жив Марк Шагал; был баснословно стар, но был где-то там жив. Пикассо умер лет десять тому назад; Марсель Дюшан тому назад лет пятнадцать. Был жив, и был еще не стар, Энди Ворхол (или, если кому-то милее, Уорхол; или Уорол, как почему-то именовал его Яс); Жан-Мишель (или как его?) Баския еще не умер от своего героина, еще не совсем стал легендой, еще позировал на подобающе-прикольных фотках и даже писал картины (если это можно назвать так) вместе со все тем же Уорхолом (Уоролом, Ворхолом), своим великим учителем в деле одурачивания человечества (как говаривал, опять-таки, Яс). А ведь это тоже был запретный плод, все эти уродцы, граффити. Софья Власьевна очень их не любила. Софья Власьевна ничего не имела против ван Эйка и Рогера, даже, в конце концов, прощала им откровенно *религиозный характер* их живописи (пятнадцатый же век, что подделаешь?), но очень не любила писсуары с консервными банками. А мы очень не любили соглашаться с Софьей Власьевной, потому что очень не любили саму Софью Власьевну. Если она *против*, то мы, по определению, *за*. Все, что она проклинала, казалось нам естественным союзником в нашей – если не внешней, то внутренней, если не политической, то эстетической, философской и всяческой – борьбе с ней, старой бабой. Мы (эти условные *мы*, к которым я не знаю, могу ли отнести себя самого, потому что очень скоро научился мыслить иначе, и к которым, на моей памяти, никогда не принадлежал Яс; принадлежал, быть может, когда-то, в своей собственной, мне неведомой молодости, но точно перестал принадлежать ко времени нашего с ним знакомства) – *мы* еще не понимали тогда (а он уже очень хорошо понимал), что Дюшан и Уорхол, что писсуар и консервная банка, что вся эта уринально-фекальная чепуха, соблазняющая убогих умников и оболваненную ими публику, – что это противник тысячекратно сильнейший, чем дряхлая Софья Власьевна, и что совсем не страшно оказаться в одной компании с Михаилом, к примеру, Лифшицем (тогдашним символом совковой кондовости – с которым Яс был, кстати, знаком, о котором отзывался с неизменным почтением, как об одном из немногих настоящих марксистов, встретившихся ему, Ясу, на его жизненном нелегком пути) или в одной компании с никому тогда не известным в Совдепии Гансом Зедльмейером (тоже, увы, запятнавшим себя членством в одной малосимпатичной партии, австрийском варианте НСДАП), книгу которого «Утрата середины» (уже послевоенную), с ее (как это называется?) консервативной критикой современности, он ценил и любил, давал читать мне (когда на моем, все более мне отвратительном, философском факультете я наконец выучил немецкий язык настолько, что мог прочитать ее).

Современное искусство – как алкоголь, как наркотик (говорил Яс, в тот ли день, когда я пришел к нему с Марой, или в другой какой-нибудь; как, наверное, все люди, думающие по-своему, он дорожил своими мыслями; потому повторял их не раз, по разному поводу). Современное искусство, или то, что так называют, – как наркотик, как алкоголь. Сперва противно, потом понемногу втягиваешься, потом начинаешь почти всерьез, потом уже совсем всерьез рассуждать о консервных банках. А ведь наша задача остаться трезвыми среди пьяных, не бежать за толпой и за модой. Это не так просто, как кажется. Легко относиться с презрением к Налбандяну, попробуй-ка не любить Малевича, не восхищаться Кандинским. Но надо сопро-

тивляться. Соппротивление своему времени – мера человеческого достоинства. Наше время – это не то, в чем мы участвуем, но то, чему мы противостояем, чему противоречим и противодействуем. Наше время пробует нас на зубок, оттачивает на нас свои зубы. Сумеет ли мы не сломаться, вот главный вопрос... И это был, пожалуй, один из лучших уроков, полученных мной от него (думал я, лежа в Льеже... или думаю я теперь, пытаюсь – зачем? – записать и те, недавние, и те другие, уже очень давние мысли). Он научил меня не только смотреть и думать; он научил меня – не смотреть на то, на что все смотрят, не думать о том, о чем все думают, не стоять в общей очереди, не плыть в общем потоке, не тонуть в общем омуте; если тонуть, то в своей собственной стремнине, в своем личном водовороте.

Мара просидела весь вечер с тем же отсутствующим видом (вот я здесь, любуйтесь мною, но на самом деле я вовсе не здесь, да и с какой такой стати я могла бы здесь быть? и что он там несет, этот странный тип с его запонками, об исчезновении перспективы?). Об исчезновении перспективы он действительно говорил в тот вечер, это (кажется мне) я помню (хотя уверенности у меня нет, уверенности ни в чем быть не может). Перспектива возникает в первой половине пятнадцатого века и с небольшими вариациями господствует до начала двадцатого (говорил он, поглаживая львиную гривастую голову, которая всегда с ним была согласна). От Мазаччо до Моне, от ван Эйка до ван Гога прямая перспектива определяла судьбы всего европейского искусства. Перспектива открыла человеку соразмерный ему мир: мир, в котором он может существовать, жить и думать, не как вообще человек, но как вот этот определенный человек, вот этот *я* или вот этот *ты*. Человек на картинах ван Эйка и Рогира (говорил Яс, мановением своих запонки и с помощью очкасто-клокастого перевода время на пять столетий назад) уже – сам, уже – самость, он не сомневается в своей самости, радуется своей самости, при том что его самость, как и его бытие, есть Божий дар и вместе с тем есть божественное задание. Человек не просто самость, но он призван был самостью. Быть собой его право и его обязанность (говорил Яс, отвлекаясь от львиной гривы, принимаясь за набивание трубки). Принадлежи себе или (переведем так и точнее) будь своим собственным – тогда и Я буду Твоим (*sis tu tuus et ego ego tuus*), говорит Господь Бог Николаю Кузанскому в нашем с вами любимом трактате *De visione Dei*. Когда перспектива исчезает, распадается образ мира – и образ человека распадается вместе с ним (говорил Яс, вновь вызывая на экране духов – или бесов – нашего настоящего). Недолго, впрочем, любовался он (как и мы) разнообразными баночками, зеленым Мао и розовой Мэрилин; предсказуемо начинал хохотать, выпуская клоки колючего дыма; рассказывал (всякий раз с новым чувством) любимый свой анекдот про *натурщицу Пикассо*. Я – натурщица Пикассо, – говорит девица кавалеру на первом свидании. – То, что вы ищете, – у меня за ухом... Мы все знали этот анекдот; всегда снова смеялись; крутобедрая Ириша, хранительница марксистской премудрости, если присутствовала на посиделках, начинала почесывать у самой себя за ухом, проверяя, по-видимому, не появилось ли у нее там то, что было до сих пор в совсем другом месте... Перспектива не исчезает полностью (продолжал тем временем Яс, в одной руке держа трубку, другой поглаживая довольную львиную морду, всегда согласную с ним), но она перестает господствовать в искусстве двадцатого века, но самые главные, самые громкие, самые скандальные события в искусстве двадцатого века (а все главные события в искусстве двадцатого века – скандальные, потому что – революционные, а революция сама по себе – скандал) – все они связаны с такими вещами, такими картинами или такими (это слово он произносил с отвращением) *объектами*, где ни о какой перспективе и говорить не приходится. Какая перспектива в «Черном квадрате»? А вот «Белое на белом», на Западе, кстати, не менее знаменитое, чем «Черный квадрат» у нас (добавлял Яс с видом знатока заграничной шикарной жизни). У нас он в запасниках, а у них «Белое на белом» давным-давно выставлено в Нью-Йорке. Здесь нет перспективы, нет человека, нет мира, чего здесь еще нет? Здесь нет того, что всегда есть, самого важного, того, что, собственно, и делает изобразительное искусство – изобразительным искусством, или так, по крайней мере, счита-

лось до всех этих квадратов, треугольников и кругов, до Дюшановой сушилки для бутылок, до Дюшанова же писсуара; чего же?

Теперь у Яса был вид фокусника, уже готового вытащить кролика из шляпы и загаданную карту из кармана изумленного зрителя. Здесь нет изображения, вот чего, торжественно провозглашал Яс. Если бы Дюшан нарисовал свой писсуар на бумаге или написал его на холсте и выставил бы этот холст на потеху и ярость так называемых обывателей, то это была бы просто провокация, вовсе не революция. А это была революция, величайшая революция двадцатого века, одновременная с нашей русской революцией, в том же году. Нашу русскую революцию все заметили, ну еще бы, десять дней, потрясли мир, а величайшую революцию в искусстве заметили далеко не сразу, некоторые до сих пор не заметили, а она по-своему была не менее глубокой, не менее трагической. Революция – всегда трагедия (говорил смелый Яс, как если бы за окном и на дворе уже были не ранние, а, скажем, поздние восьмидесятые, а ведь они еще были очень ранние, эти восьмидесятые, и говорить о *трагедии революции* в присутствии не совсем близких людей, незнакомой Мары было рискованно; он любил риск). Революция – всегда трагедия, всегда неизбежность, всегда потрясает мир так, что ему уже не сделаться прежним. После Октябрьской революции мир уже прежним не будет, и после дюшановской революции не будет прежним уже никогда. И вернуться в прошлое невозможно, как бы этого кому ни хотелось.

Зато можно вернуться к теме изображения и отсутствия оногo (говорил Яс со светской улыбкой). Вот, кстати, интересное совпадение, которое не может он не отметить; совпадение наверняка не случайное, как и большинство совпадений в нашем удивительном мире. В 1914 году началась Первая мировая война, и Марсель Дюшан даже не выставил, а только приготовил, чтобы когда-нибудь выставить, свою сушилку для бутылок (после его отъезда в Америку выброшенную домашними вместе с прочим хламом и мусором; понимаю этих домашних). В 1915 году Казимир Малевич нарисовал «Черный квадрат». В 1917 году в России произошла революция, и тот же Марсель Дюшан, уже в Америке, тоже не выставил, но, по крайней мере, попытался выставить свой перевернутый писсуар, перевернувший историю, под издательским названием «Фонтан» и очевидно бессмысленным псевдонимом R. Mutt. А что было в 1916 году? А в 1916 году ученики скончавшегося тремя годами ранее Фердинанда де Соссюра опубликовали его «Курс общей лингвистики», заложивший, как вам отлично известно, основы всего (говорил Яс с поклоном в сторону трезвого, трогательного, скособоченного Василия; Аркаша возмущенно тряс романтическими кудрями, всячески показывая, что уж ему-то, Аркаше, это известно столь же отлично, даже в сто раз *отличнее*) – и современной лингвистики, и современной семиотики, и всяких других современных наук. Вот вы на меня смотрите (говорил Яс, обращаясь по-прежнему к несчастному, длинноносому, трезво-трогательному Василию, бывшему ученику Юрия Лотмана, приходившему на все посиделки) – и, конечно, спрашиваете себя, как одно может быть связано с другим. Не спрашиваете, Василий, потому что вы уже поняли. Вот знак у Соссюра, позволю себе напомнить присутствующим (Василию напоминать не надо, он это знает лучше нас всех, не так ли, Василий? Аркашины кудри взлетали под потолок): знак (не вдаваясь ни в какие подробности) состоит, по Соссюру, из означающего (*signifiant*) и означаемого (*signifié*). Например, в русском языке слово «дерево» (д, е, р... и т. д.) – означающее, а понятие «дерево» – означаемое. Главное здесь – что? Главное (Василий не даст соврать), что означающее произвольно; ни из чего не следует, что дерево должно называться именно деревом, а не, скажем, облаком, на чем (он повторяет прописные истины, но без них, похоже, не обойтись; простите, Василий) основано различие языков: одно и то же понятие может быть по-русски выражено словом (еще раз) дерево, по-немецки – Baum, по-французски – arbre и так далее, и так далее, вплоть до английского tree и эстонского puu (с новым поклоном в сторону довольного, трезвого, длинноносого Василия, к неизменному Аркашиному возмущению, говорил иронический Яс). Все же эта, сама по себе трудно оспариваемая, идея произ-

вольной (он подчеркивает: произвольной) связи между означающим и означаемым, впервые высказанная Соссюром и опубликованная в 1916 году, через год после «Черного квадрата» и за год до «Фонтана», как будто отрывает, отдаляет их друг от друга. Случайные связи рвутся легче, чем законные браки (мефистофельская улыбка). Мы в принципе можем договориться с сегодняшнего дня в нашем узком кругу называть дерево облаком, а облако – деревом; вряд ли нам удастся убедить в этом всех остальных жителей нашей счастливой страны. Так что круг обречен оставаться узким. Узок круг революционеров духа, страшно далеки они от народа. Шутки в левую сторону (вельзевуловская усмешка).

Изображение тоже есть знак, как вам, Василий, отлично известно. Изображенное на холсте отсылает к чему-то, находящемуся вне его. И вот, в те самые годы, когда в мире происходят величайшие потрясения, а Фердинанд де Соссюр кладет в основу лингвистики и основанных на ней гуманитарных наук (а какие гуманитарные науки в двадцатом веке на ней не основаны или по крайней мере на нее не ссылаются?) идею произвольной (он еще раз подчеркивает: именно произвольной) связи между *signifiant* и *signifié*, появляются изображения, где связь между образом (означающим) и означаемым (изображенным) или нарушена, или разорвана, или вообще отсутствует, или отсутствует даже само означаемое. Не надо мне рассказывать (говорил Яс не без вызова, повода древнеримским подбородком, подергивая плечом и мерцая агатами глаз), что это *так*, совпадение. Таких совпадений не бывает на этом свете, наверное, и на том. Если «Черный квадрат» или «Белое на белом» еще могут быть поняты как означающие с неизвестным означаемым, то бытылочная сушилка уже есть означающее вообще безо всякого означаемого. Если бы, еще раз, Марсель Дюшан нарисовал на холсте писсуар, назвал его «Фонтан» или еще как-нибудь, подписал его каким угодно псевдонимом и попробовал выставить, это была бы провокация, не более того. Но он купил этот писсуар в ближайшем магазине сантехники (говорил Яс, явно думая, как и я думал, о знаменитом магазине «Сантехника» на Кутузовском проспекте, куда все тогдашние жители Первопрестольной устремлялись за вождленным унитазом и возлюбленной раковиной, ни одной минуты не помышляя о превращении их в *реди-мейды*; а я бывал иногда в соседнем доме у приятеля моего Макса, тоже не занимавшегося никакими *реди-мейдами*, зато любителя поболтать о дзен-буддистских *коанах* и парадоксах), подписал R. Matt и отправил на выставку (устроители коей, по ими объявленным условиям какого-то, что ли, конкурса, должны были выставить все присланные работы, но сей шедевр выставить все-таки не решились; после чего разозленный или, наоборот, втайне довольный автор отнес свое творение в фотоателье Альфреда Стиглица (Яс произносил *Штиглиц*, на немецкий манер), одного из величайших фотографов всех времен, и тот сделал снимок, о котором теперь написаны десятки статей и книг, не сомневаюсь, что еще написаны будут сотни) – и революция, о необходимости которой так долго говорили авангардисты всех стран и народов, свершилась.

Если означающее лишается своего означаемого, то сразу возникает вопрос, что же оно, собственно, означает. Оно ничего не означает. Писсуар есть писсуар, А равно А. Если нарисованное дерево означает какое-то реальное дерево, или возможное дерево, или воображаемое дерево, фантастическое дерево, райское дерево, Древо жизни или Древо познания добра и зла (с ползущим по его ветвям Змием), или, наконец, Мировое дерево, о котором так любят рассуждать некоторые наши друзья и приятели (с мефистофельской улыбкой и поклоном в сторону сияющего Василия говорил Яс), то зритель, стоя перед изображением дерева, не спрашивает себя: что это значит? Это значит то же, что – означает, что – обозначает, что – изображает. Но если зритель оказывается перед предметом (*объектом*, выговаривал Яс с отвращением, пуская дым из ноздрей), который ничего не – обозначает, то он вынужден спросить себя: что это – значит? Что это значит? – вот (говорил Яс) первый, естественный и совершенно законный вопрос пред лицом (не-лицом, антилицом) писсуара. Пред ликом Мадонны такого вопроса не возникает. Да для того все и делается, чтобы зритель задал себе и, по возможности,

другим сей вопрос – и тут же был разоблачен в качестве обывателя. Ах, ты не понимаешь, что это значит? Ничтожество, мещанин, человек толпы. Уж так и быть, объясню тебе, дураку. Этим, видишь ли, художник хочет сказать тебе, дураку, что вся эта... как ее?... история мирового искусства, что вся эта убогая буржуазная культура, столь милая твоему жалкому сердцу, – что все это свелось к писсуару, к бутылочной сушилке, к консервным банкам с дерьмом или с супом Campbell, что вот итог, к которому мы пришли, закат Европы, гибель цивилизации. Вот, получайте. Так вам и надо. Зияющий черный квадрат, в который все провалилось. Была «Мадонна канцлера Ролена», была «Тайная Вечеря», был «Ночной дозор», теперь будет бутылочная сушилка. Сперва был Бог, потом был Бог и человек, потом один человек, теперь не осталось ни человека, ни Бога. Остался одинокий писсуар, посреди мирового молчания. Ах, вам жалко, что все провалилось? Писсуар вам не мил и бутылочная сушилка не радует вашу душу? Вы так любите ваше пошленькое, ваше сладенькое искусство, ваши пейзажики-натюр-мортики? Ханжи несчастные, лицемеры проклятые! А мы, революционеры, мы ликуем, мы радостным гимном приветствуем нагрянувших гуннов. Теперь искусством может быть все, что угодно. Бросим Лермонтова с корабля современности. Пойдем в магазин сантехники, купим писсуар и выставим. И это будет искусство, наше новое искусство, наше не-искусство, наше антиискусство, а кто не понимает, тот ретроград, обскурант, предатель пролетариата, прихвостень буржуазии, поедатель ананасов и рябчиков... тому, в общем, прямая дорога на свалку истории. Потом победившая революция сама отправляет революционеров прямой дорогой на свалку истории. В странах победившей революции их уничтожают, в странах не-победившей революции их покупают. Революция пожирает своих детей, как и своих отцов. Как и своих сестер, своих братьев, своих – всех, и в итоге себя саму. Не-революция выволакивает революционность на рынок, продает за бессчетные миллионы. Потому что революционное в странах не-победившей революции всегда модно (с видом знатока говорил Яс, едва ли не единственный из присутствующих, кто бывал в этих таинственных странах не-победившей революции). Революционное всегда модно, потому что люди жаждут новизны, жаждут разрыва с прошлым, жаждут взрыва, всемирного потрясения. Надо *волить взрыва*, говаривал Андрей Белый на своем немислимом языке (добавлял Яс как бы в скобках и с таким видом, будто Андрей Белый, заодно уж и с Блоком, заходил к нему в прошлую пятницу). Людей можно понять. Разрыв и взрыв – тоже часть жизни. Без них было бы скучно. Трагедия в их последствиях (говорил Яс, легким круговым движением белой руки намекая на то, что – вот они, вокруг нас, эти *последствия*; что было довольно смешно, учитывая антикварность окружавшей нас обстановки; он это понимал, смеялся глазами).

А думал ли он так в самом деле? Мысли – маски, которые мы на себя примеряем; но мысль (в единственном числе) жива и, как все живое, изменчива; ее сила в ее неокончателности, ее незавершенности. Мысль движется, отменяет и пересматривает себя же саму. Она не удовлетворяется результатами (итогами, выводами), как и мы, в сущности, никогда не бываем удовлетворены результатами... И может быть, он совсем не так относился к тому же, скажем, Дюшану, иначе зачем бы (я продолжал думать в Льеже) держал его книги и книги о нем не во втором ряду допотопно-допотопных полок в длинном и темном коридоре, уходившем из гостиной на кухню, но у себя в кабинете, где я не раз видел их, эти книги (статьи Дюшана, интервью с Дюшаном, биографию Дюшана), и видел их (точно помню) не только в шкафу, где обычно они стояли, но и на его, Ясовом, тоже вполне историческом, зелено-суконном, с резными бортиками, рабочем столе, даже и на курительном столике, перед стоящими рядом на голове драгоценными трубками из самого правильного бриара и в соседстве с необъемною медною пепельницей (причем, поймавши мой взгляд, произнес он, со своею усмешкой, нет, *сесі n'est pas une pipe*, не Магритт, снова Дюшан)? Может быть, вся эта *филиппика* против современного искусства тоже была лишь маской, которую он примерял, которая ему даже нравилась, ему шла, но про которую никогда не забывал он, что она – маска, и слушателям не

давал забыть этого, смеясь глазами, сопя и пыхая трубкой, поглаживая львиную морду, – и затем опять принимаясь рассуждать о том, что А равно А, что писсуар есть только писсуар, ничего более, что означаемое исчезло, а если означаемое исчезло, то нужен, на худой конец, какой-нибудь смысл, пусть завалышенький, и что вот так на сцене появляется интерпретатор, начинающий втюхивать лопухой публике всякую чепуху про великие смыслы, таящиеся будто бы там, где нет никакого смысла, или этот смысл прост, как мычание, как дважды два, в крайнем случае как три на четыре. Все ваше искусство – дерьмо. Вы цените дерьмо на вес золота. А я вот сейчас возьму свое дерьмо, запихну его в баночки и продам по цене золота. И буду смотреть, как вы его покупаете. И оно в цене будет расти быстрее золота, спорим? Вот я вам и показал, какие вы все буржуазные уроды, заодно и денежек заработал. И это все? Небогатая мысль. Неужели это все? Увы, это все, что бы вам кто ни втюхивал. Когда означаемое теряет свое означаемое, оно вынуждено, к несчастью нашему, заменить его каким-нибудь смыслом (каким-нибудь смысликом, смыслиончиком, смыслипончиком, не надо так хохотать, окна треснут), каким-нибудь высказыванием, или, как в последнее время стало принято выражаться, *концепцией*. Эти (с отвращением и сильнейшим трубочным пыхом изо всех ноздрей выговаривал Яс) *концепции* соревнуются друг с другом в убожестве. А что им еще остается? То, что в любом произведении искусства может быть высказано *другими словами*, всегда убого. Попробуйте пересказать стихотворение или рассказать музыку. В начале своей симфонии композитор рисует счастье мирного труда, но потом налетают враждебные вихри истории... А здесь ничего и нет, кроме этой *концепции*, этих *других слов* (говорил Яс, глядя на Мару, наконец соизволившую принять участие в общем веселье, даже, похоже, под конец вечера начинавшую забывать, что ей надо быть *Мариной*, быть чистым трепетным пламенем, взмывающим в духовные выси). Отсюда бесконечные надписи на современных картинах. К чему еще рисовать, если можно *сказать словами*? Все равно ведь ничего не добавишь к *концепции*.

Наоборот (говорил Яс, по-прежнему глядя на Мару, словно приветствуя ее пробуждение от сна гордости, в котором до тех пор она пребывала), там, где связь не разорвана, где signifiant не потеряло своего signifié, там концепции не нужны. Поспешу оговориться (объявил Яс с самой мефистофельской из набора своих улыбок). Все на свете может быть так или так истолковано. Концепции, интерпретации, толкования и объяснения всего на свете бродят как неприкаянные души по этому самому свету. Мы можем интерпретировать ван Эйка, Рогера и далее по списку сколько душевнике нашей угодно, мы даже не можем не делать этого, наш разговор об этих художниках и этих картинах, о «Чете Арнольфини» и «Поклонении Агнцу» не закончится никогда, мы открываем в них все новые и новые смыслы, снимаем слой за слоем, подходя все ближе к чему-то – мы сами не знаем к чему – к какому-то, может быть, большому Смыслу, нам неведомому, возможно – воображаемому. Мы в этот большой, превышающий нашу жизнь Смысл уже не верим; мы утратили эту веру; мы пытаемся, или не пытаемся, вновь ее обрести. По крайней мере, у нас есть выбор. Мы вольны участвовать в обесмысливании мира, в расчеловечении человека – и вольны не участвовать. Участвовать в *расчлененке* (вельзевуловская усмешка) – или не участвовать в ней. – И что тогда делать? – к моему полнейшему ужасу, спросила вдруг Мара. – Рисовать дальше пейзажики-натюрмортики? – спросила она, выбирая вперед и вверх свою тонкую руку, не то чтобы прямо показывая, но как будто намекая, что может и показать на Осмеркина и на Фалька, висевших за спиной у Яса. – Не последние на свете художники, – ответил Яс, не оборачиваясь и совершенно спокойно, погасшей трубкой тыкая через плечо, как если бы само собой разумелось, что впервые появившаяся в его антикварной гостиной девчонка смеет оборвать его на полуслове, на четверти фразы, чего никогда бы не позволили себе ни Василий, ни Аркаша, ни клокасто-очкастый (кажется, Коля). – А вы тоже занимаетесь живописью? – обратился он к Маре, глядя на нее тем *останавливающим* взглядом, каким художник глядит на модель. Тут наступил, конечно, Марин звездный час, возможность объяснить человечеству, почему она такая особенная, объявить человечеству о

том, какая особенная Мара благодетельствовала его, человечество, своим присутствием на его, человечества, сборищах и забавах. – Тогда вам лучше, если вы – *поэт*, – провозгласил Яс, подчеркивая голосом форму мужского рода. – Слова трудней всего оторвать от значений и смыслов. Создатели писсуаров пытались сделать и это, еще бы. Но поэзию не сведешь к *дыр, бул, шыл*. Так что на поэзию вся наша надежда.

Была ли это ирония? В этом была ирония. Но сама по себе эта мысль занимала его все-речь; не однажды он говорил мне, что поэзия, вообще литература, в силу своей природной связи со смыслом и Логосом, скорее способна сопротивляться обесмысливанию мира, разложению человеческого образа, чем другие искусства. Да и не так-то просто разделаться с человеком. Сколько ни отменяли человека, он все тут как тут. А как *они* старались, весь двадцатый век, с ним расправиться. И газом его травили, и по холсту размазывали его. А все впустую, говаривал Яс. И это чистая правда, думал я, лежа в Льеже, уже засыпая. Я верил когда-то почти всему, что говорил и говаривал Яс. Потом перестал верить. Потом научился не соглашаться с ним, научился с ним спорить. Но тут я согласен с ним, думал я. Уже давно закончился этот век, в котором мы себя чувствовали некогда запертыми, из которого так незаметно для самих себя выпали, и что осталось от его опытов на человеке, над человеком, резьбы по живому телу? Осталось то и это, думал я, уже совсем засыпая, лежа рядом с давным-давно тишайшим сном спящей Жижы; осталось всякое-разное. То есть что же, я собираюсь подводить итоги двадцатому веку, лежа в Льеже, в бетонной гостинице? Я собираюсь наконец спать, отстаньте уже от меня. Это я говорю кому? Это я говорю своим мыслям? Это я говорю словам, которые крутятся у меня в голове? Всю жизнь я пытаюсь навести в ней хоть какой-то порядок, всю жизнь терплю неудачу. Я ради этого занимался математикой, логикой. Порядок бывает на картине, говорил Яс; в мастерской художника порядка не может быть. Порядка нет, но никакого разложения человеческого образа не нахожу я ни в голове, ни в душе своей, как ни стараюсь. Я не помню, может быть, что было когда, что идет за чем; и времена, и события, и разговоры, и встречи, и посиделки, и пьянки наплывают друг на друга, как льдины на весенней реке; но когда я всматриваюсь в прошлое (засыпая, не засыпая), там нет никаких натурщиц Пикассо, никаких обнаженных Дюшана, готовых развалиться на лестнице, но там Мара есть Мара, и Яс есть Яс, и мои, скажем, мама и папа, моя бабушка, замечательная не только тем, что дала мне денег на покупку незабвенной дубленки, есть мои мама, и папа, и бабушка, и даже если (готов признать и это) на периферии прошлого кто-то с кем-то и путается, если сливаются друг с другом ресторанные Инны и Зины, фифы и нимфы, если дрожат, колеблются в своих очертаниях Нины, Дины, будущие журналистки, будущие депутатки Кнессета (существование коих вообще сомнительно), то это происходит (думал я, уже совсем и совсем засыпая) лишь по краям картины, по темным ее углам, закоулкам, задворкам, но там, куда падает свет, там все ясно (пускай я сам уже сплю), и Яс есть Яс, и Мара есть Мара, и Аркаша – Аркаша, Анюта – Анюта, и даже Анжелина Бес (интересно, что стало с ней?) остается Анжелиной Бес, в глубине моей жизни по-прежнему трясушей сережками, лохмами, бусами, говорящей, что и она сейчас, что ли, *читнет*.

Проснувшись, я обнаружил Жижы у окна, занятую фотографированием бетонной парковки, ее черных провалов и тюремных решеток, отделенных от нас по-прежнему лишь кубом серого воздуха, пустого пространства; позавтракав, отправились мы, под неизменным, неизбежным дождем, с тоской в душе, ужасно не выпавшись, бродить по ненужному нам Льежу, прошли опять мимо того ресторана, где накануне сидели, даже заглянули за пластиковые занавесы террасы в надежде вновь увидеть там Синюю Бороду или еще какое-нибудь сказочное существо, рыцаря или дракона; увидели только вчерашних официанток, сразу же нас узнавших; прошли мимо Оперы, где, разумеется, ни Нетребки, ни Эйвазова, никаких других сказочных существ не было; вообще никого не было; было только мрачное, темное под дождем здание, со всеми ему полагающимися колоннами, фронтонами, фризами, прочими причиндалами

того ложноклассического стиля, после которого начинаешь понимать не только Ле Корбюзье с Мисом ван дер Роэ, но и Дюшана с Малевичем; зашли в местный собор, где ничего необыкновенного тоже не обнаружилось, но где все-таки расхотелось понимать Дюшана с Малевичем; затем, прячась от дождя и тоски, посидели в (шикарно-неуютном) кафе в каком-то пассаже, где Жижина наслаждалась (непристойно-дорогим) бельгийским шоколадом домашнего приготовления, а я смотрел в окно, на серо-неоновые витрины и думал о неизбывной *коломятности* бытия. Еще мы в молодости надеемся, что как-то ее избудем, что-то придумаем (и что-то, в самом деле, придумываем, принимаем роковые решения, совершаем безумства, порываем с прошлым и с самой этой молодостью, уезжаем в другой город, в другую страну), а потом уже ни на что не надеемся, доживаем жизнь все с той же тоскою в душе (думал я); впрочем (говорил Яс) тоска дело преходящее. Сегодня она есть, завтра ее, глядишь, уже нет. Человеку свойственно грустить... Ему самому? О да, Жижина, ему в высшей степени свойственно было грустить; в гораздо большей степени, чем он показывал это кому-нибудь. Может быть, он Тамаре Сергеевне это показывал, я не знаю. Вряд ли дочкам; то есть точно не дочкам. Может быть, каким-то старым друзьям? А кто были эти старые друзья? Были они вообще? Я не помню у него никаких друзей, ни старых, ни новых. Помню его любовниц; помню взыскующих истины вьюношей (как выражалась Тамара Сергеевна), которыми он окружал себя, с которыми возился... немножко, ну совсем немножко: как возятся со щенками или котятками.

А как он доволен был, когда я вычитал у Шеллинга (и пересказал ему) слова о печали, *налипающей* на жизнь, о покрове грусти, лежащем на всей природе, о неискоренимой меланхолии жизни как таковой... Нет, Жижина, не думаю, что он бы тебе понравился. Ты бы ему понравилась, ну еще бы! Уж он бы не оставил без внимания такую красавицу... Но не думаю, что вы бы сдружились. Если и были какие-то друзья у него, то где-то там, в его собственной молодости. Он так мало о ней рассказывал, что, сидя напротив Жижина в неоновом льежском кафе, я даже не мог вспомнить, откуда он в свое время приехал в Москву, сперва учиться, потом навсегда (то ли из Львова, то ли Кишинева; кажется, из Кишинева, но в Льеже хочется думать, что из Львова, из пристрастия к аллитерациям), и, во всяком случае, никаких персонажей его прошлого я не видел, не задумывался о них, не задумывался даже о том, живы ли его родители (которые ведь вполне могли быть живы в пору нашего с ним первого знакомства, могли быть даже еще не старыми людьми; мне это и в голову не приходило, в мои шестнадцать, даже и в мои девятнадцать). А его самого я видел печальным, с годами все более; и печальным, и мрачным, и злобно-циничным. Когда ему было плохо, он *вельзевульствовал*; иногда казалось мне, что ему хочется что-нибудь сломать: если не мир, то вещь. Он любил крутить что-нибудь в своих не маленьких, но казавшихся маленькими, аккуратных белых руках: ершик для трубки, или другую блестящую штучку, тоже для трубки (не помню, как она называется), состоявшую из маленькой ложечки, маленького штыречка, маленького кружочка на плоской палочке, которую (штучку) то раскрывал, то закрывал, то опять раскрывал он; вертел ее то за штыречек, то за ложечку, то за плоскую палочку с кружочком; или, если не было под пальцами ни штучки, ни ершика, вертел-крутил канцелярскую скрепку, сперва разгибал, потом загибал ее, потом опять загибал, так что получалось даже что-то вроде *грустного человечка*, без рук, без ног, но с головкой, которую он понемногу откручивал, загибая скрепку все дальше и дальше. Впрочем, он не придавал этому большого значения. Это все было – и печаль, и тоска, и отчаяние, – но он это принимал как данность; научился жить с этим; даже привык к этому (как мы все, наверное, в той или иной мере и степени в конце концов привыкаем жить с нашим отчаянием, со всеми нашими *нерешенностями*, нашими *невозможностями*). Человеку свойственно грустить... А человеку, имеющему скандальную привычку думать, стократ свойственно это. Почему? – я спрашивал. Потому что... потому что мысль оставляет человека в одиночестве, наедине с ним самим, лицом к лицу с его собственной жизнью. А что в этой жизни хорошего? Как правило, в ней хорошего очень мало. Мы все от нее убегаем, от себя убегаем. Ах, ты не хочешь убежать?

Ну, посмотрю я, как у тебя получится... Он часто говорил это, про одиночество мыслящего. Тот, кто не думает, живет в отрадном окружении незримых спутников, в толпе чужих мнений, заемных слов, в тепле и уюте всеобщего неразумия. Тот, кто думает, всегда один. Один человек. И ему плохо, этому одному человеку. Тут, случалось, снова принимался он хохотать и рассказывал историю, всегда ту же, нет, не про натурщицу Пикассо, но про одного человека, которого он видел в метро. Он никогда не ездил в метро; на моей памяти вообще никогда; и уж точно я никогда не спускался в метро вместе с ним. Он жил в центре и с удовольствием ходил пешком по Москве; если ему нужно было куда-нибудь, куда он пешком дойти не мог, брал такси или институтскую служебную машину с шофером Колей, бесконечно болтавшим о каких-то подмосковных *сотках* и парниках. Все-таки однажды он спустился, выходит, в метро. Рядом с ним сидела тетка с сумками; нависая над ним и над теткой, качался, держась за поручень, средних лет, интеллигентного вида господин, даже в шляпе, по утверждению Яса – хотя эту шляпу, казалось и кажется мне до сих пор, он, вполне вероятно, присочинил для полноты картины и завершенности образа. Вдруг тетка подняла голову. – Что с вами, *мужчина*? Вам плохо? – Нет, нет, – ответил тот, – я просто задумался... Он эту историю, мне и не мне, рассказывал раз, наверное, пять; видно, она очень запала ему в душу. – Вам плохо, *мужчина*? – Нет, я просто задумался...

Вот и я, Жижи, просто задумался, и мне совсем не плохо; не могу сказать, что хорошо, но и не плохо; и мы сейчас пойдем обратно к бетонной парковке, под этим вечным бельгийским дождем, – или попробуем сначала подняться по здешней знаменитой лестнице, названной в честь каких-то безумцев, безуспешно пытавшихся напасть на нашего любимого бургундского герцога Карла Смелого, когда как раз осаждал он вот этот самый Льеж, посмевавшийся против него бунтовать, а если до лестницы не дойдем, потому что дождь все усиливается, все журчит, струится и падает в водосточные люки, побулькивая, – то и бог с ней, с лестницей, черт с ними, со всеми прочими достопримечательностями этого малосимпатичного городишки (еще и бунтовать они тут вздумали против Карла нашего Смелого), а пойдем, действительно, прямой дорогой к парковке (вот и она), войдем в ее бетонные дебри (вот и они), сядем, наконец, в наш милый обиженный «Астон Мартин», уедем на фиг отсюда.

Как Яс любил рассказывать про Карла Смелого, последнего бургундского герцога... и про Филиппа Доброго, герцога предпоследнего, пыхая своей трубкой. О них тоже говорил он как о друзьях и приятелях (с которыми позавчера расстался, послезавтра должен был встретиться). Ван Эйк, между прочим (вот это мы знаем о нем, среди того немногого, что мы о нем знаем), служил сперва у герцога Иоанна Баварского, по совместительству еще и графа Голландского, по кличке Безжалостный; после его смерти (читай: отравления, с удовольствием добавлял Яс, в облаках пахучего дыма; вообще, когда погружаешься в ту эпоху, видишь сплошные убийства, династические войны, осады разнообразных городов, то Льежа, то Лилля, голод, мор, предательства, клятвопреступления, прочие прелести исторического бытия; это только на картинах все так прекрасно, тихо и благостно) – после, следовательно, смерти (читай: отравления) Иоанна Баварского (которому он расписывал резиденцию в Гааге) перешел на службу к Филиппу нашему Доброму в качестве придворного художника и камердинера (что бы сие ни значило), устроителя разнообразных церемоний, турниров и празднеств, также в качестве посла и шпиона. Филипп Добрый (с удовольствием рассказывал Яс) посылал его в отдаленные страны, как то в Испанию, в Португалию; в сию последнюю, между прочим, послал его для того, чтобы ван Эйк познакомился там с инфантой Изабеллой, будущей матерью Карла Смелого, и нарисовал бы ее портрет, поскольку он сам, Филипп Добрый, герцог Бургундский, собравшийся вступить с дочерью португальского короля в очередной (свой третий) династический брак, невесты еще не видел. Конечно, Жижи, теперь бы она прислала ему селфи со смайликом. Тогда нужно было посылать на разведку величайшего художника своего времени. Портрет до нас не дошел. Есть портрет работы Рогира, или копия Рогирова портрета, если я еще

не все забыл из Ясовых давних (давних, дивных) рассказов, на каковом портрете она явлена (по невероятной бургундско-фламандской моде того времени) с архитектурной конструкцией на голове, называемой, кажется, двойной эннин, или эннен, или атур, или уж я-не-помню-как-именно (двумя прикрытыми прозрачной тканью рогами, взлетающими в величавую высь), с непроницаемо-насмешливым, большим, тоже ввысь вытянутым лицом... Наверное (возвращаясь к ван Эйку; впрочем, и о Рогире можно сказать то же самое): наверное, у него была жизнь такая же бурная, мутная, как у всех людей на Земле; как любая жизнь во времени; в истории; в каком-то *здесь*, каком-то *сейчас*. И жена у него была нельзя сказать, чтобы уж очень симпатичная (добавлял Яс, чуть-чуть *вельзевульствуя* в присутствии Тамары Сергеевны), по крайней мере, на знаменитом портрете, ради которого стоит поехать в Брюгге (поехать в Брюгге, когда он, *вельзевульствуя*, добавлял это к своим прочим речам и рассуждениям, было так же просто, как слетать на Сатурн; это мы теперь собираемся съездить в Брюгге, например, послезавтра, или уж как получится, посмотрим по настроению) – на знаменитом этом портрете (который он, Яс, показывал мне, бывало, в репродукции в огромном альбоме ван Эйка, таком огромном, роскошном, какого небось ни у кого больше и не было в той давней, тоже дивной, Москве), где она, эта Маргарета ван Эйк, тоже явлена с архитектурной, но гораздо более скромной конструкцией вместо прически (не герцогиня все-таки), – конструкцией, похожей на пару рожек, прикрытых не прозрачной (не герцогиня), все-таки кружевной белой тканью (бабы в русских деревнях называют такое *кикой*, заметила Тамара, помню, Сергеевна, покачивая своей собственной высокой прической, своим царственным бюстом), – на портрете этом она выглядит (не только из-за рожек) не весьма привлекательно. Губы у нее тонкие, веки красные, безресничные, лицо бледное, не женственное, довольно простецкое. Ван Эйк, как и Рогир, своим моделям не льстил никогда. Небесными были мадонны, люди были очень земными. Все же и в этом портрете, говорил, бывало, Яс, долго-долго разглядывая его, закрывая, потом опять открывая альбом белыми аккуратными руками, есть та отстраненная неподвижность, та созерцательность, которая есть у них всех, и у Рогира, и у Кампена; она смотрит прямо на тебя, эта не особенно симпатичная Маргарета ван Эйк, заставляя тебя отвечать ей таким же отрешенным спокойным взглядом. Ее взгляд меняет твой взгляд, следовательно, меняет тебя. Это как причастие, говорил он (и мне теперь кажется, что это он просто у себя дома говорил мне, не на лекции, и даже не во время домашней посиделки, а в очередной раз, когда я зашел к нему безо всякой цели и повода; и это было, наверное, самое лучшее, эта возможность просто зайти к нему, без повода и без цели); почему не признаться, что религиозные сюжеты их живописи нам скорее скучны (что нам, в сущности, это поклонение Агнцу? это снятие с креста? нам вообще скучны сюжеты в живописи, признаем уж правду; сюжет – это та же *концепция*; то, что можно пересказать *своими словами, другими словами...*), – но их изображения земной жизни, смертных, нисколько не приукрашенных, даже, если угодно, очень обычных людей странным образом приближают и да, если угодно, причащают нас какому-то вневременному, дальнему миру, в который (и это самое замечательное) нам даже не обязательно верить (верить мы, увы, разучились), но который сам по себе, сам собою становится реальностью для нас, созерцающих.

Так, или, может быть, как-то так говорил он, и если не совсем так, то как-то похоже. А я теперь думаю, что созерцание этих картин, или, лучше, созерцание, в которое погружали его эти картины, помогало ему, пусть ненадолго, справиться с тем беспокойством и той печалью, от которых он иначе не знал, как избавиться, от которых иногда убегал, пускаясь во все тяжкие, заводя любовниц, окружая себя восторженными мальчишками (котятками и щенками), бросая все свои дела ради чьих-то чужих. Он ведь был человек *помогательный*. Нет, Жижи, не помню и не могу теперь вспомнить, как звали американку, придумавшую это бессмертное слово; и кто она была такая, тоже не помню. Он был человек *помогательный*, и за это все любили его. Он был правда человек *помогательный*; это не было ни игрою, ни маской. Тот, кто всем помогает, кого все любят, обретает тем самым и некую власть над этими всеми; он был слишком умен,

чтобы этого не понимать; втайне, думаю, ему это нравилось. Он был человек помогательный, человек созерцательный, человек страдательный, человек сострадательный, человек действия, человек власти; все это сразу. А почему нет? Мы все сразу – всё. Если не всё, то – многое. А вот поедем ли мы в Гент, я не знаю... Мы собирались заехать в Гент, на пресловутую выставку ван Эйка, потом отправиться дальше к морю, в место под названием Бланкенберге, где за день до нашего отъезда из Мюнхена сняли квартиру с видом на море, воспользовавшись любимой программой Airbnb, всегда приходящей нам на помощь в земных странствиях наших. Но не поехать ли прямо к морю, без всякого Гента? Хотя какое море в такую погоду, под таким дождем, таким ветром? Давай решим, когда проедем Брюссель. Хорошо, решим, когда проедем Брюссель. Перед Брюсселем я точно тебя сменю, там наверняка большое движение; а пока... что же?... пока мы просто едем, едем и вспоминаем. Какая, в конце концов, разница, куда ехать? Можно просто так себе ехать...

Что вспоминала Жижи, я не знаю; я вспоминал (пытался и не мог вспомнить), куда мы с Марой отправились после той первой (и последней для нее) посиделки у Яса, где он задавался вопросом, как сумел мир от Рогира и ван Эйка дойти до писсуаров Дюшана и баночек с дерьмом этого (как его?) Пьеро Мандзони, – и откуда мы ведь не поехали просто домой, она – к себе, я – к себе, или мы оба – к ней, но наверняка поехали на какое-то еще сборище, еще в какие-то гости, потому что одного сборища, одной посиделки не хватало нам для заполнения вечера в те наши (невообразимые более) восемнадцать (или девятнадцать, или сколько нам было?) лет, но надо было хоть в час ночи, хоть в два часа ночи ехать еще в одну, и еще в одну компанию, где нас ждали, и можно было хоть всю ночь кружить по заснеженной и спящей Москве, от Анжелины Бес, снимавшей комнату в огромной, ненавидевшей ее за вечных гостей коммуналке возле Палашевского рынка, к Нине, или Дине, или к каким-то художникам на какие-то чердаки, или к кому-то на недалнюю дачу (на последней электричке, на случайной машине), где уж ни соседи, ни (страшной соседей) родители не помешают веселью; на переделкинскую (нет! не переделкинскую, а не помню какую; в Переделкино мы в другой раз ездили, мерзко поссорились) дачу толстого Андрея, где, роясь среди пластинок, сваленных возле проигрывателя «Аккорд», не обнаружил я никакого Гайдна, ни медленных частей, ни быстрых частей, зато обнаружил несколько драгоценных, оглушительно-заграничных «дисков» (как тогда выражались) в блестящих, твердых, модно или модно-прикольно разрисованных упаковках: Колтрейна, Чарли Паркера, Джимми Хендрикса, еще кого-то, вплоть до Pink Floyd и Суперзвезды Иисуса Христа, героев и гениев мятежной молодости нашей; или в какую-то не совсем свою, но и не совсем чужую компанию, в которой (как забыть это?) повальная пьянка имела обыкновение кончаться *игрой в луноход*, заключавшейся (вот этого, Жижи, я уже никак тебе не рассказать не могу, хотя ты и думаешь, похоже, о чем-то своем, вспоминаешь что-то свое) – в том заключавшейся, значит, что все сидели с очень серьезными лицами, в полном молчании, долго сидели так, покуда кто-нибудь (тот же толстый Андрей) не начинал первым смеяться, и тот, кто первым начал смеяться, должен был встать на карачки и ползать по полу, между стульев и желательно под столом со словами «я – Луноход-один, я – Луноход-один...», а все прочие продолжали сидеть с красными, пьяными, но по-прежнему серьезными лицами, в полном, полнейшем, уже прямо лунном молчании, покуда следующий не начал корчиться, подвывать и подергиваться от прорвавшегося в нем смеха, и тогда уже ему приходилось становиться на карачки и ползти вслед за первым со словами «я – Луноход-два, я – Луноход-два...», и так далее, и так далее до тех пор, покуда все уже не ползали друг за дружкой, окончательно превратившись не в луноходы, но, пожалуй, в какие-то не ведомые ни науке, ни технике существа; и этот мир (не надо так хохотать, Жижи, держись лучше за руль, а то луноход еще куда-нибудь врежется), этот несуразный, разгульный мир, в котором жила Мара, в котором я (недолго) жил вместе с ней, ничего общего не имел, разумеется, с миром Яса, даже с миром его учеников и поклонников (Аркаши и прочих, как их уж там всех звали);

до такой степени не имели эти миры друг с другом ничего общего, что я даже не знал, не мог вспомнить (по пути из Льежа то ли в Гент, то ли напрямиком в Бланкенберге, глядя на эстакады, грузовики, голые деревья на плоском, сумрачном горизонте), встречались ли они с Ясом еще раз; мне казалось, что больше уже никогда.

Они так зримо, так откровенно и агрессивно не понравились друг другу на той первой, дюшано-мандзониевской, уринально-фекальной посиделке, что Яс впоследствии всегда отзывался о ней с пренебрежительным подергиванием плеча, она о нем – с презрительным скривлением губ, качанием желваков; он мне советовал поскорей от нее отделаться; она стремилась, по ее же словам, увести меня, наконец, из-под влияния этого ужасного человека, всезнайки-зазнайки. Она сама, следует признать, повернулась к нему своей наименее привлекательной стороной. У нее были другие стороны, другие лица; иногда они открывались мне в наших ночных круженьях, дневных блужданиях и встречах (и это всякий раз было так, словно в каком-нибудь мерзко-мраморном, похабно-парадном учреждении вдруг распахивалась в конце служебного коридора нежданная дверь – и за ней обнаруживалась волшебной-обыкновенная жилая комната, с круглой лампой над круглым столом, остатками ужина на столе и детским пианино в углу). Не всё и не всегда встречала она в стальные штывки. Она даже мои рассуждения о Спинозе готова была, случалось, выслушивать с интересом. И сама говорила об интересных вещах, о людях, которых я раньше не знал, стихах и книгах, которых не читал никогда. Все зависело от ее настроения. Если настроение было плохое, а оно часто бывало плохое, тогда Спинозу называла Занозой, Шпенглера – Шпингалетом, Ясперса – Хрясперсом. Потом опять становилась тиха, проста, задумчива, молчалива. Я скоро понял, что это ненадолго, что и это, может быть, только роль, только маска. Все же я вновь и вновь покупался на это, влюблялся в нее опять. Я смотрел, в каком-нибудь зимнем морозном свете, падавшем на нее из окна (в том зимнем морозном свете, какой бывает только в России, по которому никогда не перестану я тосковать), на ее широкое, полное, чуть-чуть, да, квадратное лицо в тоже, пожалуй, почти квадратной рамке лишь поначалу искусственно-белых, потом естественно-черных, густых и пышно взбитых волос, на эти ее странные выпуклости, которые мне так не хотелось называть желваками, эти, наоборот, провалы, в отличие от желваков действительно желтые, вокруг темных, обычно холодных, иногда теплевших и смирявшихся глаз... Даже что-то от тех созерцательных, в себе покоящихся, выхваченных из времени лиц, какие писал ван Эйк, писал Рогир, мне вдруг виделось в этом лице; и если тогда не виделось, то теперь видится, в воспоминании. Или, может быть, мне это виделось, но я не создавал этого, не называл это так. И когда мне виделось это, как бы ни называл я его, я сам смирялся со всем. Не просто смирялся со всем, но мне все в ней начинало вновь и вновь нравиться: ее фокусы с обхватом себя руками, ее возня с собаками, и со своей, и с чужими (она со всеми собаками пыталась поговорить на особенном, более никому не доступном, собачье-человеческом языке; иногда это получалось; иногда заканчивалось рыком и лаем), ее обращение с языком просто человеческим, не собачьим; слова и словечки, которые вставляла она в свою речь. Конечно, в качестве поэтессы (не смей, скотина, называть меня так!) она обожала слова редкие, старинные, простонародно-изысканные, вроде того же *коломятно*, или *обрыдло* (с течением времени она все чаще говорила, что все ей *обрыдло*), или *вёдро*, или *развиднеться* (сейчас *развиднеется*, и будет *вёдро*, и мы поедем гулять в Коломенское); и даже слова обычные норовила произнести с другим ударением, говорила не *далеко*, а *далёко*, не *ина́че*, а *и́наче*; и ей, похоже, так нравилось произносить эти слова, что чуть не в каждую вторую реплику она их запикивала (вы вот говорите *ина́че*, а я говорю *далёко*, вот я какая, смотрите все на меня); поэтому все в ее жизни было как-то *и́наче*, где-то *далёко*. А в моей жизни? – я думал, сменяя Жижю за рулем «Астон Мартина». А вообще в жизни? Все в жизни как-то *иначе*, как-то *и́наче*, не так, как мы думаем, все вообще в жизни как-то не так. И все *далёко*, все отдалается, все падает в даль, исчезает вдали, приходит издалека, возвращается издалёка... Или не приходит, не возвращается.

Ведь я островитянка с далеких островов. Она эти *Маринины* строчки цитировала постоянно, по всякому поводу и без всякого повода; видно, и вправду чувствовала себя такой островитянкой, дикаркой в бусах, приморской девчонкой, случайно заброшенной в *ваши* постылый, подлый, скучный, серый, ничтожный мир, в *ваш* мир мер, в котором ей нечего делать с ее безмерностью. На все это я отвечал гумилевским: *да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны*. На что она, вдруг сбрасывая очередную маску, показывая простое лицо, начала смеяться; по словам самого Гумилева (она говорила), две первые строки к поэту приходят, третью же и четвертую он должен сочинить сам; и это у него, Гумилева, получалось не всегда хорошо, чему и могут служить примером помянутые мною стихи: в них, да, две первые строчки прелестные (тут она повторяла их, почти напевала: *да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны...*), а две другие – совершенно идиотские (*и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны...* почему гитара, какая к черту зурна?); на что я, в свою очередь, сообщал ей, что *зурна* ничем не хуже и не лучше *островитянки с далеких островов*, что это такой же, тот же, в сущности – смешной, романтизм; на что она сообщала мне, что я дурак, хоть и штудирую Канта (или что я там штудирую? Шпингалета? Хай-нехай-деггера? или снова Занозу?); что ничего не понимаю ни в стихах, ни в жизни, ни в чем; отвернувшись, начинала нашептывать: *ну а ушел – как не был, и я – как не была*. А эту *гитару* сама же Цветаева (я не сдавался) ухватила у Гумилева, чтобы вставить в стихи уже совершенно комические. Да, совершенно комические. *Та же молодость, и те же дыры, и те же ночи у костра... Моя божественная лира с твоей гитарой – сестра*. Что за дыры такие, хотел бы я знать? – Ты не только дурак, но и пошляк, отвечала она на это. – И лира у нее так-таки прямо бо-же-ственная? Вот так вот прямо взять и сказать о себе: у меня лира, мол, бо-же-ственная? – Еще одно слово, и я дам тебе палкой по голове. – У тебя и палки-то нет. – Ничего, найдется... Так проходили наши литературные собеседования – в сущности, лучшее, что у нас было с ней.

Мы в Гент решили не ехать. А что толку ехать, действительно, в этот Гент, если на выставку ван Эйка, по уверениям наших вчерашних ресторанных соседей, представителей немецкоязычного меньшинства и любителей оперы, да и по нашим собственным расчетам, все равно мы не попадем, как вчера не попали в дом Николая Кузанского, будем тупо толкаться у входа, а сейчас нигде толкаться уже не стоит, и представь себе, как обидно будет идти оттуда восвояси к машине несолоно хлебавши, да и видели мы этот гентский алтарь ван Эйка, выставленный так неудобно, при самом входе в церковь (собор Святого Бавона, покровителя Гента), что там и разглядеть почти ничего не возможно, и если теперь его разместят иначе, то съездим в другой раз, когда безумие закончится, толпа схлынет, лучше поедем, действительно, к морю, хотя какое море под таким дождем, таким небом, впрочем, дождь, если верить предсказаниям айфона, завтра должен уgomониться, тогда мы хоть подышим свежим воздухом, океанским ветром, погуляем по пляжу, а пока – что ж? – пока едем, обгоняем грузовики (сколько литовских грузовиков развелось на европейских дорогах; вон бурая фура с литовским номером; вон, смотри, желтая, с номером столь же литовским); обгоняем, надо же, еще одну *Хитроумную Логистику*, с синей кабиной; смотрим на этот дождь, эту странную Бельгию, где единственным развлечением кажется непрерывная смена фламандских и французских надписей (добро пожаловать во Фландрию; только не разгоняйтесь уж слишком: через два километра опять Валлония, *bienvenue!*); пьем воду из пластиковых бутылочек (почему в нашем прошлом никто не испытывал такой постоянной жажды, какую испытывает человечество последние двадцать лет, в двадцать первом столетии? двадцатый век не хотел пить, он хотел выпивать; да и не было никаких пластиковых бутылочек в нашем прошлом; был квас из цистерны; была газировка с сиропом); вспоминаем это прошлое; уже не пытаемся вспомнить (все равно не получается), куда мы с Марой отправились после первой (и последней – для нее) посиделки у Яса; зато вспоминаем какую-то другую поездку, долгую поездку, в такси, вместе с Марой; какую-то очень долгую поездку в такси вместе с Марой, куда-то за город, но совершенно непо-

нятно куда (все путается, все расплывается), и как она, Мара, в отличие от Яса еще не научившаяся справляться с *коломятностью бытия* (научилась ли с тех пор? кто же знает?), вдруг, после долгого, насупленного и злого молчания, спросила у таксиста, бывает ли ему грустно и что он в таких случаях делает, полагая, по-видимому, что *vox roruli* вот сейчас возвестит ей всю правду-истину, зарежет всю правду-матку. Пожилой шофер в классической кожаной кепке повернул к нам обветренное лицо. – Грустно? Бывает, отчего ж нет? Всем грустно бывает... Что он делает? Музыка слушает. Мы не спросили какую; вряд ли он имел в виду Гайдна, *медленные части* или *быстрые части*; а что тогда? неужели *вокально-инструментальный ансамбль «Песняры»*? или, еще страшней, Софию Ротару? – Меньше думать надо, вот что! – заявил он очень решительно, явно показывая, что *vox roruli* изрек окончательный, никакому обжалованию не подлежащий более приговор. Мы с Марой переглянулись, уже смеющимися глазами; я рассказал ей, более или менее шепотом, про дядьку в метро, который *просто задумался*; она засмеялась уже не только глазами; но куда же мы ехали?

А мы ехали (теперь мне кажется) к очередному сельскому *батюшке*, из тех более или менее модных или вообще не модных *батюшек*, к которым она принималась ездить во время своих приступов православного помешательства (как я называл это, чтобы ее позлить); вот как это было (мне кажется); и я это вдруг вспомнил, вдруг поймал в том *далёко*, из которого не возвращается к нам почти ничего, но что-то все же возвращается, вдруг, по дороге из Льежа к морю, сквозь комически быстро сменяющие друг друга французские, фламандские надписи. Когда начинался приступ, сразу появлялась некая Настя – действительно православная, молоденькая, с очень русским личиком, девушка в длинной черной юбке и деревенском платочке, под которым угадывались русые косы, при этом с огромным, отстававшим от нее задом, которого она-то сама не видела, опуская очи долу или возводя их горе^, на который я, однако, смотрел неотступно, как на самое интересное, что в ней было, покуда они с Марой, иногда и с Анютой (*прилюськой*) тихими голосочками беседовали о каких-то пустыньках и просвирках, о разных менее или более модных *батюшках*, к которым все они ездили, то к исповеди, то к причастию, то на Троицу, то на Пасху, об *отце* Дмитрие Дядко, об *отце* (как же иначе?) Александре Тене, *отце* (и без оного не обошлось) Глебе Японине, и чем дольше это длилось, тем тошнее делалось у меня на душе, даже чудный очерк Настиного зада переставал меня радовать, и не потому мне так тошно делалось, что я не верил, как и до сих пор не верю, ни в просвирки, ни в пустыньки, ни в хождение по водам, ни в говорящих ослиц, ни в воскресение из мертвых, но потому что видел, слишком ясно, что и они не верят (за исключением Насти, что сразу же вновь примиряло меня с ее восхитительной попкой), что они морочат себе и мне голову, что просто *выделяваются*, лицедействуют, что это у них у всех такая игра – игра, впрочем, в которую тогда уже почти все играли (и Анжелина Бес, и Андрей, и – в другом мире – Аркаша, Ириша), так что я в конце концов объявил себя *последним русским атеистом*, так и представлялся в разных компаниях, особенно православных: такой-то, мол, и такой-то, *последний русский атеист*, очень приятно. Приятно это никому не было, но я не сдавался, знай наших.

Тот *батюшка*, к которому ехали мы (как мне теперь это видится... как это увиделось мне по пути в Бланкенберге) с кожано-кепочным таксистом, любителем музыки, – ехали и приехали – *отец*, кажется, Константин – был особенно суров, сед, бородат, густобров; первым делом спросил у меня: крещеный? узнав, что нет, прогугнил в бороду: нехорошо, надо креститься; поняв, похоже, по выражению лица моего, что креститься я вовсе не собираюсь, гневно и укоризненно обернул свои брови к Маре, как, мол, она посмела привезти к нему этакого нехристя, поганца, сквернавца; Мара виноватым голосом пробормотала что-то невнятное, в том смысле, что – *еще не дорос*; не дав мне объявить в свою очередь (как мне хотелось), что так вот и от партии отбиваются, говоря, что – *не доросли*, удалилась вместе с *батюшкой* в церковь (в *храм*, как все они имели обыкновение выражаться; само это слово сочилось фальшью, на мой взгляд и вкус), оставив меня дожидаться на солнышке. Там было очень пыльно, вот это я помню.

Был какой-то зеленый заборчик по краю деревенской площади, какие-то серые сараи за ним, блеклые березки вдали, обшарпанное, из серого кирпича здание с двумя высокими трубами – должно быть, решил я, котельная. То ли на ступеньках, то ли лавочке сидел я довольно долго. Прошел еще один *служитель культа*, молоденький, поднимая пыль невидимыми под рясой, почти белой от этой пыли, ботинками; пыль медленно оседала после его шагов, иногда принимаясь сверкать, почти искриться, играя на солнце. Были чудесные, тоже солнечные, но с дымчатыми провалами, то млечно-взвихренные, то плотно-слоеные, словно на заказ сделанные облака, так же медленно перемещавшиеся по бледному небосклону. Из подкативших желтых «Жигулей» вывалилась большая компания крикливых теток с орущим младенцем, явно, как и я сам, не желавшим креститься; пыль, ими поднятая, заволокла все: и сараи, и даже котельную; когда осела, теток уже не было; и младенца не было; остались одни «Жигули», благородно молчавшие; облака по-прежнему проплывали над миром, показывая многообразные возможности небесной скульптуры, в разных стилях и ракурсах, от ренессансной простоты до причуд и проделок барокко. Я думал (или так мне теперь вспоминается) о том, как смешна и тосклива вся эта первобытная мифология, окунание младенцев в купель. Пора бы уже выбираться из пещеры, каменный век давно кончился. Ну окунут его в купель, пробормочут заученные слова, что изменится? Возможно, он схватит простуду. То ли дело Бог у Николая Кузанского (*coincidentia oppositorum*) или Бог у Спинозы (*deus sive natura*); тут хоть есть о чем подумать (я думал, мне помнится). Еще я, значит, готов был думать, хоть сколько-то всерьез, о *Боге философов и ученых* (говоря по-паскалевски), но то, что я думал, уводило меня все дальше и от Паскаля, и от Кузанца, и от Спинозы, при всех различиях между ними. Божественный взгляд, который следует за тобою? Следует за тобою – или следит за тобою? Всевидящее Око, которое следует – и следит за тобой, неважно, пойдешь ли ты на север или на запад, на юг или на восток, в бенедиктинском монастыре в Баварии или возле православной церкви в России? *Они* полагают, что это любовь и забота, а я полагаю, что это сыск и надзор, the Big Brother (я читал уже Орвелла; запретный плод очень сладок). Вот сейчас Бог видит, как я сижу здесь, дожидаясь Мары на солнцепеке? Как я потягиваюсь, как я зеваю? Как достаю из сумки Бергсона? Да упаси Боже (я думал). Упаси Боже, чтобы Бог меня видел. Я не хочу, чтобы Он меня видел. Я могу жить, только если я знаю, что никто на меня не смотрит, никто за мной не следит. Без небесного соглядатая и заоблачного шпиона. Вот они, облака, и какое же счастье, что никто не таится за ними. Свобода – дар Божий? Спасибо, не надо. Как-нибудь обойдемся. Дарованная свобода не есть свобода. Дарованную свободу можно снова отнять. Я свободен, потому что я вообще свободен, а не потому что Господь Бог или еще кто-то подарил мне эту свободу. Я могу сейчас встать и уйти отсюда, и никакого Всевидящего Ока, Недреманного Зрака нет надо мною. И никакого нет (с большой буквы) Смысла, и хорошо, что его нет, и не надо, чтобы он был. С большой буквы Смысл закрепощает. С большой буквы Смысл – тот же метафизический сыщик. В одном лице сыщик, прокурор и судья. Мы сами создаем свои смыслы, мы потому и свободны, что можем сами создавать свои смыслы. . . Мы все жаждем смысла, тут я согласен, и если не смысла, то смыслов, и если не смыслов, то хотя бы смысликов, смыслюнчиков и смыслишек. И если вкус судака-орли с соусом тартар всплывает в памяти при этих словах, то это понятно, это относится к области *непосредственных данных сознания*, прямо по недочитанному Бергсону, к непосредственной и неопровержимой данности голода, потому что, да, есть очень хочется, есть, да, да, хочется прямо ужасно, а что мы раздобудем поесть в сей дыре? надо хоть в местный магазин заглянуть, купить какую-нибудь булку, хорошо, если будет с изюмом, хорошо бы и кефиром разжиться. Без смыслюнчиков человек обойтись не может; только взять их, действительно, негде, неоткуда, не у кого; все чужие смыслы и вправду – смыслюнчики; все чужие смыслы – неправда; взаврававшие смыслы могут быть только свои; или только мои; только те, которые я сам же и внесу в свою жизнь.

Я в самом деле думал так, на том солнцепеке? Я не знаю; как-то так я, наверное, уже думал (не столь, должно быть, отчетливо). Я слишком часто думал обо всем этом за последние сорок лет; мне трудно отделить свои мысли сорокалетней от мыслей тридцати- или двадцатилетней давности, точно так же, как мне трудно (еще труднее) отделить себя самого, каким я был десять, от себя, каким был пятнадцать или, например, двадцать пять лет назад (в пору нашего с Ясом амстердамского путешествия). Я понимаю, что изменился; но чувствую себя все тем же, одним человеком, и двадцать пять, и тридцать, и сорок лет назад способным мыслить все те же самые мысли, от которых, следовательно, я никуда не ушел, которых не в состоянии додумать. А как додумать свои мысли до чего бы то ни было? до какого предела они должны пойти, чтобы мы сочли их додуманными? существует ли такой предел вообще? Оставляю без разрешения эти вопросы, наверное – неразрешимые, возвращаюсь в то погибшее прошлое, где были таксисты, «Песняры», густобровые *батюшки*, сосисочная (*sit venia verbo*) на станции, в которую мы как вошли, так и вышли, подгоняемые в спину кисло-капустным, оглушительным запахом...

С Марой, во всяком случае, после этой чудной поездки мы (теперь мне кажется) и начали расставаться. Или это только так кажется. Мы, в сущности, расставались всегда, с первой встречи; еще не успели толком сойтись, а уже готовились проститься навеки. Ясно же было, что мы не подходим друг другу. Не в одной лишь постели она меня сравнивала со своими бывшими возлюбленными, своим идеальным возлюбленным, но и вне постели, похоже, все время спрашивала себя, что она нашла во мне, зачем я ей нужен. Я и сам себя спрашивал, на что она мне – и как могло случиться, что я попал в такое рабство у этой капризной, взбалмошной, ломающейся девицы. Я перестал понимать самого себя. Почему: перестал? Я и до этого не понимал самого себя. Главное: все было начерно. И в восемнадцать, и в девятнадцать лет мы еще пишем черновик нашей жизни, ее, жизни, предварительный первый набросок; еще думаем, что все это только *так*; что потом, когда-нибудь, начнется все *всамделишное*, все *настоящее*. Будут другие девушки, много девушек, разные девушки. Вообще будет много всего; то, что с нами сейчас происходит, по сути неважно; случайно все, что с нами – случается; значит, и переживать нечего, страдать не из-за чего, пойдём дальше, не будем оглядываться. Можно поссориться, можно опять помириться. Снова поссориться. Какая разница? Не имеет значения... Но получалось не так. Получалось, что от наших ссор, все более яростных, страдал я всерьез, после каждой ссоры еще долго не мог прийти в себя, вновь и вновь прокручивал перед своим внутренним измученным взором каждую из этих ссор, во всех ее постыдных подробностях, всех ее диких деталях, словно бинт теребил на никак не запекавшейся ране.

Помню ссору у Анжелины Бес – и еще одну, по дороге из Переделкина. У Анжелины Бес, в коммуналке у Палашевского рынка, была, как обычно, компания большая, сумбурная, пьяная; почему в нее затесалась православная Настя, понять и вспомнить я теперь не могу. Там тоже пели под гитару, и тоже все больше про склянку темного стекла из-под импортного пива; вдруг, безо всякой гитары, не вставая со своего места, православная Настя, единственная трезвая среди все более пьяных, ровным, спокойным голосом, со светлой улыбкой и неожиданным смехом в прекрасных чистых глазах, исполнила неизвестно как, из какого прошлого и каких семейных преданий залетевшую к ней песенку про белые туфельки (единственный, как я потом выяснил, светский номер в ее духовном репертуаре). *Белые туфельки были вам дарены, были вам дарены да заезжим купцом, и в тот же вечер вы по залу кружились, по залу кружились в белых туфлях кольцом.* Это было так неожиданно, что все затихли, даже Мара, до того буйно спорившая с Анжелиной Бес о стихах какого-то знатного советского поэта, который Анжелине Бес покровительствовал, которого Мара (разумеется) презирала. *Вы отдались ему по-детски доверчиво* (пела православная Настя, очень отчетливо выговаривая слово *отдались*), *а он в тот же вечер да об вас позабыл. Ах, погубила вас ваша доверчивость, а он в тот же вечер да об вас позабыл.* Был общий восторг и хохот, взорвавшийся и погасший. *На улице дождичек и слякоть бульварная, а вы в белых туфлях да пошли погулять, туфли намокли,*

и вы простудились, и тогда вас решили да в больницу отдать. Марина мучительная собака, запрыгнув на стол лапами, тоже стремилась смеяться вместе со всеми; Мара, перетащив ее лапы со стола на свои колени, уткнулась ей в морду. *И вот вы лежите, такая красивая. Белые туфли да надеты на вас. Белые туфельки, белое платьице, белое платьице чуть примято от ласк.* Анжелина Бес, лохматая дылда, сгибалась и ломалась от хохота; прилюська Аня даже, помню, повизгивала. Я сам смеялся так, как до этого давно уже, может быть, не смеялся. *От ласк, успел восторженно повторить (любитель Гайдна) Андрей перед последней строфой. Радуйся, девица, радуйся, милая, радуйся смерти, что так рано пришла. Ах, погубила вас ваша доверчивость, и вся ваша жизнь в белых туфлях прошла...*

Когда Мара подняла лицо, оторвав его от мокрой собачьей морды, в глазах у нее стоял смех и стояли стальные слезы, непонятно, настоящие или наигранные. Вот так вот, вот так вот вы с нами. Вам не жалко девушку. Теперь вот смеетесь... Тут, ясное дело, все еще громче пустились смеяться. Что вы смеетесь, а? Что вы гогочете, козлы бесчувственные? Девушку загубили, теперь гогочете, издеваетесь... Она еще играла, еще паясничала, но игра уже переходила у нее в не-игру, как это с ней часто случалось. И она теперь двигалась по анжелино-бесовой узенькой комнате, забитой людьми и шкафами; двигалась, дергалась, как проволочная, обращаясь то ко мне, то к Андрею, глядя с ненавистью, уже настоящей, своими пустыми пьяными глазами то на Андрея, то на меня, то на кепчато-бородатого, молоденького поэта, которого вообще-то выделяла из прочих. Вот ты, подлец, чему ты радуешься? Что бедная девочка промокла и простудилась?.. Опять все пустились смеяться, но смех скоро смолк, скоро сдох. Что ты радуешься, скотина? – кричала Мара, вся по-прежнему дергаясь, трясая руками перед несчастным кепчато-бородатым, не знавшим, что ему делать. Ну хватит, Мара! Уже успокойся! Это лишь подзадорило ее еще больше. Уже явно не владела она собой, уже и не смогла бы успокоиться, даже если б хотела. Она и не хотела. Вы все бесчувственные твари, скоты, скопцы (ах, еще и скопцы? – кто-то вставил), да, вы сердцем хладные скопцы, скопцы сердцем, а в остальном вы скоты, козлы похотливые, ненавижу вас всех... Тут, в первый и в последний раз в жизни, я сам дал ей пощечину. Я думал, что так она наконец успокоится. Я до этого то ли читал что-то о Распутине, то ли видел какой-то документальный фильм о Распутине, если документальный фильм о Распутине могли показывать по советскому телевизору; там утверждалось, что Распутин был в состоянии прекратить истерику императрицы простой пощечиной и что это ему, и конечно, только ему одному, сходило с мужицких рук. Мне это с рук не сошло. Что, драться?! Тут она набросилась на меня с кулаками, и мне стоило некоторых усилий удержать ее от ударов. Кажется, я сжал ее узенькие длинные запястья довольно сильно. Кто-то, не помню кто, оттащил ее от меня. Я почувствовал усталость и отвращение. Почему бы, я подумал, мне просто-напросто не уйти отсюда, причем навсегда? Уйти отсюда – и все, не видеть больше ни Мары, ни ее прилюськи Аняты, ни Анжелины, к примеру, Бес? Мне это не удалось. Со мной вышел на улицу кепчато-бородатый, почему-то решивший по пути к Пушкинской площади (где тогда еще не было никакого «Макдоналдса», было кафе «Лира», в которое мы, случалось, заходили) расспросить меня о феноменологии (или о герменевтике?); да и Мара позвонила мне дня через два как ни в чем не бывало, и мы опять оказались у Анжелины Бес, и потом на даче (не в Переделкине) у Андрея с его джазовыми пластинками, и она вновь начинала на меня злиться, или на себя злиться (то ли за то злиться, что злится, то ли за то, что вообще со мной водится), и объявляла, что – все, все кончено, *чао-какао*, но это ничего не значило, ничего еще не было кончено, ни *чао* не было, ни *какао*, все еще продолжалось, не принося радости никому.

В Переделкино (на могилу, разумеется, Пастернака и так, вообще, погулять) мы поехали все той же компанией в чудный осенний солнечный (прямо пастернаковский, как объявила Анжелина Бес) день; в сельском магазине с высокими стеклянными прилавками, недалеко от какого-то темного большого пруда (или так мне помнится; я с тех пор не бывал в Переделкине) купили столько-то и столько-то бутылок *бормотухи* (как это тогда называлось); выпили

ее всю у того же пруда, сидя на гнилых мокрых досках, глядя на вдруг взвихренную воду, на желтые, красные, вдруг тоже взвихренные кусты на другом берегу, на местных мальчишек, без большого, кажется, успеха пытавшихся поймать на самодельные удочки каких-то мифических рыбок, наверное золотых; потом долго шли к следующей станции с романтическим названием Мичуринец; по дороге попробовали зайти к тому советскому поэту (забыл какому, не Вознесенко, не Евтушенскому, а еще к какому-то третьему или четвертому), которого Мара презирала всеми силами своего мятежного сердца, который Анжелине Бес как раз покровительствовал (да и она, видимо, не отказывала ему в своих милостях), но поэта то ли дома не было, то ли он благоразумно спрятался (в сарае, на чердаке) от этой компании пьяных придурков, что-то кричавших за его забором, упорно звонивших в неизвестно работавший или нет электрический звонок, привинченный к зеленому столбику у калитки, так что пьяным придуркам ничего не оставалось другого, как еще постоять, показывая друг другу на большой балкон поэтовой дачи, к перилам которого с внешней стороны приделан был довольно правдоподобный штурвал, долженствовавший, очевидно, показать всем прохожим, писателям и не-писателям, что он, поэт, – рулевой русской литературы, шкипер отечественной словесности, и это так смешно было, что даже Анжелина Бес не могла удержаться от хохота, не говорю уж о Маре, сгибавшейся в три, если не четыре, погибели. Потом Мара помрачнела, потом, пропустив вперед всех прочих (но я оглядывался), принялась всерьез, с тем вдруг проступавшим из-за всех ее масок простым и чистым лицом, которое я и любил в ней, говорить со своим кепчато-бородатым приятелем о (если память меня не подводит) гипердактилических рифмах, которые, увы, так редко встречаются, к тому же если встречаются, то, бывает, в сочетании с гораздо более банальной просто дактилической рифмой, как, например, в стихотворении того же Пастернака из «Сестры моей жизни», где гипердактилическая клаузула «пробующем» рифмуется с дактилической клаузулой «воробышком», и мы это даже не сразу замечаем, так все вместе внезапно и неожиданно...; кепчато-бородатый только кивал и поддакивал.

А жаль все-таки (теперь я думаю), что ему не пришло в голову покрасить бороду в синий цвет, как нашему соседу по льежскому ресторану, барб-блэ. Впрочем, тогда бы нас точно побили в электричке по дороге обратно, а то и прямо на станции с романтическим названием Мичуринец. Перед выходом на которую мы зашли в еще одну сельскую лавочку, тоже бойко торговавшую спиртными напитками, с не менее высоким стеклянным прилавком; пить (мерзко-мутную, приторно-вязкую) *бормотуху* начали уже на скошенных ступеньках у входа; потом продолжили на самой станции, усевшись, по мере возможности, на лавочку из грязно-белых (половина коих отсутствовала; или так мне помнится) реечек. – То ли дело у МА-риииины, – говорила Мара, пьянея, возбуждаясь, снова мрачняя, подергивая своими челюстно-лицевыми выпуклостями, которые мне все же не хочется, и тогда не хотелось, называть желваками. – То ли дело, – говорила она, – у МА-рииииины. Вот уж у МА-рииииины гипердактилические рифмы так гипердактилические рифмы, безо всяких поблажек. *Когда обидой – отилась душа разгневанная, когда семижды зареклась сражаться с демонами*, – продекламировала она на всю станцию Мичуринец, понемногу поворачиваясь ко мне, мирно беседовавшему в сторонке (не помню о чем) с Андреем (любителем медленных частей Гайдна), как если бы это я опоил ее, бедняжку, обидой, как если бы именно на меня (на кого же еще?) душа ее гневалась. *Не с теми, ливнями огней в бездну нисхлестнутыми: с земными низостями дней, с людскими косностями...* Это уж явно относилось ко мне. На падшего ангела, настоящего демона я претендовать, мол, не мог, а вот мелким бесом людской косности, чертиком земной низости явно был. От всего этого ее разгневанная душа могла, разумеется, только бежать прочь, не оглядываясь. *Деревья! К вам иду! Спасись от рева рыночного!* – рыдала и редела Мара, широким взмахом руки указывая, Впрочем, вовсе не на деревья по ту или по эту сторону железнодорожных путей, но прямо на патлатую *урлу*, усевшуюся на соседней с нами, из таких же реечек, лавочке, в количестве трех мордovorотов, в свою очередь воззрившихся на нее. Боже, какая

чушь! Я это сказал или этого не сказал? Я это точно подумал. Даже если я этого не сказал, а только подумал, моего, наверное, быстрого взгляда хватило ей для нового буйства. – Урод! Тварь! Еще издевается! Дайте, дайте ему наконец в глаз, он заслужил! – голосила Мара, обращаясь еще не прямо к мордovorотам, но как бы вообще, ни к кому (к железнодорожным путям, проводам). Мордovorоты явно не знали, как им себя вести. Мордovorоты сидели, ухмылялись, поплеывали, курили сигареты без фильтра («Дымок» ли, «Шипку» ли), держа их грязными пальцами прямо у губ, за обмусоленные концы, сплевывали с этих губ табачные крошки, потом опять принимались просто так поплеывать, по возможности попадая в мелкие лужицы на выщербленном асфальте, поглядывали на нас, переглядывались, снова поглядывали. – Дайте ему в глаз! вот этому! – кричала Мара, обращаясь все еще ни к кому (к асфальту, рельсам, перилам платформы). – Он тебя, что, обижает? – проговорил наконец один из мордovorотов, самый главный, самый патлатый, делая вид, что сейчас он встанет и *разберется*. *Разбираться* здесь, на станции не совсем им было с руки, хотя и пропускать такой прекрасный повод разбить очки интеллигенту, разумеется, не хотелось. Все-таки было слишком много народу на этой станции, мирных дачников с детишками и без оных, понемногу-понемногу, тихой сапой отходивших все дальше от готовой начаться драки, но смотревших, понятное дело, все как один в нашу сторону. Детишки все глазенки свои на нас вытаращили. А мы уже смотрели в сторону дальнего леса, из-за которого появилась наконец электричка. Электричка, шипя, подъехала очень быстро, отдадим ей должное и скажем спасибо. Мару в тамбур пришлось запихивать чуть не силой. – Ну смотрите, суки! – проговорил нам в спину главный мордovorот; двери закрылись; тут все трое (вовсе, значит, и не собиравшиеся ехать в Москву, просто так, выходит, от нечего делать ошивавшиеся на станции) пустились, помню, что-то кричать, что-то нам показывать пальцами (наверное, по их замыслу, неприличное), заодно показывать нам свои широкие ремни с армейскими пряжками (этими пряжками, мол, врежем вам, если рыпнетесь), вообще строить разнообразные рожи, только тут, судя по всему, осознав, что шанс упущен, интеллигенты уехали и мутузить сегодня вечером предстоит им, мордovorотам, кого-то другого, кого уж они найдут.

Даже после этого я с ней не расстался. Даже и это можно было списать на *бормотуху*, черный юмор и общую *психическую неуравновешенность*, которую она по-прежнему не отрицала, которой даже гордилась. Поэты ведь должны быть ненормальными. Что это вообще такое, нормальный поэт? Фигня это, насмешка над музами. Видали мы таких, нормальных поэтов. Даже советские поэты, и те чуть-чуть психи. А уж настоящие!.. Подразумевалось, что она-то наверняка настоящая. А я уже и сам становился психом, пускай не поэтом, под ее благотворным воздействием; уже чувствовал в глубине души биение бреда, бешенство неподвластных мне мыслей, еще того менее мне подвластных эмоций; уже с ума сходил, если, скажем, долго с ней не встречался. Мне она даже на улице виделась, или я воображал себе, что она мне на улице видится (еще очень был глупый); может быть, прочитал где-то, что несчастному, впадающему в безумье влюбленному должен являться из-за угла и мерещиться за поворотом предмет его бессмысленной страсти, и потому сам с собою играл в это, понимал, что вон та девушка с распущенными черными волосами, в черной кожаной курточке, похожей, но только похожей, на Марину (которую носила она до самой поздней осени, потом вдруг сменяла на не менее черную шубу), долго шедшая передо мной, шурша листьями, к метро по Гоголевскому бульвару, мимо стендов с газетами, плакатами, призывами участвовать в строительстве коммунистического коровника, затем вдруг свернувшая направо, перебежавшая на уже почти красный свет через автомобильную полосу на пару с рыхлой, но бойкой тетенькой с авоськами в красных руках, – что это точно не Мара, и потому нет ни малейшего смысла, ни намек на смысл идти вслед за нею, бежать вслед за нею, – и все-таки воображал себе, как бы это было, как бы это могло быть, если бы она вдруг действительно оказалась Марой, мучительницей моей, или, на худой конец, если бы я поверил, что она – Мара (но я упорно не верил),

если бы за ней пошел, – и я вправду шел за ней, начинал идти за ней по (тогдашней) Кропоткинской, – потом говорил себе, что это совсем уже смешно, совсем глупо, сворачивал в переулок, кружным путем возвращался к метро, куда мне и нужно было, вступал в шальной банный ветер, всегда носившийся на этой станции по длинному коридору, ехал по красной ветке (как тогда еще, кажется, не говорили) в университет – на лекцию, которую в тот день решил не прогуливать, или занятие, которое не посмел в тот день прогулять. Один раз она мне точно привиделась, или я считал, что привиделась (до самого и самого последнего времени считал, что привиделась): в том парке возле университета, на Воробьевых (тогда еще, прости господи, Ленинских) горах, в который непрележные, вроде меня, студенты сбегали, бывало, с занятий и лекций и который выводит к площадке, позволяющей посмотреть на всю Москву сразу, со всеми ее высотками, трубами, башнями. Я там гулял, случалось, с моей однокурсницей именем (кажется) Таня (или нет, не Таня? да, Таня) – чудной девочкой, с которой у меня ничего не было, кроме этих прогулок по парку (до смотровой площадки и дальше вниз, к повисшей над Москвою-рекою спортивно-стеклянной станции все того же метро, где мы с ней обычно и расставались), разговоров о Платоне и совместных сидений в (*sit venia verbo*) *курилке*. Ты тоже сживала в *курилке*, когда училась, Жижи? Ну еще бы, ты из *курилки*, наверно, не вылезала. Там первые романы завязывались, там же они и развязывались; я знаю... В моей жизни университетская *курилка* не сыграла никакой роли; но и я ею не брезговал. Курилка эта находилась в ту пору (если я ничего не путаю) на одном из последних, самых высоких этажей *стекляшки* (того, значит, *корпуса*, где несчастные гуманитарные дисциплины стенали от истмата, дурели от диамата); прозывалась (почему-то) *Мальм сачком*. Разумеется, была какая-то тетка (по кличке, вот вспомнил, *Снегурочка*), гонявшая из этой *курилки сачковавших* там студюзусов. Это было уже так давно, что, по теперешнему моему ощущению, сам Платон с Аристотелем жили немногим раньше. Что до сокурсницы Тани, то сокурсница Таня, хотя и баловалась за компанию сигаретами «Ява», или «Столичные», или какими уж угощали ее другие философы, иные филологи (в ту пору все курили, и если не курили, то хоть *покуривали*), но в остальном нисколько не *сачковала*; наоборот, была старательнейшей студенткой, прилежнейшей ученицей, обладательницей гладких русых волос и трогательно-старомодного пучка на затылке, из той породы, что свойственна уже докторшам или, на худой конец, кандидатшам всяких-разных гуманитарных наук (естественно-научные дамы были в ту пору более продвинутыми в рассуждении причесок и макияжа; таковыми, наверно, и остались); учила древнегреческий и, кажется, потом ухитрилась перейти на классическое отделение филологического факультета; стремилась к знаниям совершенно искренне; читала Платона даже, помнится, между лекциями, сидя на подоконнике; улетала, судя по глазам ее, далеко-далеко в заоблачные сферы чистых идей. А я уже тогда с немалым скепсисом относился к *заднему миру*, по незабываемо-прекрасному, великолепно-убийственному выражению Ницше. Что не мешало нам изредка, в золотисто-солнечные осенние дни, гулять по парку, в сторону смотровой площадки – вот тут-то вдруг возник передо мной Марин призрак. Я снова сказал себе, что это точно не Мара, но призрак был убедительный. Она шла мне навстречу под руку с другим призраком, одетым в Ясов пижонский плащ, хорошо мне знакомый. Они были еще далеко; вдруг свернули в боковую аллею. Я их увидел потом со спины; догонять их, конечно, не стал. Не только я их не стал догонять, но, продолжая чинно беседовать о «Теэтете» с ничего не замечившей студенткою Таней, сказал себе, что наверняка обознался, что вообще хватит, что эти игры не доведут меня до добра. А бежевый плащ на удалявшемся сквозь светящуюся листву господине был и вправду похож на Ясов, привезенный им из Парижа, и распущенные по плечам черные волосы прильнувшей к нему особы в самом деле походила на Марины, которые к тому времени она уже давно перестала красить во что бы то ни было. Это так было глупо, что я (вспоминалось мне, покуда мы ехали с Жижи в Бланкенберге) не решился даже спросить ее (Мару), не ходила ли она, например, гулять возле университета, на смотровую площадку; если

б решился, наверняка бы она ответила, что это меня не касается. Или я спросил ее, и так она мне ответила? Ты что, следишь за мною? Кто тебе позволил за мною следить? Если я когда-нибудь замечу, что ты за мною следишь, я... я... Яс (которого я решил спросить) сказал просто: нет. Нет, сказал он, отвечая на мой вопрос, глядя на меня своими самыми агатовыми глазами, он не ходил гулять по парку возле университета, он терпеть не может тоталитарную архитектуру, кровавые завитки сталинского барокко...

Мне даже спать с ней было не обязательно, вот что самое странное, а если и хотелось с ней спать, то в первую очередь (или так, по крайней мере, казалось мне самому), чтобы снова увидеть ее другое, простое, живое, сдающееся мне, покоренное мною, беззащитное и беспомощное лицо, квадратное и большое по-прежнему, которое, когда оно наконец появлялось, я брал действительно в руки, в обе ладони, как что-то драгоценное, мягкое, готовясь хоть всю дальнейшую жизнь его оберегать, охранять... покуда она не выскользнула из моих рук и постели, чтобы проволочными шагами направиться в ванную, затем, у двери, обернуться и произнести с насмешливым пафосом что-нибудь из *Марины (МА-ришины)*, по-прежнему, с прежним осуждением смотревшей на нас со стены. *Нам дар один на долю выпал: кружить по душам, как метель. Грабительница душ! Сей титул и мне опущен в колыбель...* Дура ты, а не грабительница душ: нет, этого я тоже, наверно, не говорил ей, но уж точно думал так, оставаясь в недолгом одиночестве на ее, увы, пропахшей псиной тахте, посреди ее разбросанных по комнате джинсов, блузок и книжек... Все повторялось, словно мы ходили по кругу, проходили его все быстрее. Под конец я и вправду стал торопиться. Так хотелось поскорее сорвать с нее маску, что я едва ли не начал ее насиловать. Она вырывалась, била меня кулаками, затем все-таки отдавалась, затем за это же меня ненавидела. Затем начинала саму себя ненавидеть, винить себя во всех смертных, несусветных грехах, рассказывать мне, какая она гадина, вредина, добиваться моего прощения, плакать, вздрагивать; потом от своей вины переходила к моей, сообщала мне, что это я злой и бесчувственный, что слишком мало ее люблю, что не умею вообще никого любить, хорошо если Спинозу-Занозу да Шпенглера-Шпингалета; опять рыдала и вздрагивала; объявляла, что все мужчины – мужланы, все скоты, все твари бесчувственные: и заезжие купцы, и философы, и даже (почему-то она часто повторяла) ученые; чуть ли и меня самого не доводила до слез; на другой день закатывала мне истерику за то, что я посмел так долго, так бойко болтать с толстым Андреем о Розанове, как будто ее, Мары (ее! Мары!), и в комнате не было.

Грабительница душ! Как же, как же (говорил Яс, которому, чего стыжусь теперь, я начал в ту пору жаловаться на сердечные свои невзгоды). Нет, милый мой, с этими девушками, обожательницами Цветаевой, ничего не поделаешь. Еще бы, Цветаева им заранее отпускает все их грехи и пороки. Дает им право на бесстыдство. Право на бесчестье, прямо по Достоевскому. *На великую низость любви.* Ведь все они *сестры – в великой низости любви.* Их завораживает эта бьющая из всех дыр страсть, эта ярость страсти, эта несчастная, нелепо-надменная, кричащая о себе, из всех действительно дыр, из всех щелей и щелочек, слов, строк, даже из знаков препинания – тире в особенности – лезущая душа. *Мне дело – измена, мне имя – Марина* (произнес – и пару раз повторил он, как будто пытаюсь предупредить меня, предотвратить непорядочное, предостеречь меня от опасности). *Мне дело – измена, мне имя – Марина, я – бренимая пена морская...* Это было в театре, вот где: на очередной, я уверен, постановке «Юлия Цезаря»; я только не могу теперь, и на автостраде по пути в Бланкенберге (обгоняя грузовики и «Порше») не мог вспомнить, на какой именно. Помню лишь, что в театре мы были вдвоем, и постановка была никакая, с неубедительными актерами, и что в антракте, за поеданием обветренных бутербродов с икрой и севрюгой, я заговорил с ним (уже не в первый раз, чего теперь стыжусь) о своих сердечных невзгодах – и что чуть ли не через неделю мы смотрели не постановку, но экранизацию его любимой пьесы в тогда знаменитом «Иллюзионе» на Котельнической набережной в высотном доме (где этот «Иллюзион» по-прежнему, если ничего не пере-

путал я, и находится). Потому что, да, все повторялось, или в памяти моей все повторяется, двойтся, тройтся; и у него были любимые вещи (любимые картины, любимая музыка); и мы раза три, наверное, ходили вместе в консерваторию слушать Пятнадцатую симфонию Шостаковича, и не-помню-сколько раз слушали ее вместе у него дома, в разных исполнениях, на невообразимо-заграничном проигрывателе, какого больше никогда и ни у кого я не видывал, так что с тех пор я уже, пожалуй, не в силах слушать ни Пятнадцатую, ни какую-либо другую симфонию Шостаковича, так мучительно любая из них, но Пятнадцатая в особенности, мне напоминает о Ясе (особенно эта *мелодия игрушек*, как он называл ее, звучащая в начале – и затем так внезапно, с такой иронией и даже с такой издевкой возникающая в самом конце, после долгого, тяжко-трагического финала); и точно так же мы несколько раз смотрели «Юлия Цезаря»; и через, я уверен, неделю, или даже через пять дней, четыре дня после того, как посмотрели его в не-помню-каком театре, встретились на Котельнической, чтобы посмотреть в знаменитом тогда «Иллюзионе» тоже старый, тоже (как и незабвенные *чайки*, что *умирают в гавани*) пятидесятых годов (мы, наверное, разные фильмы смотрели с ним, но почему-то мне помнятся только эти два фильма пятидесятых – того времени, следовательно, когда он уже был на свете, а меня еще не было; времени его темного, дальнего, неведомого мне детства), американский, великолепно снятый и сделанный фильм с молодым (еще совсем молодым) Марлоном Брандо в роли Марка Антония и Джеймсом Мэйсоном в роли Брута; там-то, кажется, когда я стоял на морозе у входа, его дожидаясь, впервые появился он с неким *Димочкой*, с которым часто потом появлялся. Этому *Димочке* было тогда лет шестнадцать, как, значит, мне самому было еще недавно, в пору моего знакомства с Ясом в музее имени Пушкина. В остальном мы не были друг на друга похожи, надеюсь, ни в чем. Этот *Димочка* был блондинчик, шупленький, узенький, с заострившимся книзу личиком; где его Яс нашел и что нашел в нем, я так никогда и не понял. Яс сидел между нами; когда поворачивался ко мне, *Димочка*, видел я, нервничал.

Это фильм прекрасный, я пару лет назад его пересматривал, не разочаровался нисколько. Там каждый кадр продуман; декорации – лестницы, стены, вазы и статуи – тоже, как у Рембрандта в его «Философе», неизменном спутнике моей жизни, кажутся выражением каких-то внутренних, душевных пространств; здесь, впрочем, души другие, хотя и не менее сложные. Я был юн и глуп, но я поражался уже тогда сложности этих душ; уже тогда понимал, что именно это-то Яса и волновало. Он сам был сложной душой; может быть, слишком сложной, чтобы найти себе место в мире. Он узнавал себя в них во всех: в Цезаре, потому что его влекла власть, потому что ему нравилось, не могло не нравиться, презрение к опасности, равнодушие к суевериям, потому что он окружал себя молодыми людьми, любившими его, как любил Цезаря Брут, его убивший, Марк Антоний, за него отомстивший; но и в Бруте с его сомнениями, его смятением, его большой совестью он не мог не узнавать себя. Он не хотел быть похожим на Брута. Он был похож на Брута, но хотел походить на Марка Антония. Брут не брутален, брутален Марк. Брут благороден, наивен, доверчив – и с самого начала несчастен. Бруту не нужна власть; он выше власти; он пленник своей совести, данник своей добродетели. Ни к чему хорошему не приводит его добродетель. Наоборот, она ведет прямоком к гибели, кратчайшим путем в бездну. Марк Антоний бесстыден, лицемерен с другими и совершенно честен с собой. Марк Антоний играет с людьми и наслаждается своей властью над ними. Марк Антоний манипулирует тупой толпой, бессмысленным плебсом, но никогда, ни из каких возвышенных принципов не предал и не убил бы он Цезаря. Яс похож был на Марка Антония внешне, то есть похож был на Марлона Брандо, игравшего, и как великолепно игравшего, Марка Антония в том фильме, который мы смотрели в «Иллюзионе», во времена незапамятные; сидя рядом с Ясом в глубине, темноте и духоте кинозала, в бархатном пыльном кресле, я говорил себе, что вот так – не так шикарно, но вот как-то так – он мог выглядеть в молодости, в ту пору, когда я не знал его. Он был скульптурен; у него был этот тяжелый подбородок, который не зря же с самого начала я прозвал древнеримским; в его жестах и выражениях проглядывала, случалось, классическая

ясность, античная простота. Конечно, это зеркало ему льстило; но оно льстило именно ему, а не, скажем, мне. Себя я вообще не видел там, его видел ясно. Не быть Брутом; избавиться от совести и сомнений; быть, если нужно, жестоким, смелым, коварным, решительным. Он так хотел этого; он втайне понимал, разумеется, что это никогда у него не получится. Все же, когда мы выходили из зала, я увидел на губах его ту улыбку, с которой оборачивается к камере Марлон Брандо, Марк Антоний, когда ему удается облапошить доверчивый римский народ, возбудить его на бунт и неистовство, – улыбку победительную, счастливую, улыбку силы и восхищения этой силой, улыбку даже не злую, скорее улыбку торжествующего равнодушия к добру, злу и прочим помехам, могущим встать на пути этого торжества, этой силы.

Потом я долго ехал куда-то в троллейбусе. Куда и зачем я ехал? Смешно думать, что ответ на этот вопрос – есть, но поскольку я не помню, куда ехал, то я – не знаю ответа. А между тем ответ существует; из всех возможных ответов только один истинный, все прочие ложные. Например, я мог ехать на очередное свидание с Марой, не у нее дома (до Чистых прудов я бы просто дошел пешком, по любому морозу), а еще куда-то, в какую-нибудь компанию, где она уже кутила, курила, пила вино большими булькающими глотками, и выделялась, и ложилась ничком, дотягиваясь до лодыжек ладонями, и где предстояло мне получить очередную порцию ее презрения, ее издевательств, ее внезапной нежности и просьб все простить. Значит, я туда ехал – или не ехал. Проблема, видишь ли, вовсе не в том, Жижи, что я не знаю, и никто не знает и, скорее всего, никогда не узнает ответа; но проблема в том, что ответ все-таки существует, единственный истинный ответ среди неисчислимого множества ложных ответов, совершенно независимо от нашего знания, или незнания, или желания, или нежелания знать его. Возьмем вот этот «Фольксваген» с двумя фифами в нем. Вот он тащится в правом ряду, вот мы его обогнали. Он или синий или не-синий, одно высказывание истинно, другое ложно. Он не синий, он черный. «Фольксваген» черный, а фифы в нем рыжие. Мы его еще видим, вот он, он есть, он точно черный, забудем о фифах. Но как можно высказать истинное или ложное суждение о том, чего нет? Чего нет, но что – было. С тем, чего не было, с тем, что мы, скажем, придумали, дело обстоит иначе, проще. С придуманным все понятно. К придуманному неприменимы суждения типа «истинно – ложно», скажу тебе как бывший логик настоящему математику. Если бы я сочинял, например, роман (я не собираюсь, но если бы вдруг), я мог бы написать в нем, в этом романе (сочинять который я вовсе не собираюсь), что герой, он же рассказчик, посмотрев экранизацию «Юлия Цезаря» в «Иллюзионе», едет в троллейбусе с густой наледью на стеклах, в сильнейший мороз, на свидание со своей невыносимой возлюбленной. Это не было бы ни истинно, ни ложно, это была бы чистая фантазия, чистая фикция. Но я в самом деле ехал (или не ехал) на свидание с Марой в троллейбусе с наледью на стеклах, в сильнейший мороз, после «Юлия Цезаря» в «Иллюзионе», увиденного вместе с Ясом и *Димочкой* (каковой *Димочка*, когда они уезжали оттуда на такси или *частнике*, запрыгнул на переднее сиденье с тихой легкостью молодого раба, эфеба, феака, любимца почтенных патрициев). Это было, этого нет. Но как, Жижи (вот мой вопрос): как (еще раз) я могу сказать *истинно* или *ложно* о том, чего нет? Я или ехал на свидание с Марой, или не ехал. Даже если никто этого не знает и никогда не узнает, это или так, или не так. Допустим, что это так. Это так, причем навсегда. Это неотменяемый факт, пусть он сам по себе никакого значения не имеет. И этот факт останется фактом и через двести лет, и через триста, и на всю длину вечности. Да, да, все философы тоже по-своему психи (как и поэты), и все философы это знают, и математики тоже психи (и тоже знают об этом, не правда ли?), и спорить тут не о чем, и если хочешь, Жижи, я просто сейчас заткнусь, но все же (все же и все же): если это факт истинный, то он во всю длину вечности не перестанет быть истинным. Получается, что этот факт где-то, как-то, каким-то образом существует. Но где, и как, и каким образом он существует? Вот вопрос, на который у меня нет ответа, и я подозреваю, что ни у кого нет ответа, и вот вопросыки, которые занимали меня и мучили в ту благословенно-злосчастную пору, когда я сходил с ума или, по крайней

мере, уверял себя, что схожу с ума от любви, при этом ухитрялся еще учиться на философском факультете, отдавая предпочтение действительно логике, замечательной помимо всего прочего тем, что в ее чистые пространства почти не вторгался никакой истмат-диамат, так решительно и мучительно вторгавшийся, впрочем, во все остальное, что я уже подумывал, не бросить ли все это просто-напросто к чертовой бабушке, прабабушке Люцифера.

К тому же не был я уверен, что мне все это еще нужно. Я помню, что ехал в том троллейбусе (на свидание или не на свидание с Марой, и как же странно все-таки думать, прости меня, Жижи, что во всю длину вечности верно или то, или другое, а я уже не вспомню, уже никогда не узнаю, что же верно, то ли, другое ли), и там так было холодно, в самом деле, что наледь на стекле, возле которого я стоял, мне никак не удавалось оттереть, хоть я на нее и дышал, складывая руки трубочкой, и снова дышал, и снова тер костяшками пальцев – только желтые расплывы фонарей появлялись в наметившейся проталине, – и, бросив, в конце концов, бороться с этой наледью, я думал – наверное, не так и не такими словами, но все же, мне теперь кажется, думал тогда, после этого фильма в «Иллюзионе» – об иллюзорности образов, в которых мы себя узнаем, в которых очень скоро перестаем себя узнавать. Мы хотим быть собой – и хотим быть другим, походить на другого. Мы создаем *образы*, до которых стараемся дорасти, пытаемся дотянуться. В то время я уже перестал подражать ему, Ясу, хотя еще верил ему почти безраздельно. Я хотел, чтобы Мара меня любила, и это было мне важнее всего прочего. Ее *образы* были просты и убоги в сравнении с его, Ясовыми. Главное, что он признавал их иллюзорность, их относительность, их предварительность так же хорошо, как я сам признавал ее. Я вспомнил свою уже давнюю, уже отступившую от меня в прошлое теорию (если ее можно назвать так; если и можно, то совсем не всерьез) *первого, второго и третьего*. Ему это польстило тогда; ему нравилось чувствовать себя *вторым*, сложным человеком, в котором сошлись конец и начало, не основателем и не завершителем, человеком пути и дороги, искаателем истины, не готовым удовлетвориться никаким итогом, никаким выводом, потому обреченным на страдание, на неизбывное беспокойство, тревогу, томление духа. Он мог узнавать себя в книгах; мог видеть себя на картинах; как и я мог видеть себя на картинах, пусть на мгновение; мог найти себя, пусть на мгновение, и в Бруте, и в Марке Антонии... А нужно ли все это? нельзя ли обойтись без всяких *образов*? отбросить их все? если отбросить их все, то что обнаружится там, за ними, под ними?

Есть *образы*, которые мир нам навязывает; с ними справиться, в общем, не трудно. Он *не был* искусствоведем, доктором каких-то наук; он занимался всем этим, но он никогда этим *не был*. Я и сам хотел (хотел ли по-прежнему?) изучать философию, и даже изучать ее на философском факультете Московского университета (где все-таки были, помимо дебилов диамата, идиотов истмата, отдельные приличные люди, локальные звезды), но я решительно отказывался *быть* студентом. Студент – это маска; забросим ее за самую дальнюю лавку. Я даже не хотел *быть* философом (да и что это вообще значит?). Я штудировал (иногда с восторгом, иногда с мукой) и Спинозу, и Канта, и потом особенно Гуссерля и с удовольствием занимался логикой, математическим анализом, теорией множеств, но у меня не было чувства, что я могу быть философом, буду философом, становлюсь философом, готов стать философом. В самом деле, что это значит? Я хотел что-то делать, но вовсе не хотел кем-то быть. Быть кем-то, казалось мне, значит носить маску. А можно ли просто – быть, не быть – кем-то? Вот я, в этом обледеневшем троллейбусе. Я никто, но я есмь. Не есмь кто-то, но есмь вообще. Но когда и как же я есмь? Я несомненно есмь, когда я мыслю, вот в чем все дело. А когда не мыслю, тогда надеваю маску, создаю образ, играю роль... Декарт по-прежнему владел моей душой и мечтой. Еще и потому он владел моей душой и мечтой, что (благодаря протрезвавшему по такому случаю семиотическому Василию и вместе с протрезвившим Василием; на философском факультете никто об этом даже не заговаривал) удалось мне попасть на лекции Мамардашвили о нем (Декарте, а не Василии), прочитанные им (Мамардашвили, а не Декартом) в не очень подходя-

щем для этого месте, в Институте Чего-то-там или (если память меня не подводит) Институте Какой-то-там и Еще-какой-то-здесь психологии (или Никакой-и-нигде не-психологии, уже все равно), и эти лекции увлекли меня гораздо сильнее и глубже, чем теперь, когда я пытаюсь их перечитывать, и как бы то ни было (как ни смешно) по-прежнему, с еще не угасшей надеждой, искал я *fundamentum inconcussum*, неколебимое основание; скорее фундамент жизни, чем фундамент науки. О науке, в отличие от Декарта, я совершенно не беспокоился, а вот с жизнью своей никак не мог разобраться. Все по-прежнему колебалось во мне, все шаталось, все путалось; ум, еще в суждениях зыбкий, еще только учился уживаться с собою. Мы все ищем в юности неколебимого основания (какого-нибудь, хоть какого-то); мы лишь понемногу начинаем догадываться, что его нет и не будет, что придется обойтись без него. На какое-нибудь, на хоть какое-то я бы в ту пору не согласился... Мне, главное, нравилось, что он был математик, что придумал и *cogito*, и метод координат, и алгебру соединил с геометрией. Математика меня успокаивала; я забывал все невзгоды, погружаясь в теорию групп (не менее увлекательную, чем теория множеств). Решение дифференциальных уравнений едва ли не казалось мне решением уравнений жизненных, разрешением *коломятности бытия*. Теперь так не кажется, но тогда так казалось. Пусть все смутно, пусть все колеблется, но тождество Эйлера неизменно, неизменно прекрасно. И *cogito* – вот оно; по крайней мере, вот оно, это ясное сознание, сознающее себя самое; мое лучшее; мое подлинное. Когда я обретаю его, с меня слетают все маски, спадают все образы. Я обретаю его вновь и вновь; оно долго не длится; но я вновь и вновь его обретаю; я волен вновь и вновь его обрести; и это есть моя высшая воля, моя драгоценнейшая свобода.

И все это думал я в том троллейбусе? Нет, наверное, я думал все это и в других троллейбусах (и в автобусах, и, конечно, в трамваях). Были мертвые от мороза дни, какие бывают (или бывали) каждой московской зимою, такие дни, когда без особенной надобности никто и не выходит на улицу, а если выходит, то старается поскорей пробежать сквозь скрипучий стеклянный воздух, и в эти дни я не только выходил на улицу, но почему-то (или так мне теперь вспоминается) раза два или три куда-то долго ехал в насквозь промерзших троллейбусах (автобусах и трамваях), одновременно думая о Декарте и страдая от Мариной не-любви (как если бы уже только Декарт мог прийти мне на помощь; но и Декарт на помощь не приходил); и в том, не в том ли троллейбусе (хочется верить, что в том), поднимая голову от своих мыслей, отрываясь от оттирания стекла, я увидел, на единственном сиденье, повернутом против хода этого замороженного троллейбуса, лицом к задней площадке, на которой я и стоял, классическую (как определил я с первого взгляда) валютную бабочку, в этом случае даже и не очень ночную, скорее (я подумал) вечернюю, непонятно как оказавшуюся на этом сиденье (такие барышни в троллейбусах и трамваях не ездят), не таясь (и наверное уже давно, все то время, что я провел в поисках картезианского *cogito*) смотревшую на меня. Она была вся в мехах (так мне помнится), в светлой пышно-мохнатой шапке с опущенными ушами; из-под шубы выглядывали ее черные чулки и ботфорты, вовсе не зимние; от мороза она чуть вздрагивала, но чулки с ботфортами оставляла стоически на виду, для меня и для мира; лицо было скуластое, очень вульгарное, невероятно красивое. После первого обмена улыбками она сообщила мне, что жуть как холодно, и скользко, и страшно, и неужели никакой *мистер* не проводит ее домой. *Мистер* согласился без колебаний (тут же выбросив из головы всякое *cogito*; разве сам Картезий поступил бы иначе?); но почему-то помнится мне, что мы еще долго ехали, то ли на этом же, то ли еще на каком-то другом троллейбусе, таком же заледеневшем, куда-то к Киевскому вокзалу (хотя как это может быть? наверное, в другой раз это было); долго шли по колдобинам и торосам, по длинному беспросветному переулку, где запросто могли на нас напасть, пырнуть ножиком. Декарт сам напал на перевозчиков, задумавших ограбить его, где-то в Германии; бросился на них с обнаженной шпагой в руке. Нет смысла убегать от того, что вам внушает страх (говорил он, и со своим уютным, почти не грузинским, акцентом цитировал

его Мамардашвили, а я запомнил и часто повторял про себя); ведь, убегая, вы все равно свой страх унесете с собою...

Таких девиц зовут обычно Диана, или Снежана, или, на крайний случай, Оксана; иногда даже оказывается, что это их настоящие имена. Моя ночная спутница, бурно падавшая на меня со всех колдобин, покуда мы убегали с ней (все-таки убегали) от мазуриков и мороза (мороз подгонял нас *in actu*, мазурики лишь *in potentia*), уверяла, что ее зовут Марианна, на самом деле (тоже, следовательно, *in actu*; этого я ей не сказал); *честное пионерское*. Она была очень высокая, с меня ростом; была вовсе не толстая (впрочем, и не худая); но когда падала, то падала всей тяжестью своего большого тела, своих мехов, так что и я чуть не падал; чем ближе мы были к окончательному падению, тем веселее нам делалось. Потом была запредельная в своей затхлости коммуналка, бесконечный тусклый коридор, по которому нужно было идти на цыпочках, озираясь и крадучись; коридор весь в углах, шкафах, рогатых вешалках, тоже готовых свалиться, скандально скрипучих половицах, готовых нас выдать, еще каких-то бессмысленных железяках, старых, что ли, газовых плитах с открытыми дверцами, тоже мечтавших, чтобы мы об них споткнулись, на них напоролись; наконец комната, неожиданно чистенькая, явно чужая. Я так и не узнал чья. В конце концов, какое мне дело? Мы долго не могли согреться, хотя в комнате было жарко. Она терла свои красные ладони, потом терла мои, потом я тер ей плечи, потом тер ей бедра. Я был уверен, что она окажется крашеной блондинкой, когда снимет свою мохнатую шапку; но нет, под шапкой обнаружился сначала платок, как-то по-деревенски повязанный для тепла, потом темно-рыжие, не длинные, но густые волосы, которые она сразу и пустилась взбивать, приглаживать, снова взбивать. В комнате были коньяк и конфеты. Коньяк мы выпили, конфеты съели, в кровати. Конфеты были в плоской коробке, такие советские, каких теперь уже, наверное, не бывает, из черного шоколада с белой липкой гущей внутри. Она ничего мне не давала с собою делать, покуда я не скормил ей всю коробку, только мои пальцы облизывала. Потом был лучший урок *ars amandi*, полученный мною за всю мою молодость. Ничего прекраснее ни с какой другой женщиной у меня до этого не было, долго не было после. Она, быть может, в троллейбусе приняла меня за искомого ею *мистера* (если так, то скажем спасибо моей знаменитой дублинке, купленной вместе с Ясом, на бабушкины деньги); или просто позволила себе *прихоть*; во всяком случае, быстро сообразила, что я не тот, кто ей нужен. Признаться ей, что я *студент*, да еще и *философского факультета* (это че вообще такое?), сразу я не решился; пустился плести небылицы про (кажется) ВГИК (вроде как я начинающий режиссер, и если она хорошо себя будет вести, то сниму ее в кино, в главной роли); она даже не пыталась притворяться, что верит; да я и сам не настаивал. Но я ей нравился, я это видел. Деловая женщина в ней (все такие бабочки по-своему бизнес-леди) заставляла ее говорить мне, уже ночью, тем более наутро, что мне рассчитывать не на что, все равно у меня *на такую красоту* денег не хватит, и что телефона она мне не даст, *как же, дудки*, сама, может быть, позвонит, если время будет, а может быть, и не позвонит, потому что нет времени, да и не *назвонитесь* вам всем, а какая-то другая, не деловая, но страстная, развратная, нежная, грубая, томная и прелестная женщина продолжала меня обнимать, подставлять мне под поцелуи свою грудь, не достигавшую, разумеется, государственного великолепия тамары-сергеевниной, но тоже роскошную, крепкую, с большими розовыми сосками, и так выгибала крутые бедра, когда я рукой проводил по ним, так сама проводила своими заветными, тайными, бурно-рыжими волосами по моим собственным бедрам, потом, когда я ложился на спину, по животу, по груди, долго-долго приближаясь к лицу, что я вновь и вновь терял голову (и живот, и грудь, и все прочее); утром, хотя я был уже вымотан, снова, после крепкого кофе, сваренного ею где-то в дебрях квартиры, и пары совсем сухих сушек с совсем сухим маком (ничего больше не было), затащила меня в постель, чтобы, так уж и быть, показать мне, дураку, еще раз одну позу, которую мы только начали отрабатывать накануне. Ну давай, миленький, еще разок меня трахни... Да я бы на целый день и на все последующие остался с ней в этой постели. Вот еще, делать мне

нечего... Но и она не спешила со мною расстаться, еще, похоже, продлевая это мгновение, как и я продлевал его; мгновение, которое, мы оба знали, вот сейчас закончится, больше не повторится. В чистенькой, но все-таки жалкой комнате стоял уже зимний свет, тот зимний морозный свет, какой бывает, наверное, только в России (по которому никогда не перестану я тосковать); помню, пятна этого света лежали на темно-серых паркетиных возле кровати, на столе с двумя нашими чашками, блестящей джезвой с подпалинами от газа, на какой-то, что ли, этажерке у дальней стены, где среди невнятных рамок и рюмок, щербатых тарелок стояли крошечные красные модели очень заграничных автомобильчиков, «бьюиков», «фордиков» («Астон Мартин» вряд ли был среди них; а вдруг был?), и ясно выхваченная этим зимним морозным светом – одна-единственная книга, очень затрепанная: роман Н. Островского «Как закалялась сталь».

Она позвонила мне через неделю (а я и не верил, что позвонит); предложила отвести ее в «Арагви» (сперва заехать за ней в гостиницу «Космос», у черта на куличиках, потом отвести ее в «Арагви»; не хочешь, что ли?). Разумеется, я хотел; у меня только денег *на такую красоту* действительно не было. Деньги я занял (не помню у кого, не у Яса). И разумеется, с той второй встречи мы ездили исключительно на такси (как если бы навсегда, на всю жизнь наездились на троллейбусах в первую). В «Арагви» ее знали (мне показалось) все, от швейцара (впустившего нас в обход недовольной очереди), который, как все швейцары той прекрасной эпохи, омерзительно смахивал на бывшего *вохровца*, если не на самого *кума*, до (как выяснилось) знаменитого (среди других завсегдаев) завсегдаея, страшно толстого, килограммов на триста, усатого грузина, всегда сидевшего в одном и том же углу, поглощая пантагрюэлевские порции сациви, чахохбили, хачапури и так далее, и так далее по незабвенному, Ясом тоже любимому списку. Я только надеялся Яса не встретить, вообще никого не встретить. Еще надеялся, что занятых денег мне хватит, чтобы заплатить за все сациви, все хачапури, все киндзмараули, все мукузани, что я не буду с позором изгнан, взащей вытолкан на к тому времени уже начинивший подтаивать снег. Разумеется, любой из усатых и даже не очень усатых завсегдаев, приглашавших ее танцевать, был бы счастлив заплатить за ее ужин, пересадить за свой столик. Толстяк в углу не приглашал, только кивал, да подмигивал, да кончики пухлых пальцев подносил к жирным губам, чмокал и распускал их, показывая, в каком восторге он от *такой красоты*; все прочие приглашали. Справиться с южным темпераментом задача, как известно, не из самых простых (не дифференциальное уравнение); я справился с ней, в общем, неплохо, так что мы вышли оттуда без драки и без скандала, увы, не вдвоем (как я надеялся), а с ее подругой (читай: коллегой) по имени (настоящему или не настоящему, кто теперь это выяснит) Жанна, очень крашенной (ну конечно) блондинкой, тощей дылдой с зелеными ногтями, до этого целый вечер потягивавшейся, зевавшей во весь густо намазанный рот, затем громко, на весь «Арагви», объявлявшей, ни к кому в особенности не обращаясь, что ей офигеть как хочется спать – и ссать. Спать – и ссать, она повторяла.

С этой Жанной (которой расхотелось, видимо, спать, не знаю, как насчет всего остального) мы попали на уже окончательно непотребную пьянку, к каким-то *работникам торговли* (как они себя называли), в большую, тоже чужую и вовсе не коммунальную, наоборот – по советским меркам роскошную, роскошно обставленную квартиру, опять где-то возле гостиницы «Космос», и там-таки наметилась у меня драка с одним рыгающим, в рубашке навыпуск, потным подонком, слишком уж навязчиво лапавшим мою кралю, вдруг повалившимся на диван и заснувшим, то ли в самом деле, то ли прикидываясь, чтобы не схлопотать от меня по морде. С помянутой Жанной остались мы наконец троем в комнате. – Можешь потрахаться с нами обеими, за сто долларов, – объявила Жанна, вновь принимаясь потягиваться, рассматривая свои зеленые ногти. Никаких долларов у меня не было, да и *трахаться* с этой тощей пьяной дылдой мне совсем не хотелось; мне нужна была Марианна; только она одна. Марианна выслушала предложение подружки с полнейшим равнодушием на скуластом, уставшем, простецки-прекрасном лице, как деловая женщина, готовая *обсудить варианты*. На моем лице

выразилось, видимо, отвращение. – Ну нет так нет, пойдём к Павлику, – объявила дылда, кивая в Марианнину сторону (дурак, мол, твой ухажер). Кто был Павлик, не помню. Только имя звучит во мне, где-то там, в том *далёко*, откуда кое-что (немногое) к нам иногда возвращается. Я подумал, что если она пойдёт сейчас к Павлику, мы больше с ней никогда не увидимся. Она не пошла к Павлику, осталась со мною. Конечно, все уже было не так. Главное, чувство, что *работники торговли* по-прежнему где-то за стенкой и могут сейчас войти в ту комнату, где мы разложили (вот это помню, больше ничего не помню) прокуренный, пыльно-плюшевый, никак не желавший раскладываться, с провалом посередине, диван, что вообще все так мерзко вокруг, такая гадость господствует в мире, убивало во мне наслаждение. Как хорошо было в той коммуналке...

Уговорить ее снова поехать туда со мною мне так и не удалось (должно быть, это и вправду была ее внезапная прихоть, исключение из всех бизнес-правил). Дело свелось к повторению того, что повторять уже не хотелось, но и не повторять не получалось, к ее редким звонкам и бесконечному ожиданию этих звонков, страху пропустить внезапный звонок, из-за которого я, бывало, часами, днями и вечерами не выходил из дому, сидел, смотрел на мрачно молчащий телефон, читал все подряд, с нарастающей яростью, и Декарта, и Пуанкаре, и даже университетский учебник диамата, для проклятой, неотвратимо приближавшейся сессии (тот пресловутый университетский учебник, который начинался, и даже если не начинался, то мне помнится, что начинался, и я всю жизнь верил и по-прежнему хочу верить, что начинался бессмертной фразой: «Методом диалектического материализма является материалистическая диалектика»); и после долгого, уже безнадежного ожидания мы все-таки встречались с ней то возле очередной гостиницы, то в очередном ресторане, то еще у каких-то, и еще у каких-то *работников торговли*, валютчиков, цеховиков и фарцовщиков; и теперь мне уже пришлось занимать денег у Яса, и (стыдно вспоминать это) просить денег у бабушки (никогда мне не отказывавшей); и денег все равно не хватало; и голос (скажем так) разума (еще звучавший во мне) советовал мне прекратить все это как можно скорее, прямо сейчас; но прекратить я не мог; и когда мы танцевали с ней в очередном «Арагви», погибал, почему не признаться, от прикосновения ее колен, ее бюста, от ее запаха, ее жарких накрашенных губ; и глядя в глаза ей, вдруг видел в них что-то подлинное, совершенно не блядское, какое-то печальное изумление, как если бы она спрашивала себя, что же это такое, откуда я взялся в ее жизни и что теперь с этим делать. Увы, мне совершенно нечего было ей предложить (даже если бы я и хотел предложить; но я не уверен, что хотел; голос разума не умолкал во мне; да и мои родители начали, кажется, подозревать кое-что, потрясенные моими долгами, скрыть которые мне, в итоге, не удалось; готовились *принять меры*). У меня и квартиры не было; пойти с ней было некуда; не мог же я тащить ее к случайным приятелям, на какие-то, что ли, студенческие вечеринки (да она бы и не согласилась, посмотрела бы на меня с таким презрением, которого мне даже в мечтах было не вынести). На студенческих (и прочих) вечеринках появлялся я по-прежнему с Марой (где она мне закатывала свои сцены). Получалось, что теперь уже две женщины, очень разные и очень по-разному, сводят меня с ума и морочат мне голову; многовато, пожалуй, для одного бедного студента-философа. А странным образом чем мучительней и запутанней делалось все это, тем сильней и, опять же, мучительней становилось желание во мне. Мне теперь каждый вечер нужна была женщина, какая угодно, или уж приходилось удовлетворять себя самому. Нашелся университетский приятель (Олег? Игорь? не помню даже, как его звали), с которым пустились мы в похождения по каким-то подмосковным дачам и хазам, где мерзкие, пьяные, прыщаво-злые девицы готовы были *дать* кому угодно за бутылку водки (тут же и выпитую), за пару *косяков* (тут же и выкуренных). Как я ухитрялся посреди всего этого еще и учиться, даже сдавать проклятую сессию, этого я не знаю. Все-таки ухитрялся; если не сдавал, так *пересдавал*; пресловутый учебник диамата, прочитанный в ожидании телефонного звонка, меня, видно, и спас. Материалистическая диалектика взяла, однако, свое; дело (снова скажем)

кончилось чесоткой и триппером (одновременно), от которых Яс помог мне (тоже одновременно) избавиться. Запах цинковой мази мне потом даже снился. Говорят, что запахи человеку не снятся. Запах цинковой мази точно умеет сниться; свидетельствую.

Давно кончились и морозы, кончилась и оттепель, началась весна, пошел дождь. Почему-то только дождь мне и помнится из всего, что было той ужасной весной. Дождь идет всегда. Дождь идет и идет, и на подъезде к Брюсселю, и возле Гента, и возле Брюгге, тот же дождь, что шел в Москве, в Ленинграде, куда я поехал однажды с тоски, на один день, просто прочь, хоть на один день, от запоев, загулов, Марианны, Мары, всей своей жизни. Еще тогда хватало у нас сил на такие безумства. Сесть на Красную (или Не-красную) стрелу (или не-стрелу) в 12 ночи в Москве, в 7 утра быть в Ленинграде, промотаться весь день по городу, потом в 12 ночи сесть в поезд на Московском вокзале, чтобы в 7 утра вновь оказаться в Белокаменной и Первопрестольной. Билеты покупались у проводников. Или они покупались в кассах так называемого (боги, боги мои) Интуриста (в обычные было не достояться) за небольшую взятку – или большую улыбку (иногда получалось и это). И ничего глупее той поездки в Ленинград не было в моей жизни. Я ведь мог посмотреть прогноз погоды перед выездом, что мне мешало? Отвлечение к себе и своей жизни, вот что мешало мне. (А что нам теперь помешало посмотреть прогноз погоды? давай считать, что простое легкомыслие, хорошо?) А посмотрев, узнал бы, что там будет дождь, дождь и дождь. А уже, я помню, цвела сирень, и первые были листики на деревьях, но при этом шел, действительно, дождь, лил и бил, и кусты и листики колебались, клонились, и скукоживались от холода, и за каждым углом налетал на меня, сотрудничая и соперничая с дождем, этот питерский пронизывающий ветер, от которого содрогается прибывший из Первопрестольной, непривычный к нему человек, и в поезде я не выспался, хотя в ту пору жизни еще вполне мог спать в поездах, на верхней полке, не обращая или почти не обращая внимания на все эти таинственные ночные звуки, которыми всегда бывало отмечено железнодорожное путешествие, все эти скрипы, стуки, голоса, хлопы, топы, опять голоса, снова скрипы, храпы и стуки, этот промельк, проблеск неведомых ночных огней за окном, эти внезапные остановки в пустоте, в темноте, в нигде, в Бологом, визг и лязг, путаницу собственных снов; и с утра в окне был только дождь, только дождь, мятущиеся кусты под дождем; и в Ленинграде под этим дождем ни в семь утра, ни в семь вечера мне было решительно нечего делать, а надо было как-то прожить этот бесконечный дождливый день, к которому я сам приговорил себя (не в наказание ли за свои же собственные проделки? за гонорею с чесоткой, от которых только-только я излечился?); и я лишь повторял про себя, идя по Невскому в сторону «Сайгона», где надеялся хоть кофе выпить, любимую фразу из любимого фильма про то, что дождь идет всегда (как, в сущности, и теперь ее повторяю); но «Сайгон» был закрыт, то ли потому что уже вообще был закрыт, то ли еще почему-то; и кофе я потом выпил в «Севере», и потом еще где-то, потом еще где-то; и, обойдя, с презрением к погоде, пару любимых мест, недолго, но все-таки постояв на Стрелке Васильевского острова с ее величественным видом на крепость, дворцы, взвихренную ветром Неву, открывающуюся оттуда во всей своей грозно-серой безмерности, и с этим меланхолическим, всегда и во всякий приезд восхищающим меня колебанием зеленых водорослей на мраморных, уходящих в воду ступеньках, – постояв, посмотрев, в конце концов, спрятавшись от питерского дождя в Эрмитаже (где же еще и прятаться от питерского дождя, балтийского ветра?); и тамошний апостол Лука, рисующий Богоматерь (тогда еще не отреставрированный), не произвел, по-видимому, никакого на меня впечатления, не помню даже, видел ли я его (кто бы сказал мне, что я буду через много лет вновь и вновь заходить в Старую Пинакотеку, чтобы посмотреть и еще раз посмотреть на мюнхенский вариант великой картины?); зато (помню) долго стоял я перед еще не облитой кислотой Данаей (тоже, конечно, не воображая себе ее страшную скорую участь), в сущности (я думал), самой прекрасной, во всяком случае, самой привлекательной женщиной, нарисованной когда-либо кем-либо (но мне было в ту минуту уже не до женщин, даже прекраснейших); и перед Рембрандтовским же «Блудным

сыном» вдруг принял решение изменить свою жизнь, выкинуть какой угодно фортель, совершить любое безумство, уйти в лесники, в матросы на рыболовецком траулере, все, что угодно, только не продолжать прежнее, потерявшее для меня всякий смысл существование; и когда я принял это решение, даже питерский дождь и ветер перестали пугать меня; даже, возможно, утихли; и когда мы въехали наконец в Бланкенберге, дождь тоже наконец перестал, хотя небо всеми своими облаками, сливавшимися в одну сплошную, лишь изредка, робко мерцающую завесу, показывало, что готово хоть сейчас, по первому требованию, извергнуть на нас все свои хляби; когда же навигатор довез нас до заданного ему места, мы принялись смеяться, понявши сразу, что ничего более депрессивного в жизни не видывали, наверное, и не увидим. А что тогда остается? Остается только смеяться. Ну давай посмеемся, посмотрим на этот бельгийский бетонный ужас, или, хочешь, поедem сразу обратно?

Мы обратно все-таки не поехали; мы поставили наш изумленный «Астон Мартин» на большой и пустой стоянке возле большой пустой квадратной воды, пустой и большой настолько, что мы не сразу признали в ней гавань. Это была гавань, но ни одной яхты, ни одной лодки там не было. Были только мостки для гипотетических лодок, отрадно геометрические; серо-желтая рябь между ними. Вокруг вообще была геометрия; по другую сторону стоянки – сплошной бетонный фронт много- (десяти-, мы же любим точность) этажных домов, почти (но все же не совсем) одинаковых, с (почти) одинаковыми, вдоль всего фронта протянутыми балконами. Этот фронт был, собственно, тыл; настоящий, на море стоящий, на море смотрящий фронт был с другой стороны; ветер обхватил и понес нас, как только вышли мы из машины. Обхваченные и несомые ветром, не без труда, обнаружили мы проход сквозь бетонно-стеклянную стену; моря, нет, не обнаружили с другой стороны. Оно там было, но так далеко, что как будто его и не было. Оно там было, но было, действительно, *там; здесь*, где мы оказались, была только кирпичная набережная, парапет, за парапетом песок. Горы песка и пустыни песка. По пустыням песка двигались, в этот поздний час, с включенными фарами – и потом двигались всю ночь, или почти всю ночь, и весь следующий день, и до самого конца нашего незабвенного пребывания в этом незабываемом месте, – маленькие желтые тракторы, стремившиеся подвинуть этот песок поближе к горам песка, на которых стояли уже не такие маленькие, даже очень немаленькие, но не менее желтые экскаваторы, тоже что-то делавшие с этим песком. Что до набережной, то на набережной ни тракторов, ни экскаваторов не было, были только рабочие, в опять-таки желтых (чтобы уж не выбиваться из симфонии строительных красок) жилетах, с радостным остервенением грохотавшие отбойным молотком, который, в свою очередь, услаждая наш слух, радостно дергался в их могучих надежных руках. Еще раз: не повернуть ли сразу обратно? не убраться ли немедленно восвояси? Нет, теперь уже интересно, что будет дальше. Тоска уже такая, что даже уже не тоска. А раз так, то пойдem, осторожно, по вывороченной плитке, вдоль трубы и канавы. Вот подъезд, заходим в него.

Мы совершаем какие-то действия; пробираемся между труб, набираем код, входим в подъезд, потом в лифт, узкий, затхлый и медленный. Мы в настоящем; мы вдруг проваливаемся в прошлое; или мы в него не проваливаемся. Иногда я думаю, что оно помогает нам справиться с настоящим; по крайней мере, создает какую-то дистанцию между нами и ним. А мы ведь любим дистанцию? Не знаю теперь, можно ли определить ум как дистанцию, но мысль есть точно – дистанция, спасительный зазор, благословенная трещина в бытии... Но прошлое не всегда нам приходит на помощь; куда как чаще оставляет нас наедине с затхлым лифтом, лестничной площадкой на седьмом этаже, с двумя дверьми, справа и слева (дом был высокий, но узкий; вскоре выяснилось, что никого, кроме нас, в нем и не было), наедине с коробочкой, привинченной к стене возле двери в снятую нами квартиру, каковую коробочку нужно было (но не сразу у нас получилось) открыть набором четырех (магических? нет, боюсь, что очень обыкновенных, заедавших и не набиравшихся) цифр, чтобы извлечь оттуда ключ, открывающий дверь. Это просто жизнь, Жиж; ничего ведь страшного не происходит. Ничего, ровным

счетом; никто за нами не гонится; никто не преследует; и ужинать мы сегодня тоже, конечно, пойдём. Просто жизнь; безмыслие бытия. А квартира была отличная, как на тех картинках в интернете, по которым мы и сняли ее; квартира с огромным, во всю стену, окном, за которым, если глядеть издали, из глубины гостиной, действительно было море, и только море, во всей его грозно-серой безмерности, отделенное от смутно-серой, еще светящейся в сумерках безмерности неба дымчатой чертой горизонта, уже расплывавшейся, еще не исчезнувшей. Так что мы остаемся здесь, поужинаем, переночуем, завтра посмотрим. Спальня, выходящая на другую сторону, в непритязательный двор, была, по крайней мере, тихая, с большой кроватью и матрасом, приемлемым для наших уставших спин; с масляным обогревателем, упрятанным в стенной шкаф (причем так ловко упрятанным, что, извлекая его оттуда, не зная, какой он тяжелый, какой неуклюжий, я немедленно уронил его набок, он же грохнулся так неудачно, что прикрепленный к торцу его термостат отвалился, повиснув на красных и синих проводках, зелененьких проводочках, что, впрочем, не помешало ему в его благородном деле согревания наших тел, наших душ). Хорошо бы убраться отсюда без короткого замыкания, пожара, наводнения, землетрясения. Довольно с нас экскаваторов. Экскаваторы были тут как тут; тракторы тоже; стоило нам подойти к парадному переднему окну, взглянуть вниз, и те и другие появлялись перед нашим уже не изумленным, но измученным взором; одни (тракторы) в жестяном свете прожекторов продолжали ездить туда-сюда по расчерченной их гусеницами песчаной пустыне; другие (экскаваторы) в том же свете продолжали пересыпать песок на песчаной горе, на вершине которой при взгляде сверху обнаружилась отдельная плоская заводь и в ней тоже, удивительным образом, маленький желтый трактор, ездивший по воде взад-вперед; вода же из этой заводьи по длинным и черным трубам стекала на внешний песок, пенисто-грязным потоком устремляясь к далекому морю. Восхитительное зрелище, Жижи, не могу не согласиться с тобою. А звук какой, если открыть окно. Индустриальная симфония. Сюита для экскаватора с трактором. Хорошо хоть холодно, окно открывать не нужно. Оно, однако, подрагивало, это окно, даже закрытое, и стены чуть-чуть тряслись под действием отбойного молотка, продолжавшего исполнять свою собственную сонату прямо под нами, в двух шагах у подъезда. Куда они так торопятся, что работают даже ночью? Мечтают, наверное, поскорее открыть курортный сезон? Неужели не понимают, что коронавирус сейчас все закроет – все сезоны, курорты, рестораны, гостиницы? Мы этого еще и сами не понимали; только предчувствовали; потому, позвонив в Брюссель хозяину квартиры, трогательно извинявшемуся за доставленные неудобства, предложившему скостить плату на треть или четверть (из его слов я понял, что он сам не бывал здесь давненько, с прошлого, что ль, сезона; да и кто ездит сюда в начале марта, поищи дураков), отправились просто-напросто ужинать, заодно и за вещами к машине.

Наутро все показалось не таким уж мрачным, хотя симфония, сюита, соната продолжались по-прежнему; давай хоть к воде подойдем. Море-то вот оно, но как подойти к нему сквозь все эти тракторы? Мы не сразу сумели подойти к нему; сперва отправились за покупками в город (даже позавтракать было нечем); при сером свете нового дня обнаружили возле все той же, пустой по-прежнему гавани, перпендикулярно к парковке, чудное сооружение под названием Paravang – фантастическое слово, образованное местными фантастическими фламандцами от французского Paravent (как сообщала пояснительная табличка на четырех языках); слово, которое я Жижи, или Жижи мне, или мы с ней оба друг другу сразу же предложили переводить на русский как Ветрощит (с большой буквы: других ветрощитов еще не приходилось ни ей, ни мне встречать на этом ветреном свете), – сооружение, прекрасное уже тем, что выпадало из времени, из забетонированного бельгийского мира, пусть на несколько минут, на сотню метров возвращая нас в тот (по сообщению таблички) 1908 год, когда оно было построено, в тот светский, даже великосветский курорт, который, если верить Википедии (а ведь мы ей верим, не правда ли?), существовал здесь до мировых войн, бомбардировок, упражненный береговой и морской артиллерии (австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд, разузнала

дотошливая Жижи, имел привычку проводить здесь жаркие летние месяцы вместе со своей несчастной эрцгерцогиней Софией и другими коронованными родственниками; собственно, собирался ехать сюда сразу после Сараева; доехал бы – вся история Европы повернулась бы по-другому; да и здесь бы все выглядело иначе); сооружение (продолжим фразу), придуманное в том самом 1908 году (всего за шесть лет до Сараева) для защиты от атлантического бурного ветра коронованных и некоронованных любителей свежего воздуха, чтобы, значит, они здесь прогуливались или, мирно беседуя, сидели на узкой и жесткой лавочке под широкой дощатой крышей (на металлических зеленых консолях с югендстильными, я бы сказал, волютами), а ветер, всегда налетающий со стороны гавани, им не мешал, упираясь в длинный ряд больших толстостекольных окон, поделенных на части белыми деревянными крестовинами. В самом деле, ветер тут же угомонился, как только мы зашли за эти большие окна. Ветер остался там, вместе с гаванью и стоянкой. Здесь, с подветренной стороны, было тихо, пусто (ни эрцгерцога, ни эрцгерцогини); вид же открывался отсюда на все тот же задний фронт (то есть тыл) многоэтажных прибрежных домов, на невнятные клумбы, непонятные парники, спортивную площадку, покрытую чем-то искусственным, бледно-зеленым, еще какие-то дальние домики. Вне времени и печали оставался, следовательно, лишь сам Ветроцит. Ветроцит был даже веселый, в своем очевидном абсурде, в своей откровенной неуместности здесь и где бы то ни было.

Мы тоже выпадаем из времени, мы снова в него возвращаемся; мы идем сквозь ничтожное настоящее, сперва в магазин, после из магазина, ни о чем не думая, ни о чем не вспоминая, но, пожалуй, со все более отчетливым чувством (или предчувствием), что здесь, вот именно здесь, в этом беспросветном месте, куда мы неизвестно зачем приехали, откуда если не завтра, то уж послезавтра точно уедем, – что здесь что-то может, или должно, или имеет случиться, хотя мы не знаем, что именно, зато знаем наверняка, что такие предчувствия имеют обыкновение обманывать, не сбываться, потом забываться. Для начала случилось что-то со светом. Лифт в доме такой был узкий (и затхлый), что вдвоем мы еще могли подняться в нем на наш седьмой этаж, но вдвоем и с сумками уже не могли. Жижи с парой сумок поднялась благополучно. С остальными сумками я доехал до пятого этажа, после чего лифт затих. Сперва он затих, потом лампочка в нем начала гаснуть. Она не сразу погасла, еще только тускнела. Дверь, однако, открылась, и на лестнице свет горел. Потом выяснилось, что мы забыли в машине фотоаппарат и компьютер. Это просто жизнь, Жижи. Жизнь, Жижи, состоит, среди прочего, из вот этих мелких, скучных, внешне осмысленных, внутренне бессмысленных действий. Да, давай пойдем вместе. На лифте мы ехать не решились, спустились по лестнице; ветер снова обхватил и понес нас к стоянке. Теперь уже все понятно, вот гавань, без единой лодочки, яхточки, вон там Параванг, последнее утешение. Давай хоть обойдем ее, эту гавань? Ну давай, если ветер нас не сбросит в нее. Когда мы вернулись, свет в подъезде уже не горел, лифт не работал. Хорошо, что Стив Джобс придумал вставить в айфон фонарик; отличная была мысль. Даже если это не он придумал, все равно хорошо. И вот эта узкая-узкая, бетонная-бетонная, затхлая-затхлая лестница, и мы по ней тащимся-тащимся на наш седьмой этаж, и вот интересно, есть в самой квартире электричество или там его тоже нет, и это просто жизнь, Жижи, главное, не пропустить наш (седьмой; ты считаешь? вот уже четвертый) этаж, не сбиться со счета, и если там электричества тоже нет, мы, конечно, уедем немедленно, а если оно там есть, тогда еще посмотрим, и если это результат моего обращения с масляным радиатором, тогда... тогда я не знаю. Свет был в квартире, радиатор нас не подвел. Уже звоню, прямо сейчас.

А все-таки не покидало меня ощущение, что здесь что-то должно и может случиться, в этом абсурдно-депрессивнейшем месте, и, стоя опять у окна, глядя на желтые экскаваторы, желтейшие тракторы, упорно продолжавшие свою деятельность по превращению песчаной пустыни в песчаные горы и обратно в пустыню, глядя на грязную воду, все так же изливавшуюся из труб, на серо-грязное море в недостижимом для нас отдалении, ожидая, чтобы хозяин квартиры вышел на божий свет из брюссельского метро, где застиг его мой звонок, перезвонил

мне, как обещал, я думал о том, что этот погасший, пускай и не божий, свет, конечно, событие, но все же слишком незначительное, чтобы соотнести с ним мои предчувствия. Это скорее знак и намек, скорее символ и указание на что-то. Впрочем, я давным-давно перестал верить в какие бы то ни было знаки, символы и намеки; еще в юности решил, что все это фигня, мифология. Это Яс верил в знаки, или делал вид, что в них верит, или играл в эту веру, надевал эту маску, говорил о *парности событий*, о каких-то *проколах*. Тайная связь между двумя событиями прокалывает привычную ткань бытия; иглолка входит в одном месте, а выходит в совсем другом. Доказать это невозможно, можно только увидеть... Нет, не думаю, чтобы он принимал это всерьез. Это было только *так*, одна из его возможностей... или один из его *образов* (как Марк Антоний, как Цезарь). Среди его *образов* был тот, что верит в знаки и говорит о *проколах*. Но разве *образ* – это обман (думал я)? Это зеркало, искажающее наши черты; но черты ведь все-таки – наши... Брюссельский хозяин (выбравшийся из метро на свет божий) извинялся вновь очень трогательно, предложил скостить плату еще на сколько-то, потом сообщил, что сейчас позвонит туда-то и туда-то и что сейчас, сейчас, сейчас придет человек, все починит. Человек, надо отдать ему должное, пришел очень быстро, свет в подъезде зажегся, лифт заработал. А в кино все было бы не так (объявила Жижи, варя рис, жаря овощи); в кино бы свет погас навсегда; в кино (объявила Жижи) это было бы покушение на незнакомца в соседней квартире. В соседней квартире прячется персонаж в плаще, криминальный герой, укравший картину ван Эйка (как в свое время украли части Гентского алтаря; причем их до сих пор не нашли, эти части; часть частей нашли, а часть не нашли). И вот за ним (другие, совсем плохие) гангстеры гонятся. Гангстеры за ним следили, притворяясь рабочими. Самый главный гангстер сидит в самом большом экскаваторе. А в тракторе (я добавил) прекрасная гангстерша. Да уж, не без нее. Они потому и ездят все время взад-вперед по песку. Следят, наблюдают. Наконец, решаются действовать. Отключают свет в доме, входят в подъезд, крадутся по лестнице. А тут мы, придурки, с нашими чемоданами. И если мы здесь еще немного посидим, все это произойдет в самом деле. Так что давай пообедаем, съедим рис, умнем овощи и пойдем наконец гулять по набережной, раз уж мы сегодня не уезжаем отсюда, подойдем, наконец, к воде.

Но к воде никак нам было не подойти. Мы шли и шли по набережной, мимо все таких же, если не тех же, бетонно-стеклянных, сплошным фронтом стоявших домов, а за парапетом все ездили и ездили желтые экскаваторы (с гангстерами), желтые тракторы (с прекрасными гангстершами), да и ветер усиливался, да и дождь налетал вдруг порывами; налетал; пролетал. Зато на набережной (отдадим и ей должное) попадались нам персонажи тоже исключительно парадоксальные, прямо хоть вставляй их в наш триллер. Сперва попался нам дядечка в длинном синем пальто, в шляпе, которую сразу захотелось обозвать котелком, без шарфа, но с шейным платочком-пейсли, при этом в ярко светящихся, ядовито-желтых спортивных ботинках. За ним шел еще один дядечка, без платочка, без котелка, зато с коляской, в которой сидела маленькая, лохматая грязно-белая собачонка, удивленно тарачившаяся на море и мир. Потом, подгоняемая ветром, равнодушная к ветру, пробежала, обгоняя нас и бурно пыхтя, спортивная толстуха в рейтузах и маечке, ярко-красной и тоже ядовито светящейся. Ручки-ножки у нее были крошечные, зато бедра и плечи поражали своей необъятностью. Навстречу ей и нам шла разлетающаяся блондинка с лиловым нераскрытым зонтиком, висевшим у нее на запястье, и айфоном в лиловатых от ветра руках. Явно рук ей не хватало для айфона и зонтика. В айфон она смотрела, что-то в нем набирала, а зонтик бил ее то по левой ноге, то по правой, она же, похоже, не замечая этого, еще поддавала ему коленом, чтобы, значит, он взлетал перед ней повыше. Видишь, как здесь здорово? А ты еще хотела уехать? Ты что, Жижи, наслаждайся... Наконец появился пирс, далеко уходивший в море. Этот пирс есть местная достопримечательность (как мы выяснили с помощью наших собственных верных айфонов); он построен был (мы выяснили) в 1933-м в стиле ар-деко (что бы это в данном случае ни означало) на месте деревянного, югендстильного, выдавшего разные виды – и Франца Фердинанда, и эрцгерцо-

гиню Софию, – погибшего, потому что они сами погибли в Сараеве. Тот был похож, наверное, на наш Ветроцит. В этом тоже было что-то вроде ветроцита (теперь уже с маленькой буквы): длинный ряд квадратных окон, поделенных на еще квадратики, с наветренной стороны; но все было светло-бетонное – и перила пирса, и рамы, и разные столбики, – очень мощное, мощно-обшарпанное, как будто изгрызенное солью, ветром, временем, коломатностью бытия.

Мы долго шли по этому бетонно-соляному мосту к непонятной стеклянной мощно-круглой конструкции, завершающей пирс; останавливались, фотографировали; уже море билось, пенилось, ухало у нас под ногами. Навстречу нам шла и в колясках ехала почти толпа молодых инвалидов, привезенная сюда (я подумал) из какого-нибудь закрытого заведения: несчастные, искореженные, скособоченные существа в желтых жилетах, вроде тех, что носят дорожные рабочие по всему миру или демонстранты в вечно протестующей Франции (цивилизованная замена трещотки в руках прокаженного, клейма на лбу каторжника), персонажи прямо из Брейгеля, не слепцы, но калеки, прошедшие сквозь наше несчастное настоящее куда-то откуда-то: из своей прошлой тоски в свое будущее отчаяние (тут-то я и вспомнил шутку про бедного, ничем, наверное, не заслужившего ее Цеденбала). Когда мы сами прошли наветренные стекла, ветер обрушился на нас с явным намерением покарать за все наши прегрешения, даже не совершенные; грязно-серое море по-прежнему сливалось с грязно-серым, дымчато-мерцающим небом; бетонный фронт отступивших от нас домов ровной линией, в идеальной перспективе, устремлялся к едва различимому сквозь водную серь, сквозь небесную грязь маяку. Мы обошли круглую конструкцию, завершавшую пирс, не понимая, как попасть внутрь. Там были люди; там было даже кафе, столики, стойка, усатый бармен и многоцветные бутылки за стойкой. Мы сквозь стекло это видели; и люди, сидевшие внутри, смотревшие на море, волны и небо, сквозь стекло видели, соответственно, нас. Но двери не было, а те, которые были, не открывались, как мы их ни дергали, как ни толкали. Мы пошли по кругу с подветренной стороны, где можно было хоть отдышаться; потом оказались лицом к лицу с пустым безумствующим пространством, едва не сбитые с ног; попробовали одну дверь и другую; наконец, как сумели, держась друг за дружку, вернулись к главному входу, по-прежнему запертому. Там была (мне помнится) всего одна узкая дверь, сбоку, слева, изнутри заставленная вешалкой, так что она казалась скорее запасной, аварийной, случайной; но других вообще не было (или они были загорожены чем-то). Конечно (теперь я думаю), мы могли, еще разок дернув, еще разок толкнув эту дверь, отправиться восвояси. Ничего бы не было, просто-напросто. Пузатый дядька, вставший со своего места за ближайшим от вешалки столиком, мог не встать, не впустить нас. Мог нас вообще не заметить. Однако он заметил, встал и впустил. А почему эта узкая дверь не открывалась снаружи, я не знал и не знаю. Будем считать это одним из бельгийских *приколов*, одной из странностей этой странной страны. Помещение было большое, пустое; столики стояли только у стекол. В глубине, за баром и над бутылками, загорались какие-то бессмысленные гирлянды, жалко-тусклые в морском сильном свете; иногда вдруг включались черные большие динамики под гирляндами, скрежетали, жужжали и тут же выключались опять; или вдруг порождали пару тактов металлической музыки, чтобы сразу снова умолкнуть. Там готовились, может быть, к последнему празднику перед закрытием мира, к предвирусному веселью, предкарантинной танцулке, для самых отчаянных *люсек* с самыми преданными *прилюськами* (я правда подумал это, глядя на обшарпанное пустое паркетное пространство между баром и столиками; вот что теперь самое для меня удивительное).

Один столик был свободен, за него мы и сели. Дальше, ближе к открытому морю, сидела седая пара; Жижих не видела (или видела, оборачиваясь, следя за моими взглядами); я видел, не узнавая. Лицом ко мне сидел крепкий старик с седыми вислыми усами, à la запорожцы-пишут-письмо-турецкому-султану, с большой седой шевелюрой, вислой, как и усы, словно она старалась с ними соперничать, с обветренным, красным, узко- и синеглазым лицом, с темной, темней усов, почти черной щетиной на щеках (для того, может быть, и оставлен-

ной, чтобы предъявить человечеству остатки его нестарости, следы его молодости), с открытой в треугольном вырезе свитера тоже еще не старой шеей с отчетливым кадыком и одной-единственной долгой вертикальной складкой, выбегавшей из-под небритого подбородка. Я его разглядывал, и он тоже своими синими глазами за мной, видел я, наблюдал. Женщина сидела ко мне спиной, затем вполоборота, видимо, наскучив созерцанием своего спутника, повернувшись к морю, волнам, бетонному берегу; все равно я видел сперва лишь ее длинные, густые, седые (темно-седые в отличие от его светло-седых), витые, распущенные по плечам волосы, затем край щеки, кусок профиля, в стеклянном свечении. Еще видел ее острую джинсовую коленку, закинутую на другую коленку, не менее острую; ее локоть на спинке стула; длинную кисть руки с серебряными тонкими браслетами, съехавшими с запястья на странно желтую, повисшую вниз ладонь. Кофе пить не хотелось, чая тоже пить не хотелось; может быть, джин-тоник? Что ж, давай джин-тоник; мне уже все равно. Не расстраивайся, Жижи, это всего лишь крошечный эпизод жизни; он пройдет и закончится... Седые волосы вздрогнули при этом «Жижи»; владелица волос повернулась к нам, тут же отвернулась опять; разглядеть ее я не успел. Не расстраивайся, скоро уедем. А все же есть в этом что-то необыкновенное. Здесь бы кино снимать, в самом деле. Здесь что-то невероятное могло бы случиться.

– Считай, оно уже случилось, – сказала (по-русски), поворачиваясь всем корпусом в нашу сторону, владелица темно-седых волос. На ней был черный свитер безо всякого «горла», с вырезом глубоким и круглым; были серебряные, в цвет ее браслетов и прядей, цепи на плоской груди. Она перекинула дальнюю острую коленку через ближнюю к нам; обхватила спинку стула желтыми вытянутыми руками; прижалась к ней, как будто обнимая ее. И сколько же (хотел бы я теперь знать) прошло времени, прежде чем я узнал в этой бельгийской пожилой даме, с тугим и гладким, как будто натянутым, чуть-чуть, но все еще чуть-чуть квадратным лицом, – ту девушку, от которой сорок лет назад сходил с ума, готов был (не всерьез, но все-таки готов был) повеситься? Увы, лифтинг натуральную старуху превращает в ненатуральную; вот и все его достижения. Это была моя вторая или третья мысль; первая, когда я еще не совсем узнал ее (уже узнал, но еще не совсем поверил в то, что узнал), была мысль о какой-то давным-давно прочитанной книге (ни названия, ни автора я не мог вспомнить), где рассказывалось про человека, который спит и видит длинный, путанный сон с приключениями, погонями, войнами, взрывами, всяким вздором, громким выстрелом в самом финале. От этого выстрела он просыпается. В него стреляют во сне, он в ужасе, он просыпается. Наяву что-то грохнуло, что-то упало. Гром загремел, соседи сверху шкаф уронили. Мало ли что бывает. Он еще слышит этот грохот, разбудивший его. Он проснулся от грохота наяву, который в его сне превратился, очевидным образом, в выстрел. Но все, что предшествовало этому выстрелу, вся сочиненная сном предыстория, все погони, все приключения, все это было – когда? Неужели сну хватило одного мгновения, чтобы выдумать все это? А если нет, то, получается, он, спящий, во сне уже знал, что скоро гром загремит наяву, скоро шкаф упадет? Я точно не знал, что встречу Мару в кафе, посреди Северного моря, на уходящем далеко в это море пирсе, в бетонном городе Бланкенберге. Я не знал этого, но, выходит, я это знал. Потому и думал о ней, о прошлом, об эпохе Нетто, Брутто и Цеденбала, всю дорогу, два дня подряд. И только здесь перестал думать, как если бы перед самым выстрелом наступило затишье. И это все я тоже успел подумать, пока мы смотрели с ней друг на друга, еще не вставая, не называя друг друга по имени (мыслям, как и снам, много времени и не нужно... и это тоже успел я подумать, пока мы все сидели так, еще во сне, уже наяву).

Нам самим нужно было теперь что-то делать, что-то говорить, выражать изумление, восклицать «черт побери!», «быть не может!», «вот так встреча!» (словом, вести себя, как толстый и тонкий на Николаевском вокзале). Мы все это проделали (без удовольствия). Даже улыбки не получались, ни у них, ни у нас. В лучшем случае получались наклеенные. Они пересели за наш столик, все были друг другу представлены. Ее мужа звали Филипп, он был бельгиец, по-

русски не говорил. С ним можно было говорить или на плохом английском, или на столь же плохом французском (она, Мара, лопотала по-фламандски бойко, гортанно); ни на том, ни на другом говорить не хотелось. Ему самому не хотелось говорить ни на каком. Могли ли мы с ним встречаться в Москве? Давным-давно, в начале восьмидесятых? Могли-то могли, но он меня не помнил или отказывался вспоминать, тогда много было разных людей, в той Москве, *different people*, знаете ли, не упомнишь всех-то. А не работал ли он на фирме «Филипс». Тут он захохотал, кадык у него задергался, вислые усы задрожали. Работал, как же! Филипп с «Филипса», все тогда говорили. Он был там начальником всего бельгийского отделения, вставила Мара (по-русски), с очень обыкновенной (кажется, не наигранной) интонацией хорошей жены, гордящейся успехами мужа. *Грабительница дуи?* Как же, как же... И вовсе она не была такой старухой, какой показалась мне со второго и третьего взгляда; седые волосы ее старили, хотя и шли к ней (в этих длинных седых волосах был вызов, и она это знала, потому, наверное, их все время откидывала, отводила пальцами то с левой, то с правой щеки, перебрасывала с плеча на плечо; потом, удалившись в уборную, возвратилась с заколкой в волосах, так что они на плечи уже не падали, только на спину, но и тут она их не оставляла в покое, проводила по ним рукой, забирала в кулак, даже, случалось, подергивала); волосы – и кретинский, конечно, лифтинг, который, похоже, недавно она сделала (уж слишком сильно, наверное, стали провисать со временем те нижние выпуклости, которые сорок лет назад мне так не хотелось называть желваками). Она была старой и молодой; была старушкой-девочкой; или старушкой-мальчиком; вряд ли могла по-прежнему, в память об Ахматовой, обхватив себя руками, соединить за спиной пальцы или, лежа ничком, дотронуться до колен и лодыжек, но двигалась быстро, легко, нагибалась если не первой, когда что-нибудь падало, то одновременно с Жижи, тоже сразу подхватывающей с пола и шариковую ручку, и пластмассовую баночку с драгоценной дезинфекцией для рук, которая в те дни как раз начала исчезать из аптек и *дрогерий*, даже бельгийских.

Жижи! Это же в память о фильме – Жижи? О каком фильме? Ну об этом, пятидесятых годов, чайки, чайки... «Чайки умирают в гавани», вот как! Неужели она помнит этот фильм, как удивительно! То есть как же она может не помнить этот фильм? Да ведь мы же его вместе смотрели, неужели я – не помню? Я смотрел в ее глаза, она смотрела в мои. Я узнавал ее глаза; это были те же, молодые глаза на тугом, нагом (и наглom по-прежнему), натянутом, гладком лице; они были такие же темные, холодные и пустые; так же были обведены черной краской; но желтоватых кругов (прудов, провалов) вокруг них уже не было (видно, хирург убрал их вместе с желваками; кожа была везде одинаковой, матовой, мертвой). Мы смотрели этот фильм вместе, как я могу не помнить? Где же мы смотрели его? У... тут она зримо помедлила... потом произнесла намеренно неразборчиво, быстро дернувшись в сторону своего мужа... у... Я... Яса на даче. Мы поехали к нему на дачу, чтобы посмотреть этот фильм, как (еще раз) – как я могу не помнить? Я – мог не помнить; и могу не помнить по-прежнему. Там был еще смешной шофер такой, которого ты потом постоянно цитировал... Шофер, смешной, которого цитировал я? Шофер, смешной, старый, говоривший, что *думать надо меньше*. *Vox populi*, как ты выражался. И это было, когда мы ехали на дачу к Ясу (тут она снова дернулась) смотреть фильм «Чайки умирают в гавани»? – Да, именно так это было. Теперь (меняя тему) расскажи о себе... Мне пришлось рассказать о себе, она тоже кое-что о себе рассказала. Она была замужем за вот этим Филиппом (тот, понявши, кивнул) уже... сколько?... уже тридцать пять лет; как из *Рашки* уехала, так там больше и не бывала. А на черта ей эта *Рашка*? что в ней хорошего? Зато они с Филиппом (он милостиво позволил ей погладить себя по руке) весь мир объездили, из Новой Зеландии недавно вернулись, на Мадагаскар собираются, если чертов вирус позволит. Нет, они живут не здесь, вот еще глупости, они живут, понятно, в Брюсселе, но у них есть дом тут недалёко, в Остенде. А здесь они? А здесь они, потому что Филиппу здесь нравится. Вот здесь ему нравится? Да, вот здесь (она показала, иронически-широким жестом,

на бетонный берег, грязное море). Он здесь в детстве проводил каждое лето. Здесь летом полно народу, между прочим. Здесь чудесно летом, сплошное веселье. Все летом здесь... и^наче (тут, наконец, получилась у нее улыбка хоть чуть-чуть настоящая). А вам что же (она повернулась к Жижі), не по душе наша бельгийская архитектура? Дураки вы, ничего не понимаете (прізнесла она, уже без улыбки, с не совсем наигранным презрением в голосе). И собственно, что теперь? Теперь непонятно что. Поговорили, и будет. А завтра? Назавтра мы собирались в Брюгге. Нет, в Брюгге они не поедут, делать там нечего, и домой к себе (она перекинулась с мужем парой голландско-гортанных фраз; тот помотал усами, покачал головой) – нет, домой к себе они нас не позовут, у них ремонт, проводку нужно новую класть (ах вот как, и у них проблемы с электричеством?), а вечером (завтра вечером, на сегодня у них другие планы; муж важно кивнул) – завтра вечером можем вместе поужинать, если, конечно, у нас есть такое желание. У Жижі никакого желания не было, этого я не мог не заметить. Но у меня желание было, еще бы. Я теперь не мог не расспросить ее обо всем; я сам себя спрашивал, как могло случиться, что мы так по-разному помним одно и то же. А мы разве не к *отцу Константину* ехали, когда тот таксист, *voх роруіі*, сказал нам, что надо музыку слушать и думать как можно меньше? – К какому *отцу Константину*? Ах, к *отцу Константину*! Ты что, охренел, кто же ездил к *отцу Константину* на такси? До него на электричке было два с половиной часа... Это правда ты, Мара? – вдруг сказал я (сам для себя неожиданно). – Нет, это мой призрак. Мы уходим. *Покедова*.

Я не знал и не знаю, что чувствовала Жижі, когда мы смотрели им вслед, идущим по бетонному пирсу к бетонным домам, он в какой-то моряцкой, рыбацкой, дурацкой брезентовой куртке с капюшоном, она – в смешной, дутой, как теперь модно, в горизонтальных полосах, пластиковой кацавейке, желтой, как жилеты у давно исчезнувших, уехавших в свою беду *цеденбалов* (даже со спины было видно, что они-то, в отличие от всех *цеденбалов*, – победители, хозяева бетона и мира); я себя чувствовал измотанным и измятым, как после длинного плохого кино в душном зале, когда выходишь на улицу и не знаешь, как начать жизнь заново, связать прошлое с настоящим. Я не так себя, наверное, чувствовал после *чаек* (умирающих в гавани), тогда, когда-то, вечность назад... И я ей верить отказывался. Ни из чего не следует, что ее память надежней моей. Может быть, я ошибаюсь, но, может быть, и она ошибается. Во всяком случае, из слов ее следовало, что с Ясом она была знакома лучше и ближе, чем я предполагал до сих пор; и то, как быстро, намеренно невнятно она произносила его имя, стараясь, похоже, чтобы ее муж не сумел его расслышать и выделить в общем потоке ее русской речи, тоже свидетельствовало о каких-то, мне неведомых, отношениях и обстоятельствах. А этот муж, этот Филипп – это был, что же, тот же Филипп, которого я помнил хохочущим, хлопающим по попке Ясову сотрудницу Иришу, хранительницу правоверно-марксистских цитат? Невозможно было представить себе, чтобы он хлопнул по попке Мару (я думал), да у нее и попки-то никакой по-прежнему не было, была та же проволочная фигура, тот же мальчишеский облик. Мне казалось, я все еще вижу их, хотя их давно уже не было, ни в кафе, ни на пирсе. Он подавал ей ее дутую кацавейку почтительно, сам влезал в свою моряцкую куртку со стариковским молодечеством; на нем и сапожки были коричневые, кожаные, с острыми носами, как у какого-то бравого, недоброго молодца. Ты как думаешь, у них есть дети? Я думаю, у них никаких детей нет (сказала Жижі); еще я думаю, что нам пора возвращаться в нашу чудную квартирку, к нашим возлюбленным экскаваторам... Они ведь без нас соскучились, не сомневаюсь.

На другой день мы поехали действительно в Брюгге. Дождя там не было, удивительным образом. Дождь еще шел, пока мы ехали, но закончился, когда мы вышли из огромной, очень путаной подземной парковки на какую-то невнятную площадь. Мы живем в настоящем, мы проваливаемся в прошлое, мы устремляемся в будущее. Я был слишком взволнован вчерашним разговором, я ждал сегодняшнего, я не мог сосредоточиться ни на каком Брюгге. Почти и не заметил я никакого Брюгге. Ну, Брюгге и Брюгге, я уже бывал здесь раза два или три, и

всякий раз здесь шел дождь, и Брюгге казался серым, желтым и скучным, с необъяснимыми толпами туристов, бродивших под зонтиками по его узким улицам, вдоль взбудораженных лодками, израненных дождем каналов. Теперь толпы были, но уже неуверенные. Еще прохожие не шарахались друг от друга, но уже поглядывали с опаской. Все это было так странно и на душе по-прежнему так *коломятно*, что мы ни по улицам, ни вдоль каналов не побродили, а пошли прямым путем в музей Грунинге, о котором Яс мне рассказывал когда-то, еще за железным занавесом (уже, впрочем, дырявым). Там хранятся два ван Эйка: портрет его жены (который мы так долго рассматривали когда-то в огромном роскошном альбоме) и так называемая «Мадонна каноника ван дер Пале», одно из самых знаменитых его созданий (они, впрочем, все знаменитые). Нам повезло наконец: не только потому что дождь перестал, чего никогда он в Брюгге не делает, но и потому что в этом маленьком музее Грунинге, где хранятся оба ван Эйка, они, ван Эйки, начиная со следующего дня должны были не просто быть выставлены, но выставлены как-то по-особенному, в обрамлении разных предметов пятнадцатого века и с какими-то компьютерными добавками, экранами и панно, позволяющими рассмотреть каждую деталь и детальку в отдельности. Бельгия, что ни говори, страна странная, страна чудес и приколов. Выставка должна была открыться завтра, но была открыта уже сегодня. Выставка уже была, а выставочно-вернисажной толпы еще не было. Что эта выставка как откроется, так сразу же и закроется, никто не знал, хотя многие, наверное, втайне догадывались. Ван Эйк принадлежал нам одним, нам двоим – и еще каким-то трем случайным теткам, довольно скоро растворившимся в небытии. И мы можем ходить и смотреть, ходить и смотреть, от Маргареты ван Эйк к канонику ван дер Пале и обратно к Маргарете ван Эйк... Мне здесь больше всего нравятся попугай и очки. Конечно, Жижи, гнутоклювый, зеленый, наглый (как все попугаи на свете) попугай в пухлых руках у белокурчавого, совершенно голого младенца и круглые очки (без дужек, в черной оправе) в сморщенной руке старого каноника – две детали, которые сразу бросаются нам (кому – нам? нам с тобой? нам, людям? нам, любящим?) в наши восторженные глаза. Люблю тебя за то, что ты можешь так радоваться этому попугаю, этим очкам. Попугай в пятнадцатом веке был, наверно, экзотикой. Для нас очки пятнадцатого века скорее экзотика. А у ван Эйка что экзотика, что не экзотика. У ван Эйка самые обыденные вещи кажутся фантазмагорией. Они потому, может быть, и кажутся фантазмагорией, что выписаны так тщательно, в таких мельчайших подробностях. Мы только во сне, и то изредка, все видим так ясно, так четко. Мы в жизни слепы, мы здесь вдруг обретаем зрение.

Про попугая в пятнадцатом веке думали, что он сам собой произносит одно-единственное слово: *Ave*. Всем другим словам его надо учить, но слово *Ave* он уже знает. Сколько ни встречал в жизни попугаев, ни один из них не произносил, по-моему, *Ave*. Это *Ave* напоминало им не *Ave, Caesar, morituri te salutant*, как напоминает нам, грешным, но *Ave, Maria, gratia plena*, слова, с которыми ангел (или прямо Дух Святой? нам-то все равно, а они знали точно) будто бы обратился к будущей Богородице, то есть попугай в руках у сидящего на ее коленях курчавого и нагого Младенца говорит о непорочном зачатии. А вместе с тем *Ave* – это перевернутое *Eva*. Мария тоже – *Eva* наоборот. *Eva* погубила человечество, Мария его спасла. Что до очков, то очки – и тоже в руке, не на носу у каноника, – в другой руке он держит молитвенник, – говорят, по мнению разных именитых исследователей (с которыми Яс, я помню, имел привычку не соглашаться), о том, что он, каноник, как раз отвлекся от молитвы – и в этот момент предстало ему видение: Мария с Младенцем, святой Донатиан и святой Георгий: целых четыре мифологических существа на одного живого, старого, больного каноника. Мы на него сразу и смотрим. Мы сразу смотрим на попугая, на очки в подагрической руке каноника – и на самого каноника, со всеми его морщинами, вздувшимися венами на висках и на лбу, его двойным подбородком, последними остатками очень седых волос, прорезью беззубого рта и своеобразнейшей, раздувшейся, в крошечных жилках, мочкою уха, похожей на внутренность устрицы. У небесных существ лица стертые, никакие. У него – незабываемое, настоящее, неприятное. Ван Эйк

никогда не приукрашивал свои земные модели; в нем и намека не было (много раз я слышал от Яса) на всю эту итальянскую идеализацию, слащавость и лакировку действительности (Яс, мне кажется, итальянское искусство вообще недолюбливал, делая, конечно, несколько огромных исключений; из них крупнейшее – для Леонардо, самого, по его словам, не-итальянского из всех итальянских художников; не зря же он из Флоренции послал мне издевательскую фотографию почти современной комической статуи, не имеющей ни малейшего отношения ни к треченто, ни к кватроченто).

А вот кто такой был этот каноник ван дер Пале – этого ни из Ясовых давних рассказов, ни из всех прочитанных с тех пор книг, ни из теперешних пояснений к великой картине я так толком понять и не смог. Он не был священником, вот что важно. Он не был ни священником, ни монахом, ни богословом, не имел права служить мессу, но был обязан на мессе присутствовать. Он был богатым человеком, получал (непонятно за что) доходы (бенефиции; помимо бенефиций, еще какие-то пребенды; или это подвид бенефиций? поди разберись) из разных мест, разбросанных по Европе (из Италии, из Кёльна, из Страсбурга); на старости, поселившись в Брюгге, сам основал какие-то два капелланства (тоже лень разбираться). В общем, человек был богатый, знатный, верный слуга единospасительной католической церкви, способный заказать свое собственное изображение в роли донатора, пред лицом Богоматери и в обществе двух святых, самому знаменитому художнику своего времени, своего города (еще, наверное, должен был получить разрешение у бургундского герцога; просто так, если я правильно понимаю, ван Эйк никаких заказов не выполнял). Неизвестно, учился ли он где-нибудь; докторский титул был, видимо, пожалован ему за выслугу лет и прочие достижения. Он и не выглядит ни ученым, ни подвижником, ни аскетом, ни созерцателем божественных откровений. Канцлер Ролен (властитель бургундского полумира) явлен на луврской картине как человек именно власти, человек воли, упорства, силы, зависти, хитрости. Здешний старый каноник тоже кажется мне человеком скорее светским, мирским (в нынешней России, добавила ироническая Жижи, сказали бы, боюсь я, *конкретным*; да, Жижи, и я боюсь этого); человеком, опять же, властным, хитрым, упорным, знающим свое место в мире и в церкви, спокойным, собранным, вполне уверенным в себе, в своем будущем, в своем загробном спасении.

А их вера (объявила проницательная Жижи) и была, возможно, уверенностью. Они были уверены, что мир устроен правильно и у них в нем есть свое от века им предназначенное, непоколебимое место. А на самом деле их мир, как всякий мир, был полн страданий, несчастий, войн, болезней, казней, предательств, подлостей, мерзостей. Других миров не бывает. Это мы считаем, что других миров не бывает. А для них тот другой мир – мир Богородицы с Младенцем на руках, мир апостолов и святых – был не менее реален, чем этот. По-иному реален, но реален не менее. Они в него не столько верили, сколько они в нем не сомневались. Они скорее не верили, что можно в него не верить. И если учредить в родном городе два капелланства (что бы сие ни значило) и пожертвовать им столько-то и столько-то (много и очень много) денег, и драгоценностей, и всякой церковной утвари, заодно и картину заказать у самого знатного мастера, и, короче, так устроить (а каноник ван дер Пале устроил именно так), чтобы по тебе и по всем твоим родственникам не просто время от времени и от случая к случаю, но всегда, каждый день недели, от понедельника до воскресенья, читали заупокойные мессы (какие-то, узнал я из одной книжки, бургундские бюрократы – Бургундия была вообще государством бюрократическим – доходили до двадцати пяти тысяч заупокойных месс, которые должны были служить во спасение их грешных душ), – то все в порядке, в ажуре, все в масле, как говорят немцы, твоя загробная жизнь устроена наилучшим образом: и Мадонна, и Младенец, и святой Донатиан, и святой Георгий, и еще сотни святых, тьмы праведников позаботятся о тебе. Они были так во всем этом уверены, что им не нужно было ничего приукрашивать, умолять художника, чтобы он изобразил их молодыми, красивыми. На что им земная лесть, если вечное блаженство им обеспечено?

Потому, говаривал некогда Яс, не очень-то он верит во всю эту теорию видений. Святому Луке, мол, является Мадонна с Младенцем – и вот он ее рисует. Она же якобы является канцлеру Ролену, она же, в обществе двух святых, – канонику Йорису ван дер Пале. Это уже потому неправдоподобно (думал я теперь, сидя рядом с Жижой на музейной скамеечке перед поступившей в наше полное распоряжение картиной), что св. Георгий, его небесный покровитель (Йорис есть искаженное Георгий, если я правильно понимаю), как бы представляющий, скорее – рекомендуемый каноника Богородице, стоит, со щитом и в доспехах (символизируя Церковь воинствующую, *Ecclesia militans*), у каноника (почти) за спиной, даже ненароком наступая на его одеяние, так что каноник уж никак его видеть не может, ни в каком виде, ни каким видением, разве что у него есть еще один, духовный, глаз на затылке (что все же маловероятно; у него и в обычных глазах ничего особенно *духовного* незаметно). Это не видения, это реальность. Для них тот мир, со всеми святыми, был реальностью, вот и все. Другой реальностью, но не менее реальной реальностью, чем реальность их настоящего. Для них время было разомкнуто в вечность. А что, в сущности, в этом странного? Ведь и мы живем не только в нашем собственном времени (думал я, сидя рядом с Жижой на скамейке, обнимая ее: музей принадлежал нам двоим). Мы живем, с одной стороны, в нашем времени и только в нашем, в том времени, которое отпущено нам. Мы знаем, когда родились, и примерно знаем, когда умрем (может быть, через двадцать лет; а может быть, через два; точно не через двести). Это наше время, время нашей жизни, только оно одно. Но с другой стороны, и оно ведь разомкнуто, пускай не в вечность, но в прошлое и отчасти, наверное, в будущее. Есть большое время, в котором мы тоже живем. В этом времени (думал я) есть и Яс, и ван Эйк, и Рембрандт, и Карина, и Рогир. Если бы я рисовал картину моей жизни, я бы нарисовал их там всех. Их всех – и еще много других персонажей. Как *последний русский атеист*, я бы, наверное, не стал рисовать там ни Мадонны, ни святого Георгия, но я бы точно нарисовал там Данаю. Я бы нарисовал там библейского Иакова с его сыновьями, нарисовал бы там Брута, Цезаря и Марка Антония, нарисовал бы Декарта. Это не было бы видение, упаси боже, как и у каноника ван дер Пале и у самого ван Эйка это никакое не видение, но это их реальность, или, во множественном числе, их реальности, одновременность их разных реальностей. Просто наши реальности по-другому устроены. Просто у нас другие мифы, другие герои. Как бы я хотел сказать это Ясу. Я этого уже никогда не смогу сказать Ясу. Я, разумеется, говорю это Ясу. Я хожу и смотрю теперь то на каноника ван дер Пале, то на Маргарету ван Эйк вместе с Жижой – и с Ясом, хотя Жижой – вот она, и я могу обнять ее, и обнимаю ее (музей принадлежит нам двоим), а Яс уже пятнадцать лет как умер, и Жижой никогда его не встречала.

Утешительная мысль? Да нет, ничего в ней нет утешительного. Она ведь не отменяет ни Ясовой смерти, ни моей собственной. Мы всегда будем чувствовать роковой разрыв между огромным временем мира и крошечным временем нашей жизни. Никакие картины нам здесь, увы, не помогут. Ни Мадонна с Младенцем, ни святой Георгий, ни уж тем более святой Донатиан не сведут меня снова с Ясом. Ты права, Жижой, в пятнадцатом веке они смотрели на эти вещи иначе. И то, что они смотрели на эти вещи иначе, верили в воскресение или не верили, что можно в него не верить, навсегда, конечно, отделяет, и отдаляет, и отрывает нас и от персонажей ван Эйка, и от самого ван Эйка, и от Рогира, и от всех остальных... А все-таки есть в них что-то поразительно близкое, словно современное нам. Что же это? Я не знаю; я так до сих пор, удивительным образом, и не знаю, что же это такое. Самого главного про эти картины я так, получается, и не понял. Яс понял, не сомневаюсь. Но как выразить наше понимание, вот в чем вопрос. Мы произносим разные слова, но что мы на самом деле имеем в виду? Яс, когда мы с ним рассматривали у него дома огромный роскошный альбом ранней фламандской живописи, такой огромный, что приходилось раскладывать его на полу (и неужели это было в тот раз, когда моя бордовая водолазка, по своей привычке, задралась у меня на спине и вдруг подошедшая сзади, склонившаяся ко мне Тамара Сергеевна провела своей теплой мягкой ладонью по этой

голой спине моей, интересуясь, не замерз ли я, не хочу ли, чтобы она согрела меня в своих жарких державных объятиях? – нет, этого она не спросила, только подумала, и это было, наверно, в другой раз) – Яс, переворачивая белыми аккуратными пальцами страницы альбома, надолго задерживаясь на портрете Маргареты ван Эйк (с ее тонкими губами, безресничными веками, рогами на голове), перед которым мы стояли, к которому вновь и вновь подходили теперь в музее Грюнинге, в Брюгге и наяву (если бы мой муж нарисовал меня так, уж я закатила бы ему сцену; хорошо, что я не художник, Жиж), и затем опять возвращались к канонику, – Яс, тогда, когда-то, глядя на этот портрет и на другие портреты, говорил об отстраненной неподвижности изображенных на них людей, о созерцательности в их лицах, о выпадающем из времени взгляде, которым они смотрят на нас, вынуждая и нас смотреть на них так же, тем самым приближая, даже (он именно так и выразился) причащая нас какому-то другому миру, в который нам вовсе не обязательно верить, но который, пусть ненадолго, становится реальным для нас.

Все это прекрасно, Яков Семенович, но все это не убеждает меня. – А как бы ты теперь мне ответил? – Теперь... теперь я связал бы это со своими собственными давними, всегдашними мыслями. Эта созерцательность, эта статичность, о которых все говорят и вы говорили, – что это, если не момент самосознания, совпадения с собою, углубления в свое подлинное, свое внутреннее? У ван Эйка (на всех картинах), у Рогера (не на всех, но на портретах уж точно) персонажи не отчуждены от себя. Мы все отчуждены от себя, почти всегда отчуждены от себя, мы очень редко бываем не отчуждены от себя. Они показаны так, словно для них правило то, что для нас исключение. Это вовсе не делает их приятными, или добрыми, или даже особенно умными, или вообще особенными людьми. Они такие, каковы они есть. Они жили так давно, они и слыхом не слыхивали ни о Декартовом *cogito*, ни о Кантовом «я мыслю», которое должно иметь возможность сопровождать все наши прочие мысли, но они словно погружены в *cogitatio*, в состояние глубокой задумчивости: и каноник, и Маргарета, и коварный канцлер Ролен, и даже купец Арнольфини, так странно и страшно похожий на одного нынешнего, не к ночи будь помянут, правителя, и его молоденькая, чуть-чуть анемичная, то ли беременная, то ли еще не беременная жена. Не говорю уж о Мадонне и прочих. Даже курчавый Младенец у нее на руках уже думает о чем-то своем (о спасении мира? о попугае?). Отсюда их пресловутый покой. Вот так, Яков Семенович, я бы вам ответил теперь. – А я бы ответил тебе, что это есть вообще на портретах; не на всех портретах, но на многих портретах. Разве у Рембрандта это иначе? Разве на том автопортрете Рембрандта, перед которым мы стояли с тобой в Амстердаме, нет этой же погруженности в *cogitatio*? Художник заставляет свою модель сидеть неподвижно, иногда очень подолгу; он, следовательно, выхватывает свою модель из потока, стремления, струения жизни; тем более если моделью он становится сам, то, задумываясь об этом или нет, он пишет свой собственный взгляд, а взгляд художника, прости за банальность, это взгляд всегда отстраненный, всегда углубленный. У нас у всех бывает такой взгляд, у тебя он тоже бывает. Люди – существа, наделенные сознанием, или, лучше сказать, существа себя сознающие. Конечно, это сознание, или, лучше скажем, эта способность сознавать себя отражается в их глазах. Иногда отражается, иногда не отражается. – Как я помню эту вашу мефистофельскую улыбку, Яков Семенович. И да, вы говорили мне, что у меня бывает этот глубокий, непонятно откуда идущий взгляд, не помню только, и не могу теперь вспомнить, где и когда вы говорили мне это. Значит, дело не столько в моделях, сколько в манере? В моделях, но и в манере? В медлительной медитативности этой манеры, о чем вы рассуждали еще тогда, когда-то, на тех ваших общедоступных лекциях для взыскующих истины старшеклассников, с которых, как мне иногда теперь кажется, вообще началась моя сознательная жизнь? Это он, ван Эйк, в состоянии если не непрерывной, то очень долго длящейся, *дольше* длящейся, чем она имеет обыкновение длиться у нас, простых смертных, *meditatio*, *contemplatio*, *cogitatio*, или уж назовите это как вам будет угодно, выписывает здесь каждую деталь и детальку, в неисчислимых подробностях: и узор ковра, и фигурки на подлокотниках трона, и капители колонн со

своими собственными крошечными фигурками, и слюдяные окна в кружочках, и митру святого Донатиана, и доспехи святого Георгия.

А мы встаем, мы уходим, мы выходим на улицу. Нет, не так просто: мы роемся в карманах в поисках ключика от настенного ящичка, в котором оставили наши рюкзаки, наши зонтики, вынимаем одноевровую монетку из щелочки в исподе дверцы, куда провалилась она при открытии ящичка, запиховаем зонтики во внешние карманы рюкзаков, пьем воду из пластмассовой бутылочки, дожидавшейся нас вместе с рюкзаками и зонтиками (какая жажда владеет людьми в двадцать первом веке; в двадцатом отродясь такой не бывало), шуримся на солнце, пробившемся сквозь белесые облака. Это просто жизнь, Жижи, что ж поделаешь? Жизнь отрывает нас от нас самих; мы забываем себя; теряем себя из виду. Иначе и быть не может? Я не знаю; я, иногда мне кажется, не знаю вообще ничего.

Ничего не зная, мы остановились у белой стены с обрубленным деревом перед нею. Что за дерево это было, мы тоже не знали. Оно было обрублено вровень с белой стеной, так что торчали только основания ветвей, из которых должны были, видимо, вырасти, в начале марта еще даже не пробовали расти новые веточки. Стена была очень белая, но сквозь ее белизну проступала кирпичная кладка. Белая краска отваливалась в разных местах, там и сям; получались красные крапины, особенно хорошо заметные в той части, куда падало солнце, заодно подчеркивавшее и волокнистое струение несчастного безымянного дерева. Еще продлевали мы, пусть на пару минут, блаженный покой сознающего себя созерцания – но потом пошли все же дальше, вдоль каналов, и мимо лавочек с жалкими сувенирами, и мимо крытой галереи с колоннами, напоминающей торговые ряды где-нибудь в глубине России, в какой-нибудь Нерехте, и через большую парадную площадь, и на другой площади, стараясь не сталкиваться с последними туристскими группами, зашли в неприязненное кафе, где, едва отыскали мы место подалеже от чужого чиха и кашля, как за соседний, через проход, столик плюхнулись две блондинки, одна толстушка, другая худышка, сразу пустились быстро, громко и возбужденно лопотать по-фламандски, причем толстая, веселая, с татуировкой на шее и, прости господи, пирсингом на выпученной нижней губе деваха, да, чихала, да, кашляла изо всех своих немалых сил, во всю мощь своей бессмысленной плоти, так что мы бежали оттуда, не допивши чай, не доевши невкусный пирог, и когда возвратились наконец в Бланкенберге, к нашим бесперебойным экскаваторам, безостановочным тракторам, Жижи, что ей вообще-то не свойственно, объявила, что устала – устала от всего, от Брюгге, от ресторанов, от воспоминаний, от всей нашей дурацкой поездки, – и чтобы я один шел ужинать с этой ужасной женщиной, если уж так мне приспичило. Ей ведь не нужно ревновать меня к этой ужасной женщине? – Нет, Жижи, ревновать вообще никогда не нужно.

Мы встретились с Марой (и одной лишь Марой: вислоусый Филипп, на мое счастье, с ней не приехал; тоже, видно, устал) в итальянском ресторане, недалеко от наших бетонных дебрей, на краю большой темной площади; ресторан оказался очень дорогим, очень хорошим, совершенно пустым (то ли потому что было еще рановато, то ли потому что вирус, приближавшийся не по дням, действительно, а по часам и минутам, подошел еще чуть-чуть ближе к Бельгии, к Бланкенберге, всеобщий страх еще чуть-чуть вырос). Были узко поставленные столики вдоль зеркальной стены, прямо против высокой стойки, за которой разливал вина один поддельный итальянец, громко переговаривавшийся то по-фламандски, то по-французски с другим поддельным итальянцем; тот, похоже, готовился печь пиццу в огромной открытой печи, если бы кто-нибудь вдруг ее заказал; в отличие от них обоих, официант, поначалу высокомерный, после смягчившийся, даже, кажется, подобревший, итальянцем был настоящим, из Неаполя, как он сообщил нам, и красавцем тоже заправским, почти Марчелло, почти Мastroяни, прямо из какой-нибудь, теперь тоже забытой комедии все тех же пятидесятых годов, из той эпохи, когда нас еще и на свете не было, а Яс уже был, уже ходил в школу с большим небось ранцем и первыми книжками в нем, и тоже где-то на юге, в Кишиневе, во Львове.

Если ты правда Мара, то скажи мне... Но я не мог поверить, что это Мара; она сидела прямо передо мною, лицом ко мне, к стене, к зеркалу на стене, мучительно долго обсуждала с Мastroяни, какое вино подойдет к ее устрицам, удивлялась моему равнодушию к тому и другому, и все время смотрела в зеркало, никак не могла отвести своих темных холодных глаз от них самих, от их и своего отражения, вновь и вновь поправляла темно-седые витые волосы, опять распущенные по узким плечам, вновь и вновь шевелила лицом, как будто проверяя, хорошо ли оно натянуто, двигала челюстями, губами. На ней был свитер опять очень черный, но другой, пижонский, на приспущенной молнии, позволявшей мне, и миру, и ее двойнику в зеркале увидеть тоже черную, но иной чернотой, с шелковисто-сероватым отливом майку, с как будто намеренно порванным воротом (на полпути от стиля *трэши* к стилю *гранж*, сказала бы, наверное, Жижи, знающая толк в этом деле); на рукавах свитера, в свою очередь, были маленькие стальные молнии, которые она то расстегивала, то застегивала, сгибая в локте то правую, то левую руку, так что все ее серебряные браслеты то съезжали на рукав, побрякивая друг о друга, то устремлялись обратно на узкую, странно желтую (никогда в прошлом она не была такой желтой), уже со старческими, еще крошечными крапинками, ладонь, по-прежнему побрякивая и друг о друга, и о застежку этой самой молнии, которую, где бы ни находились браслеты, продолжала она теревить. Я терпеть не могу устрицы и терпеть не могу сидеть спиной к залу; все-таки я был готов поменяться с ней местами, лишь бы оторвать ее от чертова зеркала; когда я предложил ей это, она возмущенно ответила: вот еще... Однако и она ведь пришла сюда не только ради устриц, которыми принялась вскоре хлюпать, ради своего отражения, от которого так и не смогла оторваться, если отрывалась, то ненадолго; раз она пришла сюда, и без Филиппа, значит и ей хотелось со мной поговорить, меня расспросить. Это все же тот Филипп или не тот? Какой не тот, какой тот? У Яса... у Якова Семеновича был такой знакомый, Филипп, то ли голландец, то ли бельгиец, то ли сотрудник фирмы «Филиппс», то ли не сотрудник фирмы «Филиппс», молодой, вислоусый; это ведь тот же? Конечно, отвечала она, пошевелив лицом, подергав губами. Конечно, какой же еще? Как если бы на свете мог быть только один Филипп, голландец, бельгиец, сотрудник «Филиппса», вислоусый и молодой, теперь постаревший. Она с ним у Яса и познакомилась. А, прости меня, была там такая Ириша, хранительница цитат из классиков марксизма-кретинизма... Тут, снова и наконец, она улыбнулась (поскольку лифтинг ей позволял улыбаться). Да, была такая Ириша. Было много таких Ириш. Все Ириши остались в далеком прошлом. Всех Ириш она... Она показала взмахом руки, вывертом желтой кисти, серебряным стуком своих браслетов, как она всех этих Ириш отправила на свалку истории. И ты продолжаешь утверждать, что мы вместе, у Яса на даче, смотрели фильм «Чайки умирают в гавани»?

Да, она продолжает. Она продолжает, и утверждает, и продолжает утверждать это, и ни минуты в этом не сомневается, потому что с этим связано для нее, Мары, событие слишком важное, чтобы его забыть, и да, она мне сейчас расскажет, она для того и пришла сюда, чтобы все мне рассказать наконец, хотя она и сама не понимает, честно признаться, зачем ей это нужно, ей, если я хочу знать правду, на меня решительно наплевать, я ей, в сущности, противен по-прежнему, как сорок лет назад уже был ей противен, но она знает, что Яс любил меня, он правда любил меня, вот что самое удивительное, и это ей не безразлично, и бог знает, увидимся ли мы с ней еще когда-нибудь, она полагает, что нет, во всяком случае, у нее вряд ли когда-нибудь еще появится желание меня видеть, а даже если появится, то это никакого значения не имеет, потому что жизни осталось уже немного, и если мы не умрем от простого гриппа, как умер Яс, то умрем от китайского, просто сдохнем все от этого китайского вируса, и да, она смотрит на себя в зеркало, потому что ей нравится смотреть на себя в зеркало, и она будет смотреть на себя в зеркало, наплевать и тысячу раз наплевать ей, нравится мне или нет, что она смотрит в зеркало, а не на меня, ей, может быть, вовсе и не хочется смотреть на меня, и если мне это уж так сильно не нравится, то я могу убираться отсюда ко всем чертям, в свой

Мюнхен, или откуда я вообще взялся, к своей красотке Жижи, как бы ее ни звали на самом деле, она, Мара, даже и не запомнила, как ее зовут на самом деле, да пускай бы ее хоть на самом деле звали Жижи, ей, Маре, это решительно все равно. А устрицы здесь отличные, в этом ресторане, лучшие в Бланкенберге, у них-то, в Остенде, есть, конечно, не хуже, но здесь, в Бланкенберге, лучших нет, не было и не будет.

Мара, я узнаю тебя. Я узнаю тебя, это ты. Если это ты, а это ты, то скажи мне честно, что у тебя было с ним. С ним, с кем? С Яков Семенычем? У нее с ним был роман, вот что у нее было с ним, теперь ей этого скрывать от меня не нужно, раньше нужно было, потому что он этого требовал, а теперь уже не нужно, теперь ей плевать, и да, мы с ним вместе, втроем с ним, у него на даче, в поселке для академиков, смотрели фильм «Чайки умирают в гавани», и забыть этого никак не возможно, никакой путаницы здесь нет и не может быть, верю я или не верю ей, ей плевать, потому что именно так, а не иначе было это, потому что именно в тот день, после этого фильма, роман их и начался, да Яс и позвонил мне, если уж я хочу знать всю правду, и позвал меня немедленно приехать к нему на дачу, взять такси и ехать к нему на дачу, потому что он знал, Яс, что она, Мара, была в тот день у меня и что я позову ее с собой, а если бы я не позвал ее с собой, он бы наверняка посоветовал мне позвать ее с собой, и я бы, ясное дело, послушался, потому что я в ту пору, как полный придурок, во всем его слушался, но ему не пришлось мне советовать, я тут же вскочил и помчался, ну как же, раз любимый Яков Семеныч приглашает приехать, заодно уж и ее, Мару, с собой прихватил, а Яков Семеныч только на то и рассчитывал, как ей потом со смехом, да, со смехом рассказывал, и вообще это не был его любимый фильм, как он уверял меня, а просто фильм, который он смотрел в детстве, и если бы в тот день в том кино шел какой-нибудь фильм другой, какой-нибудь Пазолини, Антониони, Феллини и Матространи, то все равно бы он мне позвонил, но я-то не понимал ничего, я был слеп, я был глуп, и дело вообще не в фильме, чайки уж или не чайки, а дело в том, что было после фильма, а после фильма мы сидели у него на даче, внизу в гостиной, втроем, и он достал сперва одну, потом другую бутылку французского коньяка, очень дорогого, очень хорошего, ну еще бы, других у него не держали, и он просто напоил меня, дурака, и если я теперь делаю вид, что этого не помню, то она, Мара, несколько не удивляется, она даже готова поверить мне, что я не помню этого, потому что я был пьян в дупель, в зюю, да я ничего и не понял, я был глуп, я был слеп, не понял, потому и не запомнил, да и какое теперь это имеет значение, это так далеко теперь от всех нас, и от меня, она думает, и даже от нее самой, Мары, и она, Мара, прожила с тех пор долгую чудесную жизнь, да, да, чудесную, она счастлива, она объездила целый свет, от Никарагуа до Непала, и у них с Филиппом здесь лошади, под Остенде, она на лошади здесь скачет каждый день, в любую погоду, а когда она на лошади скачет, ей вообще ничего не нужно, когда скачет она на лошади, ей вообще плевать на весь мир, ей, впрочем, и так плевать на весь мир, а Яс тогда напоил меня, вот и все, если уж я хочу знать, как оно было на самом деле, меня напоил и оставил лежать на диване, а с ней пошел наверх, *показывать дам*, и они тут же начали целоваться, еще на лестнице, и да, тут же начали трахаться, наверху, и потом два года трахались, встречались и трахались, и так, как с ним, она ни с кем в жизни не трахалась, ни до, ни после, если уж я хочу знать всю правду, а она может, и даже, пожалуй, хочет сказать мне всю правду, потому что больше, она надеется, мы с ней не увидимся, а если я этого тогда не узнал и не понял, так это потому, что я был дурак, хоть и штудировал этого, как его, Шпингалета, а еще потому, что они это очень хорошо скрывали, и от меня, и от всех, то есть от всех во вторую очередь, но в первую очередь от меня, это было его, Ясово, неперемное, непрерывное требование, он, видите ли, не хотел меня ранить.

Мы уже не были одни в ресторане. Наискосок от нас, у другой стены (где столики на двоих были так прижаты к этой стене, тоже отчасти зеркальной, что один любитель устриц, пиццы или спагетти смотрел в нашу сторону, а другой сидел спиной к нам и смотрел в сторону входной двери), обнаружился (к нам спиной) необъятный, шумно пыхтящий, прекрасно мол-

чащий, очень, похоже, уставший от жены и от жизни седовласый толстяк (не дотягивавший до того толстяка из «Арагви», но тоже вполне безмерный) – и (к нам, увы, помятым, не испитым, но скорее изжеванным красным лицом и высокой рыжей прической, тоже, впрочем, не дотягивавшей до настоящего *эшафодажа*) его спутница, говорившая громко, без малейшего умолку, голосом мерзким, визгливым, скрипучим, похожим на звук давимых сапогом стеклышек, на каком-то местного производства французском, в мутных потоках которого (впрочем, почти не прислушиваясь, не до того мне было) я различал только (в вольном переводе) слова: вирус, карантин, конец света, полный атас, полнейший абзац, кранты, крах, тартарары, спасайся кто может. Она обращалась вовсе не к толстяку, давно поняв, по-видимому, что ничего, кроме пыха, от него не добьется. Обратилась бы к нам, но мы говорили друг с другом по-русски, и толку ей от нас тоже не было. Так что Матростройни пришлось за всех отдуваться. Стоило выйти ему из-за стойки, как сейчас же обрушивалась она на него все свое негодование на неправильность этого мира. Марчелло вежливенько поддакивал, кивал, что-то мямлил, хмыкал и олялякал (дама, видимо, здесь была завсегдательницей), потом делал полшажка прочь, потом замирал, опять поддакивал, мямлил и хмыкал, потом делал еще полшажка, потом смывался за стойку. Но и за стойкой не было спасения ему: дама наклонялась так сильно вправо, что, казалось (и мы все надеялись), вот сейчас она свалится на пол; она, однако, не сваливалась, но, заглядывая за безмолвного толстяка и столь же безмолвную стойку, продолжала свой монолог, от которого и нам, значит, спасения не было; Марин голос на фоне ее визгливого звучал глухо, презрительно-ровно.

Нет, она стихи писать давно бросила. Все-таки хватило у нее ума понять, что стихи ее фуфло, барахло. Анжелина Бес? Да, была такая Анжелина Бес; была и есть; никуда не делась. У Анжелины Бес ума как раз не хватило; Анжелине Бес ума никогда не хватало. Что? Один *бес*? Она такой шутки не помнит. Анята? Анята умерла, в начале двухтысячных. Как и Яс? Нет, за год до него. Она два года подряд летала на похороны. Она же в Москву не летает? Летает; на похороны. На Анятины похороны. На Ясовы похороны. На мамины и папины похороны. А больше ей летать туда незачем, делать там нечего. Ей и здесь хорошо, ей очень хорошо, ей отлично. На душе не – что? – *коломятно*? Это она говорила так? Я ее путаю с какой-то из моих девок. Анжелина Бес, кстати, в порядке, известная поэтесса. Я не слежу за этим? Ну и дурак. А кто следит, тот знает Анжелину Бес. Как же не знать Анжелину Бес? Анжелина Бес печатается в толстых журналах, и в «Новом мире», и в «Знамени», которые, да, все еще существуют, верю я ей или нет, Анжелина Бес ей, Маре, присылает свои подборки, они теперь есть все в интернете, если я вдруг не знаю, и давным-давно завела свой собственный интернетный журнал, и там печатает кого хочет, а кого не хочет, того не печатает, и значит, стала вроде как начальницей, и всерьез ей пишет, что на пару с кем-то (она, Мара, забыла, честно говоря, с кем... каким-то длинноволосым) определяет этот (как его?) литературный процесс, и да, рифма бес – процесс напрашивается, тут она готова со мной согласиться, так уж и быть, Анжелина Бес – определяет процесс, а впрочем, бог с ней, или бес с ней, с Анжелиной, я ведь не об Анжелине с ней пришел разговаривать, и она пришла не для этого, а для чего она пришла, она и сама не знает, и если эта чертова тетка сейчас не заткнется, то она ее вырубит, честное слово, возьмет стул и двинет по теткиной голове, по ее, теткиной, поганой прическе, а если я хочу еще узнать что-то о Ясе, об их романе с Ясом, то да, она мне расскажет, теперь скрывать уже нечего, терять уже нечего.

Он очень мучился, Яс. Он понимал, как и она понимала, просто ей было наплевать на это, что они оба меня предают. Нет, ей не просто было наплевать на это, но это ей нравилось. Это была ее месть мне. Она могла меня бросить, ну разумеется, она хотела меня бросить, когда начался у них роман с Ясом, это он уговорил ее не торопиться, уговорил, умолил и даже поставил условием, чтобы она бросила меня осторожно, мягко и постепенно, и главное, так, чтобы я не понял, ради кого она бросает меня. Она подчинилась; она первое время во всем ему подчинялась; да и как было не подчиниться ему? А потом ей понравилось. Ей понравилось играть со

мною, мстить мне. Потому что я был грубой скотиной, вот что она имеет мне сообщить. Я был отвратительной грубой скотиной, я просто ее насильничал, и секс со мной не доставлял ей ни малейшего удовольствия. То ли дело секс с Ясом. Секс с Ясом был сказкой. Почему же закончился? Потому что вообще все заканчивается. Потому что Яс не ушел к ней от своей Тамарки, толстухи. Хотел? Хотел, да, или делал вид, что хочет. На самом деле он не хотел. Он Тамарку свою не любил, да и она его не любила. Он любил своих дочек, ради них и терпел ее; дело обычное. У нее был роман с Аркашей, помнишь Аркашу? А, удивляешься? То-то. У нее был роман с Аркашей, пианистом, помнишь такого? Я-то помнил Аркашу, я не мог лишь представить себе, что она его помнит, вообще его знает. Ну еще бы, они потом дружили с Аркашей. Он теперь в Лондоне, тоже неплохо устроился. Нет, звездой не стал. Преподает музыку в каком-то престижном месте. Ах, я не могу поверить, что у нее был роман с Аркашей? А вот и был, ей сам Аркаша рассказывал. И Яс ей рассказывал. Яс знал, был не против. У самого Яса тоже был роман с Аркашей. Сначала у нее, потом у него. Или наоборот. Да у него с разными *вьюношами* было то и это, неужели я не заметил? Был дурак, дураком и остался. Как можно было не заметить? Она так сразу поняла, что Яс – *двустволка*, видно же было невооруженным взглядом. Ее это сперва даже не очень мучило. Был роман с Аркашей, потом был роман с таким *Димочкой*, я ведь знал *Димочку*? Да нет, она верит, что со мной – ничего. Со мной – ничего, разговоры о Рогире. Ну, мог в ресторан затащить. А так – ничего, высокая дружба. Спал он с другими. Что смотришь? Лифтинг не удался, это точно. Лифтинг мы переделаем, не беспокойся.

Она все-таки не могла отвести взгляд от этого лифтинга в зеркале, от своих собственных, пустых, темных глаз. Ее глаза завораживали ее же саму. Человек перед зеркалом, говаривал Яс, есть чистый образ самосознания... Он говаривал то и говаривал это, но как мне теперь вспоминать о нем? Я так часто, всю свою жизнь, его цитировал. Как мне теперь цитировать? кого я теперь цитирую? Я не был в шоке; и никогда я не был тем наивным дурачком, каким выставляла меня Мара (скорее, впрочем, чтобы меня позлить); давным-давно уже я догадался о его тайных, даже и не слишком тайных, пристрастиях. Про Аркашу я не знал, но с так называемым Димочкой все было слишком уж откровенно, слишком уж очевидно, хоть я всего-то видел этого Димочку раза два, три, четыре... Я уехал тогда из Москвы, простился со своей молодостью, начал все сначала и сочинил себя заново – а когда вернулся, все было по-другому, и с Ясом у меня были другие, уже взрослые отношения, и с Марой я не встречался, вообще, кажется, не встретил ее больше ни разу, не знал даже, что она вышла замуж за вислоусого Филиппа, уехала в Бельгию; и это все (я думал, сидя напротив любовавшейся собой Мары, стараясь не слушать визгливый, скрипучий, омерзительный голос возбужденной вирусом тетеньки, по-прежнему склонявшейся чуть ли не до полу, продолжавшей рассказывать несчастному Марчелло, бедному Мастоляни о роковой неправильности этого мира) – все это (я думал) мне еще нужно (но как и как же?) расставить по местам, понять, что за чем, навести в моем прошлом хоть какой-то порядок. Я больше не могу ее слушать (объявила Мара, наконец отрываясь от зеркала); пойдём на хрен отсюда.

На улице был ветер; был морской, резкий и свежий после душного ресторана воздух; была темнота, тишина; колебание голых веток под фонарем; дрожащие на них капли, почти стальные; трамвайные рельсы, стальные тоже и под фонарем тоже блестящие; еще открытая лавочка (скорее: лавчонка), где невозмутимо удивленная нашим появлением то ли филиппинка, то ли, может быть, тайка продала нам (точней, Маре) большую (самую большую из всех, что существуют в природе) бутылку *Jägermeister*'а. Ваш немецкий, объявила Мара; хорошая вещь. Мара осталась все-таки Марой; Мара, вооружившись самой большой из существующих в природе бутылкой *Jägermeister*'а, уселась на узкой жесткой облупленной лавочке с подветренной стороны прекрасного *Paravang*'а, лицом, значит, к кортам и клумбам, к фронту (вернее: тылу) прибрежных многоэтажек, и (хотя ей нужно было еще возвращаться в Остенде, и огромный, черный, джилообразный «БМВ» дожидался ее на той же стоянке у безъяхтовой гавани, где

мирно ночевал и мой «Астон Мартин»), бутылку откупорив, отпила из нее большой булькающий глоток, после чего, передернув плечами, постукивая браслетами, протянула ее и мне, попутно сообщив, что полиции в это время не бывает, да она и не боится полиции. В гробу она видала полицию. Что до вирусов, то, считай, мы вирусами уже обменялись. Она терпела все, пока *Димочка* к ним не приехал в Пицунду. Они уехали в Пицунду с Ясом и так чудесно жили там, целый день валялись на пляже, трахались как безумные; вдруг Димочка заявляется. Идет по пляжу, сволочь такая, подходит к ним и рядом ложится. Снял комнату где-то. Они-то жили в гостинице, а он приехал и снял где-то комнату. Она думает, сам же Яс и снял ему эту комнату. Ну... и? Ну и не на ту напали, педрилы. Посмотрела она, как Яс ему спину мажет кремом от солнца, долго-долго, медленно-медленно, любовно-любовно, – и пошла в гостиницу, собрала свои вещи. А когда в Москву вернулась, мне позвонила, в последний раз, может быть, но мой отец сказал ей, что я где-то в походе, в горах, а потом я исчез из Москвы... А потом? Потом Яс ее выдал замуж за Филиппа, объявила Мара, отпивая огромный глоток Jägermeister'a. Хочешь? – Хочу. Jägermeister был, как всегда, горек, терпок, сладок, живителен. Jägermeister помогает в любых обстоятельствах, под крышей любого ветрощита, где мы на миг можем спрятаться если не от злобы и ярости мира, то хотя бы от его лжи. Мир лжет, но нам-то лгать уже незачем. Это Яс все устроил, выдал ее за Филиппа, сбавил ее Филиппу, да она и не возражала. Кто не мечтал тогда выйти замуж за иностранца? Что до Ириши, то с Иришей и всеми прочими ей пришлось разбираться самой, да и разбираться не очень пришлось, Филиппа она окрутила, как Яс и предсказывал... И это было – когда? Когда было – что? Свадьба? Свадьба была потом, а с Филиппом она встретилась через, наверное, полгода после Пицунды. После Пицунды еще все продолжалось у нее с Ясом, прекращалось, потом опять начиналось. Он не мог отстать от нее, она от него. Она только его одного и любила, наверное, в жизни. И даже когда с Филиппом они сошлись, еще не все было кончено. Филипп уезжал, приезжал... Она еще на что-то надеялась, с Ясом. Я ведь знаю, что она была его крестной? Ах нет, и этого я не знаю? Ничего я не знаю. Я даже не знал, что он крестился. Конечно, он крестился, у *отца* Константина, *отца* Константина-то я хоть помню? Да, *отца* Константина я помню, я отвечал, и помню, как мы к нему ездили, и каким ужасным он мне показался. – Потому что ты безбожник поганый... Он и был, впрочем, ужасным, этот отец Константин, как впоследствии выяснилось. Ясу, продолжала Мара, прихлебывая в темноте, он вовсе, увы, не показался ужасным, а лучше бы показался, Яс им был очарован, верю я ей или нет, ей плевать, и они начали к нему ездить чуть не каждое воскресенье, на службу, и вовсе не на такси, что за глупости, но иногда на чьей-то машине, чаще на электричке, и да, Яс преспокойненько ездил на электричке, вместе со всеми простыми людьми, которые ездят на электричках, почему бы и нет, он такой же человек, как и все, такой же грешник, такой же раб Божий, он даже пижонить перестал, не совсем перестал, но почти перестал, пижонство свое умерил, или хоть немного умерил, в меру – умерил, и если с Димочкой еще встречался, то, во всяком случае, от нее втайне, клялся ей, что больше уже никогда, и соблюдал все посты, на Пасху вместе с ней ходил ко всенощной, читал отцов церкви, и Флоренского, и Сергия Булгакова, и еще она не помнит, что именно, а как долго это у него длилось, она не знает, она же уехала, а когда снова с ним встретилась, здесь (она показала широким жестом на корты и клумбы, как если бы они вот здесь и встречались с Ясом, через много лет, когда же? в девяностые годы), уже он ни о какой вере не заговаривал, а если она заговаривала, отвечал своей самой ехидной усмешкой (я ведь помню его усмешку?); что же до отца Константина, то об отце Константине он, Яс, ей, Маре, рассказывал, да, ужасные вещи, да, вот здесь, уже здесь (она вновь показала на клумбы, корты), в девяностые годы.

К этим клумбам, за эти корты и парники я сам отправился, сообщив ей, что должен, как некогда, *решить державинский вопрос*, из смутной темноты и укрытости Параванга ступив в сплошную ветреную мокрую темь; когда возвратился, она сообщила мне, в свою очередь, что и ей бы надо *поговорить с Гаврилой Романьичем*; потом, подумав, что и во мне было что-то хоро-

шее... Во мне или не во мне, но та наша первая московская прогулка вспоминалась нам как что-то хорошее, смешное, милое, давнее; я был уверен, что и она ее вспоминает, сидя рядом со мною на ужасно узкой, безжалостно жесткой скамейке Ветрощита. Ее седые волосы были от меня совсем близко. Они были когда-то неестественно белыми, потом стали естественно черными, теперь стали естественно седыми, витыми; но их запах я узнавал. В них прятались мелкие капельки, принимавшиеся светиться, когда за стеклами Параванга проезжала машина; потом, в фонарной мгле, затухали; отливала стальным ровным блеском. То ли у нее уже были тогда те же духи, что сейчас, то ли похожие, то ли это была смесь похожих духов с ее природным запахом, который я помнил. Я подумал, что если бы сейчас поцеловал ее, даже не в губы, а просто в щеку, я бы узнал и вспомнил еще больше, той бессловесной памятью, на действия и проявления которой мы обычно не обращаем внимания. Ветер бил в стекла, что-то рядом с нами ударялось и всхлипывало. Неужели мне захотелось поцеловать ее, вопреки всему, спустя жизнь (как тогда когда-то, на беляевско-бирюлевском балконе)? Мне этого совсем не хотелось; я подумал, я помню, что лучше мне прямо сейчас спросить у нее что-нибудь, иначе я все-таки ее поцелую. И это было, пожалуй, самое странное; и она это чувствовала; и я чувствовал, что она это чувствует.

Они здесь, значит, встречались, в девяностые годы? Встречались, пару раз, ответила примирным голосом Мара, по-прежнему, впрочем, булькая в темноте Jägermeister'ом, брэнча своими браслетами. Он начал приезжать сюда, в Бельгию и Голландию, когда границы открылись... А ведь она знала, что мы с ним ездили в Амстердам в 1995 году, она даже хотела приехать к нам из Брюсселя, но он строго-настрого запретил ей это делать, все боялся, чтобы я не узнал об его предательстве... Значит, их роман продолжался? Да нет, какой роман? Просто встречались пару раз, втайне от всех, то в Генте, то в Брюгге. В Генте смотрели, конечно, алтарь, в Брюгге – каноника ван дер Пале. Он любил все это, Яс. Он правда любил все это, до самого конца, совершенно искренне, даже как-то по-детски. Если он что любил, так раннюю фламандскую живопись, и ван Эйка, и Рогира, и этого... как его?.. Кого он любил из людей? Своих дочек. Наверное, своих кишиневских родителей, которых мы не встречали... Тебя, уroda, он тоже любил (помолчав, проговорила Мара, прихлебывая в темноте Jägermeister); тебя, уroda, он, по-моему, в самом деле любил, совсем не так, как всех этих *димочек* – и всех этих дамочек, каких у него было пруд пруди, скорее уж как своих дочек, а вот за что он любил тебя, этого понять невозможно. Ты его тоже любил, ну еще бы, кто б сомневался? Поэтому ты его и не знал. Что смотришь? Все равно ничего не видно. Темь, и мокредь, и ветер бьется в стекла Параванга. Настоящая Бельгия, чтоб ей... Тех, кто нас любит, мы на самом деле не знаем, и тех, кого мы сами любим, мы тоже не знаем. Мы их придумываем. И ты придумал себе расчудесного Яса. А он играл с тобой, да. Любил и все же играл. Рассказывал тебе, какая я плохая, какая я истеричка, говорил тебе, что с девушками, подражающими Цветаевой, каши не сваришь, что они все такие, сделанные, искусственные, в конечном итоге банальные, и я знала, что он это тебе говорил, он предавал тебя, пересказывал мне ваши беседы, а мне самой втюхивал в то же время, что мои стихи замечательные, что подражательно-цветаевское с них сползет, пройдет и забудется, а что в глубине их есть чистый лиризм, чистейшее пламя, и что он видит, как оно пробивается, поднимается... А я ему верила (говорила Мара, уже почти растроганным – может быть, от Jägermeister'a – голосом; даже и седина ее, в мокрой фонарной мгле, отливала не столь стальным блеском, оттаяв, следовательно, и потеплев вместе с хозяйкой); верила, как полная дура. Он дарил мне книги. Он дарил мне и цветы, и духи, и все прочие джентльменские пошлости, дамские глупости, но он скоро понял, что мне плевать на цветы, даже и на духи. Вдруг заявился ко мне с антологией Ежова и Шамурина 1925 года. Помнишь, была такая? Нет, не помнишь, где тебе помнить? Ты и в руках ее небось не держал. А это была знаменитая антология 1925 года, толстенная книга, где были собраны все поэты того времени, по направлениям; последняя такая антология в Совдепии. Ей цена была на черном рынке рублей, наверное, сто,

как за «Архипелаг Гулаг». Она у меня до сих пор есть. Он знал все это, Яс. Ты же помнишь, как он читал стихи? Он помнил все наизусть, всю антологию Ежова и Шамурина, включая «крестьянских поэтов», «пролетарских поэтов». Нет, «пролетарских поэтов», наверное, не всех, но уж символистов и «предшественников символизма» помнил всех целиком. И всего Рильке, всего Бодлера, по-французски и по-немецки. А ведь он был простой мальчик из Кишинева, из очень обычной, очень еврейской семьи. И знаешь, он всегда хранил верность чему-то. Он время от времени перечитывал «Хулио Хуренито», такую-то книжку хоть помнишь?

Я помнил такую книжку. Мне только в голову не приходило связывать ее с Ясом. Ну еще бы, с тобой он говорил о Гете (произнесла Мара, почему-то с отвращением выговаривая: Гётэ). А это был последний писк модерна у них там, в Кишиневе. И ему, похоже, еще подростком понравилось, что там главный герой – Учитель, с большущей буквы, как сам автор, не стыдясь, его называет. Он же всегда хотел быть Учителем, Яс, с буквы вот такой огромной, с вот такого У, до самых небес (говорила Мара, смеясь в темноте, вытягивая вверх руку, чтобы показать мне, каким огромным было бы это У, если бы он, Яс, стал тем, кем хотел). Потому что он ведь не стал кем хотел, кем должен был стать. Не справился, не сумел. Сам понимал это. Страдал от этого, не мог простить себе этого. А она, Мара (говорила Мара, по-прежнему смеясь в темноте, брэнча браслетами, булькая Jägermeister'ом), так за всю жизнь роман «Хулио Хуренито» до конца и не дочитала, по причине его (не Яса, а «Хулио Хуренито») вопиющей бездарности. Яс-то был талантлив во всем. Он начинал как художник, Яс, ты это знаешь? Ты вообще ничего не знаешь. Он начинал как художник (говорила Мара, булькая Jägermeister'ом), и он ей показывал свои рисунки, совершенно прекрасные. Мне, дураку, не показывал, а ей показывал, и не один раз ей показывал эти рисунки, и даже водил ее к своему приятелю, собирателю китайских свитков, японских гравюр, такому узкобородому, у которого, она не знает уж почему, помимо гравюр и свитков, хранились большие папки с его, Ясовыми, рисунками. И нет, как того приятеля звали, она вспомнить не может. Он ее любил, потому и водил туда, потому и показывал. И она его любила, и это самое важное, что у нее вообще было в жизни. А рисунки были такие... такие прямо леонардовские, вот они были какие. Он же был чуть-чуть Леонардо, Яс. У него было к жизни леонардовское любопытство, он сам говорил так. Он хотел понять, как вообще все устроено. Как устроены люди, картины. Он ходил в анатомический театр. Не знал и этого? Ты не знал ничего. Он ходил в анатомический театр; он говорил, что художник должен изучать анатомию, и что искусствовед тоже должен изучать анатомию, и неудавшийся художник, удавшийся искусствовед тоже должен изучать анатомию. Это очень на него похоже. Открыть и посмотреть, что внутри. Он говорил, что там, внутри, целый мир. Что там, внутри, такая же красота, как на небе в звездную ночь. Нет, она, Мара, не ходила с ним, вот еще! Она, может быть, и хотела пойти с ним (говорила Мара, брэнча и булькая в темноте), хотела, да, и он, Яс, твердил ей, что поэт тоже должен изучать анатомию, тоже должен знать, как все устроено и что у него внутри, но ей плохо делалось при одной мысли, что у нее самой где-то там (она ткнула себе в живот) есть печень, есть селезенка. Смейся, смейся, придурок. Она знала, что сразу грохнется в обморок, потому и не ходила с ним ни в какую анатомичку. А так она всюду ходила с ним, ничего больше и не хотела, как только идти с ним куда-нибудь, ехать куда-нибудь. А на рисунках его никаких внутренностей не было, ты придурок все-таки, придурком был, придурком остался, на рисунках были люди и лица, много людей, много лиц, с разными выражениями. Это он так изучал их. Кто тебе сказал, что он бросил? Может быть, он бросил, а может быть, и не бросил, продолжал рисовать до конца, для себя. Просто никто не знал об этом. Он же был сама скрытность. Он занимался чужими делами и знал все обо всех. *Помогательный?* Да, что-то было такое... Он знал все обо всех, никто не знал о нем ничего, или почти ничего, и ему это нравилось, ему это давало ощущение власти, а он любил ощущение власти, мы все любим ощущение власти, я тоже люблю ощущение власти (булькая,

говорила Мара), и ты любишь, а если говоришь, что не любишь, то, значит, обманываешь себя. А уже нечего себя обманывать, уже все скоро закончится.

Он бросил, если бросил, и никому ничего не показывал, вот только ей, а больше, она думает, никому, потому что он не знал *как*, не находил своего стиля, не хотел быть подражателем. Считай, что это мои догадки. Считай, что хочешь, какая мне разница? А чтобы найти свой стиль, нужно, пардон за пафос, жизнью пожертвовать. А он жизнью жертвовать не хотел, слишком много было в жизни соблазнов. Он так удачно женился, на дочке такого члена, такого богатого, такого влиятельного. Да она и сама бой-баба, Тамарка, к тому же русская, к тому же с московской пропиской. Еще помнишь все эти советские глупости (говорила Мара, брэнча, булькая, раскачиваясь на узкой скамейке), все эти прописки, пятые пункты? Ты, может, помнишь, а я уже начала забывать. А ведь это была наша жизнь. Наша поганая, погибшая жизнь. Московская прописка – предел мечтаний кишиневского мальчика. За московскую прописку кишиневский мальчик готов был на многое. Да считай, что хочешь, пускай и это будет моими догадками. Он современную живопись презирал всеми силами души своей, и умиривший соцреализм, и зарождавшийся соцарт, и, тем паче, пейзажики-натюрмортики, которые не соцреализм и не соцарт, а черт знает что, вне стиля, вне времени. Самым интересным, но и самым отвратительным, по его словам, оказывался все же соцарт. Что, между прочим, не мешало ему дружить с отцами-основателями этого самого соцарта, покупать их картины, переправлять их вместе с иконами за границу. Он знал их всех – всех, кто теперь продается за миллионы, и если не за миллионы, то за многие тысячи, – и Кулакова, и Штернберга, и Безбулатова, дружил с ними со всеми, бывал у них в мастерских. Да она вместе с ним, Ясом, была у Кулакова на чердаке, смотрела эти... как их там?... *инсталляции*. Кто когда выносит мусорное ведро... Инсталляции он не покупал, а картины какие-то покупал. Втайне смеялся, а гешефт все-таки делал. Был умнее всех, сразу понял, к чему все идет. А на какие, ты думаешь, денежки (какие *бабки*, какие *баили*) его младшая дочка Анечка содержит галерею в Лос-Анджелесе? Его старшая дочка Верочка вся в семье и детях, а младшая дочка Анечка вся в картинах и деньгах. В деньгах или де^нгах? как правильно? Ну, в общем, она и в том, и в другом, и Казаков у нее выставлялся, и Бекбулатова она продает, и даже Лучо Фонтану (ну этого, который резал свои холсты) она продает, и даже ретроспективу Дэвида Хокни она делала, или не делала, или собиралась делать, или еще как-то так, и это все идет от Яса, от кого же еще, у Яса уже в девяностые годы все было *схвачено*, и в Амстердам (говорила Мара, раскачиваясь) вы не просто так ездили, то есть ты-то просто так ездил, как известный придурок, а он ездил, потому что со стариком Гараджиевым ему нужно было увидаться, и в вывозе гараджиевского архива он тоже участвовал, и нажился на этом неплохо, и это я знаю (говорила Мара), а ты не знаешь, потому что ты вообще ничего не знаешь, потому что ты ходил небось к амстердамским девкам, куда он обдeldывал свои делишки, и даже если ты не ходил к амстердамским девкам, то все равно ты урод и придурок, торчал, наверно, в музее, а он звонил мне в Брюссель, когда обделал свои делишки, и я хотела к вам приехать в Голландию, но он не позволил, вот так-то.

А что до *отца* Константина, *твоего тезки*, то отец Константин был, конечно, стукач, как все попы в то прекрасное время, и даже не просто стукач, как все попы в то прекрасное время, но прямо, как только избранные попы, кагэбэшник, и это, да, ей Яс рассказывал, да, уже здесь, в девяностые годы, и она ему верит, еще и потому ему верит, что не один Яс ей это рассказывал, но это потом, много позже, и Настя ей подтвердила. Настя – настоящая; может быть, только она одна. Помнишь Настю? – Я помнил. – А помнишь, был такой Герман? Такой Герман, коллекционер картин, один из самых известных в Москве. Такой басистый, страшно худой. Очень мерзкий. – Я помнил и Германа, я только представить себе (опять же) не мог, что Мара была с ним знакома. Еще бы она не была с ним знакома, она еще до всякого Яса была с ним знакома. Этот Герман был кагэбэшник из кагэбэшников, она знает точно; неважно, откуда она знает, но она точно знает, безо всяких сомнений; он был чуть ли не подполковник, этот Герман, а

если не подполковник, то уж наверняка майор, и этого Яс не знать не мог, она уверена, это, по мнению Яса, она уверена, была его, Ясова, *рука в комитете*, только тут он, Яс, просчитался, он ведь по-своему был тоже наивен, не так наивен, как некоторые придурки, но и в нем было что-то наивное, даже что-то детское, до конца жизни. Он пускался во всякие тяжкие, во всевозможные авантюры. Все играл, все хитрил. Думал, что можно перехитрить кагэбэшников, переиграть железных *феликсов*, стальных *германов* и прочих *яго* \grave{d} со всеми остальными *ежами*. Да, его словечки, чьи же еще? А переиграть *яжей* почти невозможно, уж она-то знает, о чем говорит... А этот Герман сам вдруг заделался православным, страшно воцерковленным, совершеннейшим *свечкодуем*, противно было смотреть. И тоже ездил к отцу Константину. Вместе с Ясом они к отцу Константину и ездили. И она с ними ездила, не на электричке, вот еще, а на «Волге» этого Германа, а потом уехала в Бельгию с Филиппом, и Герман ей помог уехать, следует отдать ему должное... впрочем, это неважно, это уже... другая история, а Яс попался, да, Яс попался... и нет, она точно не знает, на чем и как он попался, там что-то было, опять же, с иконами, и валютой, и всем прочим, что Софья Власьевна так нежно любила... да, было что-то с иконами, с какими-то вывезенными, или не вывезенными, недовывезенными, перехваченными на границе иконами, и в итоге они взяли его в оборот, Герман и отец Константин, стучи или сядешь, вот так-то. Вербовал Герман, *отцы Константины* не вербуют, только ниточки дергают, из-за иконостаса. И – что же? И Яс от них откупился. Можешь верить, можешь не верить. Яс от них откупился, за какую-то сумму, прямо астрономическую, гиперболическую, ядерно-реактивную. Сам потом ей рассказывал. Не откупился бы, наверное, но началась уже перестройка, и все пошло в другую сторону, в тартарары и в черт-знает-куда. Пошло-полетело. Да уж, при Андропове не удалось бы ему откупиться. Будем считать, что повезло ему, он и сам так считал. А в девяностые он снова разбогател, и дочек отправил в Лос-Анджелес, и младшей, Анечке, купил галерею. И да, все это отвратительно. Мерзко, тошно. Как, *коломятно*? Нет, она этого слова не помнит, я ее с кем-то путаю из своих девок. Что это еще за слово такое? Конечно, она лгала мне. Конечно, ее жизнь так же ничтожна, убога и беспросветна, как любая другая жизнь. Такая же *долбаная жизнь*, как любая другая. Мы думаем в молодости, что будет жизнь невероятная, что будет не жизнь, а сказка... Как же, сказка! *Сказка моей жизни*, да, да, слышали.

Допивая, не без моей помощи, *Jägermeister*, принялась она так сильно раскачиваться на узкой ветрощитной скамейке, что казалось, вот сейчас с нее свалится; все-таки не свалилась; видимо, успокоилась; по-прежнему стальным теплым блеском отсвечивали в темноте ее волосы. *И вся ваша жизнь в белых туфлях прошла...* Это Настя пела, ее подруга. Я ведь помню Настю? Я помнил. Настя – настоящая; только она одна. Настя теперь в монастыре. Вот, может быть, в ее жизни какой-то был смысл. В ее, Мариной, не было. А как она в таком виде доедет до Остенде, совершенно не имеет значения. Ей не впервой. – Только ты не думай, что я здесь спиваюсь. Это я *так*, по случаю нашей встречи. Давай, Костя, поцелуемся на прощание... И это было, сквозь лифтинг, и старость, и злость, наконец, когда я к нему приблизился, то живое, квадратное и простое лицо, которое мне когда-то так хотелось взять в руки, поддержать, согреть, в ладонях. Я забыл это лицо. Я знал, что оно есть; но я не помнил его той бессловесной памятью, которая одна только и может, наверное, нам возратить на мгновение навсегда нами утраченное. Я теперь его вспомнил. И мои руки, даже сквозь дутую кацавейку, тоже вспомнили очертания ее тела. Нет, скажем честно, не сквозь кацавейку, а под кацавейкой. Кацавейка была расстегнута; мои руки сами собою оказались под нею. Там был тот же изгиб спины, выгиб бедра, который, как выяснилось, мои ладони помнили все эти тридцать пять лет. Я забыл, а ладони мои не забыли. – Я тебя даже не расспросила о твоей *долбаной жизни*, – проговорила она, отстраняясь. – Когда-нибудь, ответил я, в другой раз (прекрасно понимая, как и она понимала, что никакого *другого раза* у нас с ней не будет).

Не помню, что я сказал Жиж, возвратившись в наш замечательный апартамент с видом на вечные экскаваторы, все никак не прекращавшие своей героической деятельности по превращению песчаной пустыни в песчаные горы и гор обратно в пустыню, в беспощадном свете прожекторов; наверное, что-то я сказал ей банальное, в том смысле, что разговор был интересный и я узнал много нового. А что мне было делать теперь с этим новым? А почему нужно что-то делать с ним – спрашивал я себя. Разве то, что мы, довольно условно, называем жизнью (*долбаной* или нет), ставит нас перед какой-то задачей, разве это не есть простая данность, ничего от нас не ждущая? Я узнал о Ясе то, что узнал, во что еще не мог поверить, не готов был поверить, во всяком случае, не в силах был связать с тем, что знал о нем до сих пор. И что теперь? И вот теперь это так. Я пытался вызвать в себе чувства, которые, наверное (нет, наверняка), испытал бы тридцать пять, или тридцать, или (я думал) даже двадцать пять лет назад (в пору нашего с Ясом амстердамского путешествия), если бы тогда узнал правду, – вызвать в себе обиду, ревность, что еще? – но я не испытывал (теперь, в марте 2020-го) ни ревности, ни обиды, вообще ничего, кроме, конечно, печали. Печаль была такая, что я не понимал, как с ней справиться, как завтра встать, говорить с Жиж, ехать домой. Прежде всего, решил я, надо выспаться; поколебавшись, проглотил полтаблетки снотворного, которое всегда вожу с собой на самый крайний случай самой сильной бессонницы. Это было решение глупое. Снотворное и не думало действовать – то ли потому, что я сам не мог перестать думать, то ли потому, что сочетание с Jägermeister'ом ему не понравилось. Жиж спала, я снова не спал, как в Льеже. Я выбрался из тихой задней спальни, где с презрением к моей бессоннице горел, потом гас, потом вновь загорался красный огонек обогревателя, отвалившийся от него вместе со всем термостатом, но продолжавший следить за мною во тьме; сел в кресло в гостиной, перед стеклянной стеной, выходившей на море, все так же незримое, неосязаемое за прожекторами, экскаваторами, тракторами, песчаными пустынями и горами.

Вдруг все это смолкло. Смолкли экскаваторы, заткнулись наконец тракторы, прожекторы погасли, снова вспыхнули особенно злобным светом и погасли уже всерьез, до следующей ночи. Я выключил лампу, чтобы не видеть ни ее, ни своего отражения. Зато я видел теперь далекие огни двух или трех кораблей, где-то там, посреди необъятного, но не сплошного мрака, лицом к лицу с которым я оказался. Теперь оно было там, море. Оно теперь шумело, двигалось, вздыхало, ухало, иногда погромыхивало, погрохатывало, посвистывало, даже как будто посапывало (или это ветер бился в стеклянную стену?); и в небе над ним обнаружились извилистые узкие прорезы, пропускавшие яркий лунный, несколько не желтый, скорее сизый, сизо-зеленоватый свет, бросающий на воду протяжные отблески, такие, на мгновение, ясные, что я различал в них и волны, и гребни, и бурную быструю пену. Как хорошо ты, о море ночное, здесь лучезарно, там сизо-темно... А как Яс читал Тютчева... Разве я могу забыть это, не думать об этом с благодарностью, с нежностью, в печали и смягчении сердца? Ты же помнишь, как он читал стихи? Еще бы я не помнил, Марочка, как он читал стихи. Он читал их все подряд (или так мне казалось в мои шестнадцать, семнадцать лет), просто подряд всего Тютчева, всего Мандельштама. Не просто он прочитал мне подряд всего Мандельштама (или так мне тогда казалось) и не просто дал мне (надолго; не подарил, но дал очень надолго) американский, драгоценнейший (какого ни у кого больше не было) трехтомник Мандельштама (так что я и запомнил заветные тексты в той редакции, в которой они были там напечатаны, и сколько бы ни рассказывали мне с тех пор разные умники, что там, мол, такая-то строка перевернута и такие-то перепутаны варианты, мне на это решительным образом наплевать, в гробу видал я всех этих умников, я сам главный умник, я только спать не могу, и снотворное с Jägermeister'ом дают в душе моей адскую смесь), но главное: *как* (думал я, лицом к лицу с ветром и темнотой) – главное: *как* он читал стихи – и Мандельштама, и Тютчева, и потом Рильке, Бодлера, потом какие-то чудные старинные французские стихи, которых (как мне тоже тогда казалось) вообще никто не читал, и Дю Белле, и Карла Орлеанского (современника ван Эйка и Рогира). Ведь все

дело в интонации. Ведь важнее всего прочего – верный тон, ясный звук. Он показал мне эту интонацию, научил меня этой интонации. Я стал слышать этот звук, этот тон. А ведь мог их и не расслышать. Остался бы глухим на всю жизнь.

И что же мне теперь... попытаться его разлюбить? Я не могу, не хочу. Не смог бы, даже если бы вдруг захотел. Не дождешься, Марочка, фиг тебе. Но как же (как же и как же) я ничего не заметил, не заподозрил? Не хочу думать об этом; не могу не думать об этом. Мы не властны над нашими мыслями. Мы хотим думать о Тютчеве, а думаем о скандалах тридцатипятилетней давности, об изменах на заре нашей жизни. Так что же (вопреки себе думал я, не мог не думать я, лицом к лицу с темнотою и проблесками): что же, эти идиотические скандалы, которые она мне закатывала, были игрой и притворством? Эта сцена у Анжелины Бес, в коммуналке возле Палашевского рынка, эти белые тапочки, эти крики на станции с поэтическим названием Мичуринец, эти взывания к патлатым мордovorотам дать наконец по роже интеллигенту? Я и считал это игрой, притворством, позерством, но я потому считал это игрой, позерством, притворством, что все в ней считал притворством, позерством. Выходит, это было притворство сознательное, позерство намеренное? Я думал, она вообще не умеет вести себя иначе в силу природной лживости и ввевшейся в нее фальши. Выходит, она умела? А как она вела себя с Ясом? На той единственной посиделке, где, мне кажется (но теперь я уже ни в чем не уверен), мы были с ней вместе и где Яс говорил о том, как могло искусство от ван Эйка и Рогира дойти до Малевича и Дюшана, пасть так низко и свалиться в такую бездну, – на этой посиделке она ломалась, кривлялась, как ломалась и кривлялась всегда, такую же напускала на себя неприступность, какую напускала во всех, особенно незнакомых, компаниях, так же всем показывала, какая она особенная, какая – *Марина*. Наверное, наедине с Ясом все уже было иначе (думал я, в неодолимой печали). Наверное, Яс ее приручил, усмирил (чего мне сделать не удалось). Или она действительно его полюбила (если теперь не врет). Или врет? А зачем ей врать? Или она самой себе врет? Сама себе врет и сама себе верит? Придумала себе прошлое и верит в это прошлое... как я верю в свое, в придуманное мной для себя? И кто из нас прав, кто знает правду, кто может ее удостоверить, за нее поручиться? А ведь правда – есть; правда все равно существует, даже если мы не знаем ее. Потому что мы или смотрели тот фильм втроем, как она утверждает, или я его смотрел вдвоем с Ясом, как это мне по-прежнему помнится. Было или так, или эдак, даже если никто (вообще никто, никакой бог, никакой декартовский демон) теперь уже не знает, как – было.

И нет (нет и нет), как ни напрягал я зрение и память, всматриваясь в ночь и небесные отблески, нет, я не видел нас, меня и Мару, едущими к Ясу на дачу, смотрящими втроем с ним черно-белых, бесконечно-печальных, бесконечно-прекрасных *чаек* (умирающих в гавани). Я помню, никогда не забуду это кино для членов и академиков, эту крапчатую киноленту, эту тревожную музыку, эти газгольдеры и пакгаузы, эти портовые краны, этого гибнущего героя в экзистенциалистском плаще, и я точно помню, что мы смотрели все это вместе с Ясом. Никакой Мары не вижу, не помню. Стою на том. Не могу иначе. Пускай мир провалится... А вот в парке на Воробьевых горах, где я шел с моей сокурсницей Таней, чудной девочкой, любительницей Платона, – там это были, значит, они? Эти двое, уходившие куда-то в сторону, вдаль и прочь, по боковой аллее, сквозь светящуюся листву, – это были все же они, Яс и Мара? То, что я всю жизнь считал игрой и фантазией, вовсе не было ни фантазией, ни игрой? То, что мне казалось моей выдумкой, было правдой, а выдумкой была моя вера в то, что я это выдумал? Я не поверил своим глазам, зато поверил, как полный дурак, в чьи-то чужие рассказы, в где-то вычитанные слова, что вот-де несчастному влюбленному должна повсюду мерещиться его мучительная возлюбленная; как дурак, поверил, что она мне мерещится (потому что должна мерещиться), а она вовсе не должна была мне мерещиться и вовсе не мерещилась мне, а в полную заправку шла там, по парку возле университета, вместе с Ясом, под ручку или в обнимку (не могу теперь вспомнить, и в последнюю бланкенбергскую ночь, прислушиваясь к грохоту

моря, свисту и сапу ветра, не мог вспомнить, в обнимку, под ручку ли... сперва под ручку, после в обнимку), – взаправду шла там, вместе с взаправдашним Ясом, готовясь насладиться или уже насладившись видом со смотровой площадки на всю Москву, лежавшую у их ног, со всеми ее башнями, всеми ее куполами, солнечной дымкой над крышами...

А ведь еще было что-то... какие-то телефонные звонки вдруг у Яса, и потом вдруг у Мары, когда он смотрел на меня, сняв трубку, и быстро говорил в эту трубку, что *да, да, он перезвонит, перезвонит...* и что-то было в его лице необычное, непонятное, и я, конечно, не мог у него спросить, кто звонил; и на другой день Мара, тоже сняв трубку, тоже смотрела на меня непонятными, неприязненными, не испуганными, но все-таки настороженными глазами, и очень громко, очень решительно объявляла: *ошиблись номером, здесь таких нет*, а затем все поглядывала на телефон, словно дожидаясь, когда я уйду и она, в свою очередь, сможет перезвонить наконец *ошибшемуся номером*, кто бы он ни был, и я понимал, что нет ни малейшего смысла спрашивать у нее, кто же он был, что она мне все равно не ответит, только разозлится еще сильнее; и была какая-то выставка, на которую рвалась *вся Москва*, которая и называлась *Москва плюс Париж, Москва – Париж*, вот как она называлась, и я, кажется, так и не попал на нее, если это была она, и если это была не она, а какая-то другая выставка, то это уже неважно, уже никакого значения не имеет (думал я, в непреходящей печали, вглядываясь в небесные прорези), и во всяком случае он, Яс (вот это я помню точно), сказал мне (в понедельник, во вторник), что был там (допустим) в субботу, на этой выставке (*Москва уж, Париж ли*), и потом (во вторник ли, в среду) она, Мара, сказала мне, что была там (допустим) в субботу, и когда я спросил ее, не встретила ли она на этой выставке паче чаяния Яса, посмотрела на меня опять непонятными – и непонимающими, настороженными глазами и долго, возмущенно отказывалась вспомнить, кто такой – Яс, о ком я говорю и чего хочу от нее, и мне пришлось объяснять ей, что я так называю Якова Семеновича, у которого мы с ней были на *посиделке*, ну как же... тут она зримо вспомнила, состроила презрительную гримасу, покусала костяшки пальцев, поводила вверх и вниз желваками, потом объявила, что, нет, она ходила на выставку *с папой и мамой* (а я ведь и не спрашивал, наверное, с кем она ходила туда; я спрашивал, встретила или нет) – нет, нет, никакого Якова Семеновича там не встречала, вот еще, нужен он ей, и что там была такая безумная давка, что никто никого и не мог там встретить, мог только с кем-нибудь, к примеру, столкнуться – и она действительно столкнулась, уже у выхода, с толстым Андреем.

А разве Яс не сказал мне однажды, что передо мною он – виноват? Он сказал мне это ясно и прямо, да только я не услышал. Я зашел к нему не совсем *без звонка* (как в ту пору еще было принято, и если уже не совсем было принято, то, по крайней мере, еще было возможно; мы с Марой иногда заходили так к Анжелине Бес, к Аняте, к тому же Андрею; к Ясу так все же было зайти нельзя), но позвонив ему из телефонной будки по соседству с его домом, так и так, мол, Яков Семенович, я здесь рядом, нельзя ли зайти к вам? Он ответил безо всякого энтузиазма, тусклым голосом, заходи, *так и быть*. Он не сказал *так и быть*, но в голосе его это *так и быть* звучало слишком отчетливо. А мне слишком хотелось зайти, так что я этим не сказанным *так и быть* пренебрег, о чем сразу и пожалел, уже у него в прихожей. Это было вскоре после моего возвращения из Ленинграда (как он в ту пору еще назывался), вот (мне кажется) когда это было; вскоре и совсем вскоре после той короткой, безумной, на один день и две ночи, поездки в насквозь (как ему это свойственно) продутый балтийским ветром и залитый дождем Ленинград, когда, стоя в Эрмитаже перед Рембрандтовым «Блудным сыном», я решил во что бы то ни стало изменить свою жизнь, выкинуть любой фортель (уйти в лесники, моряки) – и потом, вернувшись в Москву, оказался в той самой жизни, с которой решил порвать, и еще никакого выхода из нее не наметилось (он только летом наметился), и я скитался (*сачкуя*, прогуливая занятия, к сессии не готовясь) по весеннему, но тоже холодному, ветреному, неприязненно-темному городу, и в какой-то из этих дней (так мне помнится) заглянул (действительно *без звонка*) к Анжелине Бес в ее коммуналку (не застал там, как, наверно, надеялся, Мару, в ту

весну меня уже избегавшую), потом пошел по Большой Бронной улице, перешел через Малую, дворами вышел на Спиридоновку (тогдашнюю улицу Алексея Толстого), потом на Никитскую, одну и другую, оказавшись в итоге возле Ясова дома, не без тайной, наверно, надежды поговорить с ним о Рембрандте и о моем решении *отчебучить* что-нибудь несусветное.

Уже в прихожей стоял запах скандала. Еще стояла там Тамара Сергеевна, в малиновом весеннем пальто, в явной ярости, перед зеркалом. Дверь мне открыл Аркаша, с лицом тоже малиновым. Открыв дверь, он остался стоять в проеме другой двери, в ближайшую к прихожей комнату, где вообще-то жили Ясовы дочери. Их там не было, а в глубине квартиры слышались голоса. Аркаша стоял потупившись, крутя пальцами и встряхивая своими роскошными романтическими кудрями, похоже, собираясь сказать Тамаре Сергеевне еще что-то важное, когда я наконец надену тапочки и удалюсь из прихожей. Я тапочки надевал очень долго, не потому что хотел его позлить или ему помешать, а потому что растрепавшийся шнурок одного из моих измученных ходьбою по мокрым российским столицам ботинок (правого? левого? вот этого уж никогда я не вспомню) никак у меня не развязывался, застыл тугим узелком, который все не удавалось мне расцепить еще озябшими пальцами. А у Тамары Сергеевны пестрый шелковый шарф никак не хотел повязываться с тем изяществом, которого, видно, добивалась она от него. Наконец она дернула головой, распустила, едва не разорвала чертов шарф, так что он оскорбленно повис у нее на плечах, распахнула пальто на по-прежнему имперской груди и, метнув презрительный взгляд в Аркашину сторону, едва кивнув мне, вышла на лестничную площадку, патетически хлопнув за собой тяжелой квартирной дверью. Аркаша смотрел на меня с ненавистью; когда мы прошли в гостиную, уселся немедленно за рояль, все такой же бехштейновский; тряхнул волосами; взял один аккорд и другой; на третьем Яс громко сказал: давай попозже; Аркаша захлопнул рояльную крышку едва ли не с той же яростью, с какой Тамара Сергеевна только что захлопнула дверь. В гостиной, кроме Яса, был только *Димочка*. Димочка сидел на исторической кушетке (самой карельской березы, с блестящими, выгнутыми вонне подлокотниками), не просто развалясь, но прямо раскинув ноги по (тоже историческому) ковру с такой наглостью, какой я не предполагал в нем в наши с ним прошлые встречи. На Аркашу посматривал он с издевкой. Яс, из своего царского кресла, смотрел на них обоих с, опять же, не понятным мне ни теперь, ни тогда выражением, в котором (думал я, всматриваясь в океанскую бельгийскую ночь) все смешивалось: и печаль, и раскаяние, и раздражение, и еще что-то, чего я не мог определить ни тогда, ни теперь. Вообще, не понимал я, что происходит. Это *еще что-то* в лице у Яса было, пожалуй, смирением, терпением, может быть – искренним (думал я в бельгийскую ночь), может быть – напускным. Надо терпеть – я терплю. Надо смириться – вот я и смиряюсь. Но как же вы мне все надоели...

Они, видно, так уже ему надоели, что, встряхнувшись с моим появлением, он пустился рассказывать анекдоты, как это бывало ему свойственно, один другого рискованней, смешнее, глупее. Андропов звонит Брежневу на тот свет. – Ну и наследство, Леня, мне от тебя досталось. – Замолчи, Юра, это не телефонный разговор... Потом он встал и объявил, что должен убрать квартиру. Да, он должен убрать квартиру, потому что их всегдашняя верная, замечательная домработница заболела всерьез и надолго, а другая домработница не пришла, подвела, обманула, а третья пришла, но оказалась воровкой, стащила один раз серебряные ложки, чего они с Тамарой даже и не заметили, а в другой раз – брошку из Тамариной спальни, и тут уже появились у них подозрения, когда же в третий раз пропали подсвечники, то уж никаких сомнений ни у кого не осталось и четвертого раза не было, зато была четвертая домработница, которая... с которой я не помню уже, что случилось. В общем, вокруг сплошной обман, сплошная измена. И в общем, да, он сейчас будет убирать квартиру, потому что он не может больше жить в такой грязи и пыли, и если кто-то из нас хочет ему помочь, то вот, пожалуйста, пылесос, вот тряпка, вот швабра. За пылесос он сам взялся, сперва пылесосил в гостиной, очень тщательно, по многу раз проводя пылесосовым хоботом по одному и тому же месту, с видом

таким сосредоточенным, словно он не пылесосил, а писал «Тайную вечерю», не отвечая на ленивые Димочкины, разозленные Аркашины вопросы, что им-то делать, закрывшись пылесосовым рыком и от их вопросов, и от них, наконец, самих; потом переместился в коридор, потом в одну комнату и другую, так что рык разносился из разных мест; Аркаша, встряхивая кудрями, с отвращением взял тряпку и стал стирать пыль с самого антикварного столика, стоявшего в дальнем углу, с не менее антикварных статуэток на этом столике, которые по крайней мере он не разбил, отдадим ему должное; впрочем, он парой статуэток и ограничился, на большее его не хватило; Димочка, тоже потряхивая волосами, прямыми и белокурыми, отправился со своей тряпкой в ванную, возвратился оттуда с той же тряпкой, столь сильно намоченной, что вода стекала с нее на пол и на ковер; Аркаша, обернувшись, заметил, что если он собирается затопить квартиру, то почему бы не принести сразу ведро; Димочка пробормотал в ответ что-то типа: не учи ученого – съешь говна печеного, – и пустился вытирать подоконник, в самом деле заливая водою паркет; надолго, впрочем, и его не хватило; с девическим вздохом – ах, утомила меня эта жизнь – вновь уселся он на кушетке, опять, с отнюдь не девической наглостью, раскинув длинные ноги в *линовых* джинсах (*левисах* или *райфлах* – наверняка подаренных ему Ясом) по уже отпылесосенному (если можно сказать так) ковру, с еще зримыми каплями, оставленными его же, Димочкиною, тряпкой, теперь валявшейся на подоконнике; я наконец ушел от них обоих в Ясову комнату, где мирно, долго перелистывал, стирая с них пыль, знакомые заветные книги.

Казалось, это не кончится вообще никогда. Яс мыл потом ванную, потом мыл уборную; я сам, отнявши у него швабру, мыл пол на кухне; Аркаша и Димочка, прислонившись один – к одному, другой – к другому косяку, наблюдали за нами; потом Яс стал выбрасывать в вонючий мусоропровод, обнаружившийся в соседстве с уборной и ванной, всякие, по его мрачным словам, ненужные вещи, невнятные палки, рейки, бумаги, обертки; наконец, совсем разозлившись, бросил туда даже швабру, которой орудовал только что; эта швабра, вслед за прочими палками, рейками, летела вниз по мусоропроводу с таким стуком и грохотом, что с нижнего этажа начали тоже стучать, кричать, вопить и ругаться, – и это, странным образом, его успокоило; с шальной улыбкой и смеющимися глазами объявил он: все, будем чай пить. К чаю были чудные блинчики с мясом, приготовленные, как выяснилось, Тамарой Сергеевной; Аркаша едва к ним притронулся; Димочка сожрал бы, наверное, все, если бы Яс позволил ему. Но и я был голоден; после пары-тройки блинчиков настроение начало у меня подниматься. Яс тоже проголодался; когда мы умяли блинчики, объявил, что есть еще сырники, тоже, как выяснилось, пожаренные Тамарой Сергеевной. – Сырники обожаю! – провозгласил Димочка, вываливая полбанки сметаны на доставшиеся ему три штуки. Аркашино презрение к сырникам не уступало его же презрению к блинчикам: роковой романтик с ленскими кудрями до плеч, Шопен и Шуман в одном (если приглядеться: кругловатом) лице чужд чревоугодию и не снисходит до плотских утех. После блинчиков, сырников, косхалвы, рахат-лукума и немисливо заграничного, в золотой фольге, шоколада Lindt, извлеченного откуда-то Ясом, все подобрели: и сам Яс подобрел, надел свой уютнейший домашний джемпер на костяных пуговицах, долго набивал трубку самым пахучим, самым голландским табаком, долго ее раскуривал; и Димочка подобрел, сидел уже не разваливаясь; наверное, и я подобрел. Один Аркаша оставался прежним, кидал на любителей косхалвы и поедателей сырников демонические взоры, достойные Германна (с двумя «н»), достойные Грушницкого (на Печорина он не тянул).

Продолжим тему русской литературы. У Яса книги разбросаны были повсюду: и на кухне, и, конечно, в уборной. Настоящий интеллигент читает везде (он говаривал). Что лежало в тот день в уборной, не помню, а на кухне обнаружился Достоевский, затрепанный и толстенный том «Карамазовых», весь в Ясовых закладках, пометках. – Везде Онегина душа себя невольно выражает, – презрительно проговорил Аркаша, нарочито небрежно перелистывая великий (по мнению многих, но только не Аркашиному) роман. – Как вы можете читать это? Это же –

бульварная литература, – объявил Аркаша – и тут же пустился цитировать, каждой цитатой в Яса словно выстреливая, все то издевательское, что говорили о Достоевском Бунин, Набоков. Яс просто взял у него из рук Достоевского и положил обратно на подоконник. На лице у него было то же, тогда совершенно непонятное, теперь (после всего, что Мара рассказала мне под сенью Ветрошита) чуть более, пожалуй, понятное мне выражение (надо терпеть – я терплю; надо смиряться – вот я и смиряюсь). Наверное, к тому времени они уже побывали с Марой у *отца* Константина; наверное, и перечитывание Достоевского было связано с наметившимся Ясовым обращением. Это тоже лишь мои догадки, не более. – Только человек с дурным вкусом и безо всякого художественного чутья может наслаждаться этой чудовищной прозой, – разглагольствовал Аркаша, потрясая романтическими кудрями. – Только человеку с очень дурным вкусом и вообще безо всякого художественного чутья могут доставлять удовольствие эти псевдомистические детективы и псевдофилософские триллеры, эта сусальная набожность, эта смесь изуверства и педофильства, эти слащавые отцы Зосимы, эта пошлейшая слезинка ребеночка. Слезинка ребеночка! И выговаривать-то противно (он выговаривал это в самом деле так, словно проглотил паука). А народ-богоносец? Народ-богоносец! Какая гадость, неужели вас не тошнит?

Аркаша, может быть, и не думал того, что так патетически говорил. Ему просто хотелось уколоть Яса, и Яс это понимал, и даже я понимал, и тем более Димочка понимал. Димочка слушал, отламывая крошечные кусочки заграничнейшего шоколада Lindt, сладострастно отправляя их себе в рот, облизывая пальцы, глядя вокруг невинными развратными глазами. Подозреваю, что Димочка не читал Достоевского. Подозреваю, что Димочка вообще не читал *книжек*. Яс любил его не за это. Я же, со своей дурацкой детской привычкой говорить всерьез, когда не нужно говорить всерьез, а лучше просто молчать (я все-таки был еще очень молод и – Мара права – по-своему еще очень глуп, по-своему еще дурачок), объявил, что о художественных достоинствах Достоевского я, как философ, или как иногда-философ, как в-лучшие-свои-минуты-философ, судить не смею, но если говорить об идеях *Федормихалыча*, то у него, по моему, что ни идея, то перл. Например, его чудная мысль, что Константинополь рано или поздно, а должен быть наш. Вы же не думаете, Яков Семенович, что Константинополь должен быть наш? Хотя, наверное, там тепло, хорошо. Или что евреи спаивают русский народ? Вот вы, Яков Семенович, разве спаиваете русский народ? Вы русскому народу, кроме чая, ничего и не предлагаете. – Кстати, это мысль, – вставил Димочка. – Не угостите ли коньячком? – За коньячком, – по складам проговорил Аркаша, кивая в сторону «Карамазовых». Яс только рукою махнул, пойдя, мол, сам, принеси из гостиной бутылку (что Димочка, конечно, и сделал). – Или что во всем вообще *жидки* виноваты, – продолжал я (а лучше б не продолжал). – Что *жидки* и *жидочки* пьют народную кровь, что *жидовская идея* охватывает весь мир и что движет ими только безжалостность ко всему, что не они сами? А его собственная восхитительная идея, что если Бога нет, то все позволено? Значит (так или как-то так продолжал я, а лучше бы никак не продолжал, лучше бы просто заткнулся) – значит, Бог – надсмотрщик с палкой, который один только и удерживает нас от убивания старушек? А то бы мы пошли мозжить их направо и налево? Если Бога нет, все позволено? Наоборот, если Бог есть, то верующим в него все позволено. И даже если его нет, они все себе позволяют. Или вот еще идея (упорно продолжал я, на Яса даже не глядя; или глядячи мельком; не понимая по-прежнему и даже не пытаясь, похоже, понять, что, собственно, происходит в этой квартире, на этой кухне): если Бога нет, то какой же я штабс-капитан? Вот с этим можно как раз согласиться, это очень даже точно подмечено. Бог здесь не просто надсмотрщик с палкой, но и метафизический гарант общественного порядка (Димочка сделал большие глаза, по-видимому, получая удовольствие от незнакомых красивых слов), небесный держатель земной иерархии – той иерархии, в которой есть штабс-капитаны и просто капитаны, есть капитанские дочери, есть майоры, есть носы майоров, есть держиморды, есть пожарные трубы (Димочкины глаза расширились все больше

и больше; и пил он уже, наверное, третью, если не четвертую рюмку). А вот если Бога нет, а его нет, то я наконец свободен, я уже – не штабс-капитан, не (простите) студент, не (простите) доцент, искусствовед, доктор наук, но я – просто я, лицом к лицу с бездной.

А что, в самом деле, происходило там, на этой кухне, в этой квартире – думал я, по-прежнему вглядываясь в извивистые прорези неба, в змеение зеленого блеска, пробежавшего по гребням и волнам. Если Мара не соврала мне, если и у Тамары Сергеевны, и у Якова Семеновича был (в какой последовательности?) роман с пышнокудрым Аркашей, и у Якова Семеновича (только ли у него?) роман с блондинчиком Димочкой, то как могло быть, что они все там находились одновременно? Во что я вторгся моим звонком и приходом? И неужели я так был занят собой, своим отчаянием, своей мечтой уйти в моряки, лесники, своим желанием рассказать Ясу, как мне плохо и как я мечтаю уйти в моряки, лесники, что даже не попытался понять происходившее у меня на глазах? Наверное, я был и сам раздражен, разозлен, словно их раздражение сообщилось мне (так бывает); или я злился на себя самого (за то, что напросился в гости, так по-дурацки; за то, что не знаю, что делать со своей жизнью, с собою); или (не сознавая этого) злился на Яса (от которого так долго ждал важнейших слов, решения всех загадок; а теперь уже с такой несомненностью видел, что не дождусь никогда) – во всяком случае, я продолжал свой бессмысленный монолог, свою идиотскую инвективу, от держиморд и штабс-капитанов перешел, помню, к теме вины, к не менее, как я выразился, чудовищной *идейке Федормихалыча* о том, что, видите ли, все перед всеми за всё виноваты, каковую *идейку* обозвал я (вот это помню точно) прямой дорогой в Гулаг. А чего возиться, действительно, устраивать какие-то суды и процессы, выслушивать болтовню адвокатов, если все так и так во всем уже виноваты? Как удобно. Заставь человека почувствовать себя виноватым – и он в твоих лапах. Делай с ним что хошь. Почему не посадить меня вместо Аркаши или Аркашу, вон, вместо Димочки, если все так и так *уже* виноваты? Почему бы и Димочку не отправить на каторгу, как самого Ф.М.Д., если он виноват, и я виноват, и Аркаша виноват, и даже, Яков Семенович, вы виноваты? – Я так точно виноват, – прервал он меня. Его древнеримский подбородок со всегда проступавшей синей щетиной обозначился очень резко, агаты черных глаз обратили ко мне все свое обычно повернутое внутрь мерцание. – Есть вещи, которых ты просто не понимаешь, или пока не понимаешь, когда-нибудь, наверно, поймешь. Есть целый мир, в который, в твоём агрессивном рационализме, ты заглянуть даже и не пытаешься. То, что не открывается разуму, открывается смирению сердца. Неужели ты думаешь, что Декартово *cogito* придет тебе на помощь в час твоей смерти или что дифференциальные уравнения поддержат тебя в агонии? *Fundamentum inconcussum*? Нет, дорогой мой, нужно основание более прочное, чем твое личное маленькое сознание; нужен *камень веры*; иначе все рухнет... Что ж до антисемитизма Достоевского, то об этом он, Яс, не будет даже и речь заводить; об этом написаны десятки книг, сотни статей. И если я полагаю, что здесь можно обойтись двумя нахрапистыми цитатами, то я очень ошибаюсь, он этого даже и не ожидал от меня. А разве картины, которыми занимается он всю жизнь, только потому так прекрасны, что в них появляется перспектива и детали прописаны с такой созерцательной тщательностью? Нет, за ними стоят живая вера и подлинное стремление к Богу. Только потому и есть в них эта созерцательность, отрешенность, что божественный мир присутствует в них как неоспоримая, все преображающая действительность, что и ван Эйк, и Рогир, и вообще все они ощущали на себе тот божественный взгляд, о котором писал Николай Кузанский, их современник, ту бесконечную божественную любовь, которая обращена на каждого из нас вся целиком, вся безраздельно. А что до вины всех и каждого перед каждым и всеми, то мы ее, опять-таки, или чувствуем, или не чувствуем. Если мы ее чувствуем, то мы и знаем, что все перед всеми за всё виноваты, и это вовсе не исключает бесконечной безраздельной божественной любви к каждому из нас, грешных тварей. А если не чувствуем, то и не знаем. Если я не чувствую и не знаю, то он меня поздравляет. Он даже за меня очень рад. Все у меня отлично, и я могу идти по жизни своей дорогой, с гордо поднятой

головой. А он, Яс, знает, что он виноват перед всеми, и перед Аркашей (Аркаша важно кивнул), и перед Димочкой (Димочка просиял), и передо мной. – Передо мной-то вы чем можете быть виноваты, Яков Семенович? – Это уж мне виднее. Перед тобой я так виноват, как ни перед кем другим, наверно, не виноват. – Что же, получается, и я виноват перед вами? – Это ты можешь решить только сам, – сказал он, поднимаясь, показывая, что разговор окончен. – Спроси себя, виноват ты передо мной или нет. Никто, кроме тебя самого, на этот вопрос не ответит.

Я спрашиваю, ответа не нахожу. Наверное, и я был в чем-то виноват перед ним (чего-то не заметил, не понял; не пожалел, когда нужно было пожалеть; не посочувствовал, когда он нуждался в сочувствии; не попытался помочь, когда требовалась моя помощь). В той давней жизни у меня не было ни малейшей охоты задавать себе такие вопросы. Когда мы трое наконец были выпровожены Ясом на улицу, я просто выкинул из головы всю эту дурацкую Достоевщину (как внутренне выразился), простился с Аркашей (которого никогда, мне кажется, больше не видел; если он теперь и вправду в Лондоне, как утверждает Мара, то, надеюсь, ему там хорошо), простился с Димочкой (которого встречал потом в перестройку; но вот что с ним теперь? где он теперь?) – и пошел, в самом деле, своей дорогой (по Никитской улице, потом по бульварам), с головой, поднятой не особенно гордо, но все же и не опущенной, с не только не поколебленным, но, наоборот, окрепшим во мне решением во что бы то ни стало изменить свою жизнь (выкинуть какой-нибудь фортель, отчебучить что-нибудь несусветное); я только не знал по-прежнему, что бы это могло быть такое. Мне и посоветоваться было не с кем. Посоветоваться с Ясом не удалось, больше я не пытался. Все повисло в какой-то неопределенности, из которой я никак не мог вырваться. Как вот эта ночь (думал я в Бланкенберге), в которой все смешалось и спуталось – и далекие огни, и небесные прорези, и шум, и вздох ветра, и эти отблески, очерки волн, и эта огромная пустота, темнота. Вот это была, на пороге перемен, моя жизнь, и я, конечно же, как ни стараюсь, уже не могу ее представить себе изнутри, почувствовать изнутри; я только помню, что, встретившись (недалеко от магазина «Сантехника» на Кутузовском проспекте) с моим круглоочкастым приятелем Максом, любителем поболтать о дзен-буддистских парадоксах, я спросил его, что *он* делает, когда не знает, как дальше. Он пробормотал что-то, отвечая, мне показалось, не столько на мой вопрос, сколько на свои мысли. Он идет *в сторону сна*, так он выразился. Если у него не получается идти в сторону бодрствования, он идет в сторону сна; не получается идти в сторону света, идет в сторону тьмы; в сторону молчания, если не получается в сторону слов. Мне это понравилось. Я и сам пошел в сторону сна и молчания; я возвращался, в те весенние вечера, домой на «Юго-Западную» и, постаравшись поскорее сообщить что-нибудь успокоительное моим собственным *папе и маме* (с которыми давно уже разучился – или вообще никогда не умел – разговаривать), поужинав с ними, пробирался к себе в комнату, где, даже не взглянув на Рембрандтова «Философа», висевшего и до сих пор висящего у меня над столом, не сняв с полки ни одной из вообще-то увлекавших меня книг, которых становилось все больше (ни Канта, ни Картезия, ни Кузанца), ложился сразу в кровать, укрывался (помнится мне) с головой – и с радостью, со вздохом облегчения уходил *в сторону сна*, в страну сна, с ее собственными дорогами, реками и горами...

Чтобы теперь в Бланкенберге пойти наконец в сторону сна, мне пришлось принять еще полтаблетки снотворного, хоть я и понимал, что в сочетании со все еще не выветрившимся из меня Jägermeister'ом оно, когда и если подействует, то подействует с двойной, тройной, убойной силой; так и случилось. Наутро меня тошнило; все давалось с трудом; половина мозга, казалось мне, так и осталась на весь день непроснувшейся. Потому мы прособирались все утро; хотелось, раз уж мы сломали милому брюссельскому хозяину обогреватель, по крайней мере квартиру оставить ему в чистоте и порядке; потом бесконечно долго пили кофе, стараясь проснуться, под неумолчный, хотя и заглушаемый плотно закрытыми окнами, грохот вернувшихся к своей безумной деятельности отбойных молотков, экскаваторов, тракторов. Дождя не было; небо очистилось; был, наконец, морской свет, была морская синь за стеклянной стеною:

та синь и тот свет, по которым мы всю жизнь тоскуем, по которым начинаем тосковать, еще не успев с ними проститься, недособрав вещи, недопаковав чемодан. Потому что вот они, вот они опять где-то там – это море, этот свет, эта синь; и что же, мы вправду сейчас возьмем и поедем прочь от них, куда-то туда, где, как бы хорошо ни было, все испорчено отсутствием океана? Там есть зато горы, в нашей Баварии; там есть зато Альпы; в Альпы, Жижы, мы можем хоть послезавтра, хоть через три дня отправиться. А горы всю жизнь были моим утешением. Море – моей мечтой, а горы – моим утешением (думал я, садясь за руль «Астон Мартина»). Горы сделались моим утешением в то лето, которое (если все-таки и все-таки попытаться навести в прошлом хоть какой-то порядок, развести раннее с поздним, понять, что за чем, что сперва, что потом) – которое (с неотвратимостью, свойственной временам года) наступило после незабвенной (или только что пробудившейся в памяти) ужасной весны, когда я ездил на один день и две ночи в пронизанный ветром Питер и, возвратившись в Москву, попал в ту же жизнь, с которой решил порвать, не знал, как порвать с ней, пошел с горя *в сторону сна*. Все же я сдал (в этом сне) очередную весеннюю сессию; уже не помню, какими правдами и какими неправдами *отбил*ся от отправки в *стройотряд* (прости, господи), куда в ту пору еще загоняли подневольных советских студентов. А как я отбил от этого *стройотряда*? какими неправдами? кто теперь это вспомнит (я думал, прислушиваясь к указаниям навигатора, выводившего нас из бланкенбергских бетонных дебрей на большую дорогу)? да и не все ли равно?.. Марианна больше мне не звонила; по девкам и *хазам* ходить уж тем более не хотелось. Мара исчезла из Москвы, объявив мне, что уезжает в Пицунду с Анютой и не желает видеть вокруг себя никаких мужчин и поклонников, никаких философов, никаких даже поэтов, что запрещает мне и кому бы то ни было, но мне в особенности и мне в первую очередь, приезжать к ней (все это тоже было, получается, чистой воды неправдой); тут случайный сокурсник предложил мне поехать с ним на Кавказ, пойти в поход, на семь дней, из Теберды в Домбай, мимо Азгекских озер, по долине реки Марка, через перевал Бадук-Хутый (мне эти названия ничего не говорили тогда; я потом хорошо их выучил, за несколько лет моей альпинистской страсти). Пожалуй, мне понравилась сама идея поехать в ту же сторону, куда уехала Мара. Она на Кавказе, ну вот и я на Кавказе. Я знаю, где она, с кем она (ничего я не знал, как теперь выясняется); а она не знает, и незачем ей знать, и никогда она не узнает. А может быть, я еще плюну на все, как-нибудь доберусь до Пицунды.

Не только не добрался я до Пицунды, но я впервые за долгое время почувствовал, как спадает с меня та тяжесть, которую я тащил на себе все последние месяцы. Теперь я тащил на себе рюкзак, тоже довольно тяжелый, но я был молод, спина у меня была крепкая, и тяжесть физическая словно снимала с меня тяжесть нравственную. Я впервые выдохнул, за долгое время; вдохнул в себя горный воздух – и выдохнул; за долгое время впервые, быть может, почувствовал, что выхожу из тупика – по этим горным тропам, крутым и опасным; что они куда-то меня ведут, не только в Домбай, но и еще куда-то, еще непонятно было, не очень даже и важно было куда. Со мной рядом, или, скорей, за мной следом и пару раз со мной в связке (или связка была потом, уже на Алтае?), шел мой тогдашний, и теперешний, теперь уже такой давнишний приятель, Александр, как все его называли (никто не говорил, тем более теперь не говорит Саша), математик из Ярославля, огромный человек с очень раздвоенным подбородком. Он был в горах впервые, а я бывал в детстве, с папой и мамой. Но конечно, ни он, ни я такого тяжелого перехода еще не совершали, в такую высь не забирались, по таким моренам и ледникам не ходили. Бывало страшно, но чаще бывало радостно на душе. Что-то в ней, душе, расширялось – может быть, из-за разреженного воздуха, напряжения, побежденного страха, всепобеждающей силы гор и ощущения собственной силы, восторженно сочетавшегося с ощущением собственной слабости (я как будто рос вместе с вершинами, оставаясь в то же время маленьким слабым существом, которое любой ледник мог уничтожить, любой неверный шаг погубить). На привалах мы говорили о математике, особенно часто почему-то о теории колебаний (не менее,

в свою очередь, прекрасной, чем теория групп и теория множеств) или (уже не помню) об асимптотических методах исследования дифференциальных уравнений; я поразил его, палочкой на песке вычертив график одной функции, потом другой функции, на следующем привале вычертив другой палочкой одну, потом другую кривую. Иногда я не понимал его, знаний мне не хватало; потом вдруг начинал понимать; и это было тоже переживание незабвенное, экзотическое. Все вместе складывалось в ощущение какой-то, мне доселе неведомой, полноты бытия... Скалы и снег отражались в неподвижно-зеленых озерах; сердце билось быстро, но ровно; кровь постукивала в висках; мысль двигалась и сознавала свое движение – и потом, я помню, надолго мы замерли, увидев на далеком плоскогорье крошечного, беззвучно быстро, почти по самой линии горизонта, летящего всадника.

Глядя на этого всадника, я решил, во-первых, не возвращаться в Москву, во-вторых, наконец заняться всерьез математикой. Ничего общего не было, разумеется, у этого летящего по линии горизонта всадника с Рембрандтовым «Блудным сыном»; а вот, таинственным образом, они оказались связанными во мне; всякий раз, всю жизнь, вспоминая одно мгновение, я сразу же вспоминаю другое. Возвратиться в Москву я был вынужден – но скоро (через, скажем, неделю), никому даже не позвонив, ни Маре, ни Ясу (не дозвонился бы, если верить нынешней Маре, ни до нее, ни до него; но я и не пробовал дозвониться), отправился в Ярославль, где теперь был у меня приятель, с пока еще довольно смутной идеей перевестись, и если не удастся перевестись, то поступить заново на математический факультет тамошнего университета. Это оказалось довольно просто, даже блат задействовать не пришлось (хотя и блат бы нашелся). Со своим еще полным горными воспоминаниями, уже довольно потрепанным рюкзаком, с первым (почему-то) томом *Principia Mathematica* Рассела и Уайтхеда в немецком переводе (который подарил мне когда-то Яс) если не под мышкой, то все в том же домбайско-тебердинском потрепанном рюкзаке, приехал я в Ярославль, переночевал у Александра на раскладушке (нам в ту пору было все равно где ночевать, это теперь мы избаловались), поговорил с ним не помню уже о чем (то ли о теории колебаний, то ли о теории групп), наутро пошел бродить по городу, вышел к Волге, вышел на (и в Ярославле тоже, как выяснилось, существовавшую, и до сих пор существующую, разумеется) Стрелку (где в Волгу впадает Которосль), посмотрел на этот огромный, величественно-спокойный разлив реки, понял, что мне здесь нравится, что я смогу жить, глядя на эту реку; на другой день заявился в приемную комиссию, глядевшую, в свою очередь, на меня расширенными от изумления глазами (ну как же, философ из Москвы к нам пожаловал), договорился с каким-то главным (пузатым) дядькой (в подтяжках; я подтяжек не видел с самого детства), что если я сдам письменный экзамен по математике, то они меня примут. Экзамен оказался как раз совсем не простым, в одном уравнении я сделал-таки ошибку, понял это, уже выйдя на улицу (оно мне потом тоже снилось, это уравнение, вместе с запахом цинковой мази, в параллельном, не менее страшном сне); но экзамен сдал; в университет был зачислен.

Конечно, это был не рыболовецкий траулер, не сторожка в муромских лесах, но это было, по московским понятиям того времени, безумство очень большое, фортель вполне феноменальный, эскапада в высшей степени эксцентрическая. Когда я сообщил об этом в Москве, все в один визгливый голос, перебивая друг друга, пустились меня отговаривать. Моя мама даже звонила Ясу с просьбой на меня повлиять, о чем он, Яс, рассказал мне гораздо позже, причем тоже где-то здесь, по дороге, может быть, из Амстердама в Дельфт или из Дельфта, может быть, в Амстердам, в 1995 году (известие, которое тогда, как мне теперь кажется, поразило меня даже сильнее, чем гораздо более оглушительные теперешние известия; тогда еще все были живы, все было близко; теперь уже все равно). Мои советские родители по-прежнему не понимали, кто такой Яс, что связывает меня с ним; не доверяли ему; в сущности, боялись его. Все-таки моя мама ему позвонила, и Яс честно исполнил, или, скажем, попробовал, исполнить ее просьбу, хотя (если верить нынешней Маре) моя эскапада была ему только на руку, избав-

ляла его от соперника. Если это и вправду было так, я ничего не заметил. Мы встретились все в том же музее им. Пушкина, где некогда познакомились. А вот какая была выставка, я, опять же, не помню; может быть, и не было никакой выставки; может быть, мы просто походили по залам постоянной экспозиции, от одной, очень хорошо знакомой ему картины, к другой, знакомой ему еще лучше, от Кранаха к Рубенсу и от Ренуара к Сезанну, как он вообще любил это делать (да я и сам иногда любил). А ведь он незадолго до этого должен был вернуться из Пицунды (если верить нынешней Маре); и если я сейчас остановлюсь, и отдам руль совсем погрузневшей Жижы, и закрою глаза, я, что же, внутренним взором увижу его загар? Не вижу ничего – а засыпать начинаю немедленно. Пойдем в сторону сна? Пойдем, пойдем, но по дороге еще попробуем вспомнить, как это было, как это все так вышло, как могло все выйти так странно... Он сам, получается, только что вернулся в Москву из Пицунды и выглядел, наверно, прекрасно, посвежевшим, помолодевшим, но я этого не вижу, как ни стараюсь. И о Пицунде он, что же, ни слова не проронил? Не мог же он не сказать, что был в Пицунде? Я помню, что когда-то бывал он в Пицунде, помню это слово в его устах, но, нет, не знаю, ни когда это было, ни что он об этом рассказывал. Еще помню, что кто-то (но кто?) мне передал подловатый слушок, что вот, мол, *твоего* Яков-Семеныча видели на юге, на пляже, с маленьким белобрысеньким мальчиком и что как-то странно они смотрелись вдвоем. А его собственные православные эскапады к тому времени уже начались? Вот этого не спросил я у Мары... Наверное, они уже начинались; наверное, по-настоящему начались чуть позже, когда я сам уехал уже в Ярославль. А ведь я мог просто позвонить Маре по мобильному телефону, задать ей этот вопрос; мог позвонить ей, когда мы ехали с молчащей Жижы прочь из Бельгии – или когда остановились на автострадной заправке, чтобы сходить в уборную, и купить воды, и залить, в самом деле, бензину в наш требовавший топлива «Астон», и Жижы объявила, что хочет сладкого (признак ее печали), и, не дожидаясь, чтобы я снова сходил на заправку, сама направилась к ней, и я смотрел сначала ей вслед, потом смотрел, как она идет ко мне повеселевшей походкой, помахивая плиткой шоколада Lindt (все того же) в золотистой обертке; мне даже в голову не приходило позвонить Маре ни с заправки, ни с автострады, как и сейчас мне это в голову не приходит, а если и приходит в голову, то я сразу же эту мысль из головы и выбрасываю, потому что уже не до того, да и какая разница, да и скорее всего она просто пошлет меня к черту, и по-своему будет права, и все кончено, и незачем начинать все сначала. Потому я просто сидел в нашем тесном, шикарном, рыкающем как лев, и как гепард – или как тебердинский всадник, летящем по автостраде «Астон Мартине», рядом с грустной, повеселевшей, повеселевшей и грустной одновременно, но всегда прекрасно ведущей машину Жижы, пытаюсь, но не в силах вспомнить, каким был Яс, когда мы с ним, в последний раз в жизни, если ничего я не путаю, ходили вместе по заветным, наизусть знакомым ему, но и мне знакомым неплохо залам музея имени Пушкина, от Кранаха к Рубенсу и от Ренуара к Сезанну. – И вот от этого от всего ты откажешься? – проговорил он (единственное, что мне удалось вспомнить) со своей (совсем чуть-чуть) мефистофельской улыбкой, показывая, что вот наконец он приводит свой последний, свой неопровержимейший аргумент. Я думаю теперь и думал, сидя в «Астон Мартине» рядом с Жижы, что когда-то, когда он сам – невообразимым более, навсегда исчезнувшим в невозвратимости, в невообразимости хорошим мальчиком из хорошей еврейской семьи – приехал в столицу, для него возможность каждый день просто так ходить в музей имени Пушкина, смотреть на Рембрандта, и Дега, и Ван Гога была счастьем, от которого не отказался бы он ни за какие коврижки (разве что за возможность каждый день ходить в Лувр; но об этом тогда речь не шла). Уехать из гремячей Москвы в певучий Париж, или, как я уехал впоследствии, в спокойно-веселый Мюнхен, или, как впоследствии его дочери, в Лос-Анджелес – это он понимал. Но уехать в провинцию, из которой он в юности вырвался, – это и вправду, безо всяких мефистофельских масок, должно было ему казаться безумием.

Я был непреклонен в своем безумии, чем горжусь до сих пор. Это было мое безумие, мое личное. Мое первое в самом деле и без малейших экивоков безумное, самостоятельное решение – вопреки всем доводам здравомыслия, аргументам житейской мудрости, силлогизмам обывательской трусости. Ну доучись хотя бы в Москве до конца, получи диплом, а там уж делай что хочешь. А я знал, что сдохну, если останусь в Москве. Меня из дома чуть не с проклятьями выпроваживали, когда я собирал вещи; никто даже не поехал со мной на Ярославский вокзал. Наверное, еще не думал я, какую роль этот Ярославский вокзал будет играть в моей жизни в ближайшие годы, отыскивая ужасный воркутинский поезд, отходивший с самой дальней платформы. (Этому поезду, с остановкою в Ярославле, тоже суждено было сыграть свою роль в моей жизни, в ближайшие годы; и об этом я тоже, наверно, не думал; и вот так мы переходим из одной эпохи в другую, из одной картины или, если угодно, из одной книги в другую, с другими героями, другими вещами, делами, средствами передвижения, предметами обстановки, лейт- и просто мотивами, мотивами совсем побочными, но все же другими; и сами не замечаем этого, не осознаем этого; потом начинаем осознавать, но поначалу еще не осознаем, просто смотрим в окно, на пролетающие мимо деревни, кособогоры, рощи, поля, облака.) А в Ярославле меня встречал Александр, и мы сразу поехали в комнату, которую он снял для меня на другом берегу Волги, на Тверицкой набережной, в двухэтажном домике, почти деревенском, у толстой тетки, называемой в околотке тетей Любой, тоже почти деревенской, промышлявшей в основном огородничеством и сдачей внаем этой самой комнаты, угловой, с двумя окнами в мирно шумящий сад. В первый вечер, разложив свои вещи и книги, повесив над столом (с клеенкой в цветочках) Рембрандтовского (он всю жизнь со мною) «Философа» (это что за мужик такой бородатый? уже не помню, что ответил я тете Любе), поев на ужин (чудовищных, по случаю моего появления приготовленных все той же тетей Любою) беляшей, прислушиваясь к мирному шуму сада и окружавшей его тишине, я подумал, что вынести все это будет трудно, но что пути назад нет, не возвращаться же с позором в Первопрестольную.

Однако вынести все это оказалось нетрудно; через пару дней я привык. После Мары и Марианны, фиф, нимф, чесотки и гонореи я жил совершенным анахоретом, каждый день ходил в город по бесконечному мосту через Волгу, иногда останавливался поговорить с добродушно-мрачными мужиками, еще ловившими с моста рыбу, скорее мифическую (живой я что-то не помню), потом шел дальше, думая о комплексных числах или, под тогда еще не такой оглушительный, каким теперь он, говорят, сделался, грохот грузовиков, проносившихся по мосту, воображал себе, как вот я иду здесь, по этому мосту в Ярославле, и меня вдруг тоже посещает какая-нибудь гениальная математическая идея, какая-нибудь формула умножения кватернионов, открывшаяся Вильяму Гамильтону, когда он шел по мосту в Дублине, «во вспышке гения», *in a flash of genius*, как сказано на соответствующей табличке, посмотреть на которую мы нарочно ходили с детьми и Кариной, когда были в Дублине, уже в другой жизни. Никаких кватернионов на том ярославском мосту я не открыл, но математикой занимался с наслаждением, наконец-то всерьез, и чем более всерьез занимался ею, тем дальше отступала от меня моя московская молодость. Появились другие приятели, с тех пор, кроме Александра, исчезнувшие из моей жизни; почему-то, помню, довольно часто мы ходили в кино, в кинотеатр с патетическим названием «Родина», по дороге из университета все к тому же мосту, на те фильмы, какие уж там крутили (никакой *гавани*, никаких *чаек*, никакого Юлия Цезаря, разве что голливудская Клеопатра). Еще видятся мне ужасные задрипанные окраины, обочины, автобазы, фабричные трубы, кирпичные стены, вдоль которых мы идем и идем куда-то, с Александром и еще с кем-то, но нет, не помню и, наверно, уже никогда не вспомню, куда, и с кем, и какого, собственно, черта... Только тут-то, если быть честным, я и узнал по-настоящему, что такое Совдепия: электрички за колбасой, бесконечные очереди, беспробудное пьянство. Моя мама, смилостивившись, присылала мне из Москвы то сгущенку с тушенкой, то гречку, то индийский растворимый кофе в жестяных приплюснутых банках (вещь в Ярославле неви-

данная), то печенье «Юбилейное», то все это вместе. И мой отец, тоже смягчившись, время от времени переводил мне кое-какие деньги, так что я мог покупать на рынке, всегда у одних и тех же, скоро привыкших ко мне, платками перевязанных теток, творог, яблоки, яйца. Словом, я там жил как студент-белоподкладочник, говоря языком моей замечательной бабушки. Которая уже очень сильно болела, так что и в Москву я ездил, в основном, чтобы с ней повидаваться. Электричка уходила в беспросветную рань, а на вокзал нужно было ехать в набитом автобусе, в рань уже беспросветнейшую, иначе и билета было на нее не купить, так стремились ярославцы за все той же недостижимой колбасой, еще за какими-нибудь, уж какие достанутся им, гастрономическими соблазнами Белокаменной; потому я с самого начала, с моей первой одинокой осени, одинокой зимы, предпочитал воркутинский поезд, иногда переполненный, особенно в плацкартных вагонах, возвращавшимися с Севера *бичами*, устраивавшими такое *веселье*, что даже проводники от них прятались; всякий раз, когда с дальней платформы, на которую почему-то приходил этот поезд, мимо всех ларьков и киосков, выходил я на площадь трех вокзалов (в Москве тоже место не лучшее), у меня было чувство, что я попал в иной мир, иной век.

К концу первого года я понял, что долго не продержусь (и что тогда? при этой мысли становилось мне страшновато); попробовал даже выяснить, нельзя ли *восстановиться* в университете (московском); уже не помню, что мне ответили. Наверное, и на этот раз Яс бы помог мне, но стыдно было даже заговаривать с ним об этом. Главное, что я дотянул до лета. Летом мы с Александром и еще несколькими студентами, мне знакомыми, полужанговыми, совсем незнакомыми, отправились в наш Второй Кавказский поход (как он это называл); Карина относилась к категории полужанговых; она училась на два курса впереди меня; начала учиться сразу после школы, безо всяких философических отступлений; так что мы с ней уже виделись; говорили «привет – привет» в коридорах университета; пару раз (странно вспомнить теперь) толкались вместе (там все толкались, так было тесно) в *sit venia verbo курилке* (под какой-то, кажется, лестницей; откуда всех гоняла местная ведьма, на этот раз не Снегурочка, как в «Малом сачке», а, кажется, Анна и, кажется, Трифоновна, если ничего я не путаю); в зимний текущий день, когда с навеса над входом во все тот же университет готовились свалиться на наши головы гомерические сосульки, а на ступеньках у этого входа имела место грандиозная гиперборейская наледь, я помог ей, как благородный ахеец, взбежать по наледи, проскользнуть под сосульками; только в поезде (Москва – Kisловодск) мы друг друга заметили. Нет, мы уже на Казанском вокзале (или это был Курский?) друг друга заметили, вот как это было, думал я, глядя из окна «Астон Мартина» на все ту же, пролетающую мимо, плоскую, скучную, бетонно-индустриальную, залитую дождем Бельгию, уже ничего, конечно, не рассказывая сызнова погрустневшей Жижи. Жижи знала (знает) в общих чертах нашу с Кариной историю, но лишний раз говорить с ней (Жижи) о ней (Карине) мне все-таки не хотелось, и вообще говорить не хотелось, а хотелось мрачно молчать, горько думать, прости меня, Жижи, это все Jägermeister в компании со снотворным, сегодня дурной день, завтра уже все будет иначе, ты же знаешь, не сердись на меня. А как мы тогда смотрели из окна поезда на понемногу южневший мир... Я почему-то уже был в Москве, когда мои ярославцы до нее добрались. Им нужно было только перетащить вещи с Ярославского на Казанский вокзал (или это все же был Курский?), потом сидеть там, часа два или три, ранним утром, дожидаясь кисловодского поезда; когда я подъехал, они все дремали на лавочках после бессонной ночи, кроме Карины. Карина сидела очень прямо, открытыми глазами на меня глядя. На соседней лавочке, посреди прочих спящих, не спал пожилой полковник, с игрушечными танками на черных петлицах, с измученным, странно нестрогим лицом. Подумай, полковник! – говорил, помню, Яс, когда мы с ним, по дороге куда-то, увидели на том же, кажется, Казанском (или Курском?) вокзале дремлющего на лавке полковника. Можешь представить себе во Франции полковника, дремлющего на вокзальной лавке? Вот тебе и *mon colonel*... Этот *colonel* не дремал, и Карина смотрела на меня

ясным взглядом. Получалось, что только мы трое здесь и не спим, вместе с полковником. Мы все трое об этом, похоже, подумали, включая полковника. Полковник потом пропал; мы остались вдвоем; вдвоем простояли в поезде если не весь, то, мне теперь вспоминается, почти весь долгий день, глядя, как понемногу южнеет застекольный, недосыгаемый мир. И нет, не будем преувеличивать, мечта сойти с ней, по-бунински, на случайной станции даже не забредала мне в голову. На случайных станциях стояли, разумеется, бабы, торговавшие всем тем прекрасным, что бывает в ассортименте русских станционных баб, от беляшей (опять же) в ведре до вареной (с укропом) картошки (тоже в ведре) и от моченых яблок до соленых, соответственно, огурцов. Бунинской мечты во мне не было, а вот у нее обнаружили вполне толстовские, совершенно каренинские, на висках и затылке, колечки курчавых волос, черных с рыжеватым отливом. На солнце делались они окончательно рыжими. Она опускала верхнюю раму окна и почти высывалась наружу. Ветер бил нам в лица, трепал ее волосы, пахло углем и гарью, все грохотало, стучало, встречные поезда налетали сплошным ураганом, опущенная верхняя рама ударялась о неподвижную нижнюю, и мы возвращались в купе, где Александр, покачивая своим очень раздвоенным подбородком, и другие участники еще не начавшегося Второго Кавказского похода, с тех пор забытые мною, над нами уже смеялись (смотри-ка, втюхались, втюрились), и никто из них и даже никто из нас не мог себе представить, конечно, как я буду сидеть сперва месяц, потом еще один месяц у ее койки в мюнхенской больнице с романтическим названием *Rechts der Isar*, «Справа от Изара», в онкологическом отделении, на краю бытия.

Мы вместе прожили двадцать два года. Мы их, в общем, счастливо прожили (за исключением последнего, когда мы с ней – умирали). Это счастье никогда уже не было таким ослепительным, каким было на том горном солнце, но все-таки оно было. Все это – это солнце, палившее так нещадно, что сразу же мы на нем обгорели, и даже не просто мы на нем обгорели, но у меня, и, кажется, только у меня одного, в первый и последний раз в жизни (с тех пор я знаю, что в горах нужна шляпа с полями, не просто так себе кепочка) сгорели (смешно теперь вспомнить, а ведь это было, болело) уши, так сгорели, что я не мог до них даже дотронуться, потом, когда уже мог дотронуться, превратились сверху в твердую темную корку, которую, на радость окружающим, понемногу я от них отдираю, – это солнце, и эти переходы от жары к холоду и обратно, эти пенистые горные реки, камни, склоны и скалы, эти удвоенные озером горы, зеленая ледяная вода одного, лазурная, но тоже ледяная вода другого Бадукского озера, эти привалы, на которых уже не говорили мы ни об асимптотических, ни о каких других методах исследования дифференциальных уравнений (хотя она разбиралась в них не хуже Александра и точно лучше меня), но старались с ней (наплевав на насмешки) уйти куда-нибудь подальше от всех остальных и начинали целоваться сразу, за первой же елкой, сосной, скалой, – и эти грозные громады вокруг, это безмолвие бесконечных, безразличных к человеку пространств, которое так пугало Паскаля, которое, уж не знаю, чувствовал или нет мой по-прежнему любимый Декарт, которое я сам чувствовал очень остро, останавливаясь вместе с Кариной, держа ее за руку, на гребне очередной горы, на перевале Бадук, перевале Хутуй, – это острое чувство восторга, ужаса, полноты бытия – и, разумеется, эти ночевки, палатки, в одной из которых, не помню, каким образом избавившись от предполагавшей тоже спать в ней товарки, она ждала меня в позе Данаи, – все это сливается для меня теперь в одну большую картину, похожую (сказал бы, наверно, Яс) не столько на Рембрандта, сколько на те предренессансные или раннеренессансные фрески, на которых художник изображает сразу несколько сцен и событий, не заботясь о единстве времени, о перспективе: осаду города, венчание герцога, явление ангела.

Карина в ту пору была стройной, спокойной девушкой, читавшей все на свете, никогда никому не признававшейся в этом. Когда шутила, она пришепetyвала; когда злилась, говорила чистейшим, яснейшим, литературнейшим языком. В ней была, в сочетании с силой и остротой ума, какая-то прелестная провинциальная наивность, какой я не находил ни в ком в моей цинической молодости, которая осталась в ней в сущности до конца. Глаза у нее были, конечно,

карие. Ее голые руки, когда я целовал их, обдавали меня таким жаром, что я отрывался от них с заново опаленным лицом. Лето вообще идет женщине; ей шло в особенности. Зимой она сжималась, сужалась и съживалась; летом, по ее же словам, становилась в полтора раза самой себя шире, что не мешало ей ходить со мной в горные большие походы, на Кавказе и на Алтае, потом, после нашего переезда в Мюнхен, в так прекрасно близких от города Альпах, куда мы вновь и вновь совершали с ней, потом и с детьми, еще и короткие вылазки, всякий или почти всякий раз, то более, то менее отчетливым отзвуком отсылавшие нас к нашему изначальному счастью. Ни о каком Мюнхене (Альпах, детях) тогда еще не было речи; осенью, возвратившись в Ярославль, я был представлен ее родителям (ее отец оказался большим местным начальником – *прирожденным хозяйственником*, как он сам о себе отзывался, – человеком властным, но добрым и тоже, как ни странно, чуть-чуть наивным, словно не тронутым цинизмом цивилизации; ее маленькая мама *заведовала* – если это так называлось – то ли городской, то ли *областной*, то ли уже-никто-не-помнит-какой библиотекой; им обоим пришлось, видно, побороться с собою, прежде чем они согласились с выбором дочки); довольно скоро, простившись с прекрасной тетей Любой, с тихой Тверицкой набережной, я к ним переехал. Им пришлось побороться, а нам пришлось пройти через все ритуалы: ее знакомство с моими родителями (*смотрины*, как Карина выразилась, пришепетывая), знакомство моих родителей, приехавших в Ярославль, с ее родителями (тоже род *смотрины*, она выразилась, пришепетывая еще пуще); визит в замечательный ЗАГС, где бесполоая мырма в рюшевой розовой блузке и с краснознаменными медалями на жакете рассказала нам о счастье социалистической семьи и прочих патристических прелестях; были даже, по настоянию всех этих родителей, мерзкие матримониальные игры с фатой, шампанским, горькими поцелуями. Все это было для нас как субботник, черт бы побрал его, или как комсомольское, все бы черти побрали его, собрание, на которое нельзя не пойти, которое хочешь не хочешь надо *отбыть*, отсидеть, чтобы, выдохнув, выйти потом на сверкающую весеннюю улицу, начать настоящую жизнь.

Мы ее и начали, хотя она вовсе не всегда казалась мне уж такой настоящей; временами совсем не казалась; по-прежнему (временами) казалась черновиком. Это *чувство черновика*, наверное, неизбежно. Мы с ним боремся; бывает, не без успеха; чаще все-таки без. Уже не все шаталось во мне; уже я себя чувствовал уверенней и устойчивей; научился ладить с собою; сознавал, что могу настоять на своем; добиться своего; поступить по-своему (или, как говаривала покинутая мною тетя Люба с Тверицкой набережной, *по-своёму*); гордился этим; больше всего в эти первые вместе с Кариной годы гордился, смешно (и как же, боже мой, грустно) вспоминать теперь (думал я, глядя из «Астон Мартина» на пролетающую мимо Бельгию), – больше всего, как ни смешно и ни грустно, гордился – ею самой, Кариной, не потому лишь, что она была такая красавица и все оборачивались на нас, когда мы шли с ней по берегу Волги или по берегу Которосли, или плыли на пароходике в Углич, или в самом (по-советски замызганном, в ту пору еще почти заброшенном) Угличе искали следы несчастного убиенного Димитрия и следы других исторических персонажей, о которых я прежде не слыхивал, о которых она, Карина, все знавшая и читавшая, рассказывала мне в красочных, чудесных подробностях, и любить ее, быть ею любимым так хорошо и просто у меня получалось, но и потому что (грустно вспоминать, смешно вспомнить) смотрел на нее как на личное, лучшее мое достижение, мою самую сияющую победу. Вы вот все хотели, чтобы я и дальше жил как жил, с папой и мамой, и оставался таким же неврастеническим московским мальчишкой, и так же мучился и так же метался между поэтессами, девками, диссидентами и дельцами, от блудницы к бражнице и обратно (никто этого не хотел, но так я внутренне говорил – каким-то абстрактным, враждебным *всем*: тем абстрактным и обычно враждебным *всем*, которые втайне живут – в нас, с которыми тоже мы всегда боремся, не всегда побеждаем), а я вот поступил *по-своёму*, я как раз – победил и, победив, выяснил, что есть другой мир, вообще – мир (не только Москва), и в этом мире – вменяемые люди (в Москве их, может быть, нет, но вообще в мире они есть,

как я выяснил), не сходящие с ума по каждому ничтожному поводу, и главное, получил первый приз, прекраснейшую из всех возможных наград; и пусть мне то не нравится, и это не нравится в жизни, и пусть она, жизнь, как всякая жизнь, складывается из случайных, мелких, внешне осмысленных, по сути бессмысленных действий, и да, мне нужно снова идти в университет и там сидеть не только на интересных и интереснейших (по теории, например, вероятностей), но и отсиживать омерзительные, вопиюще неинтересные лекции (диамат с истматом мне, помнится, *засчитали* – помог тот учебник! – а политэкономии и еще-какую-то-хреновину – не засчитали, окунули в нее с головою, так что уж и не знал я, как выбраться, как сдать проклятый экзамен), и после университета отстаивать очередь в аптеке за очередным лекарством для Карининой мамы, моей, следовательно (неужели я всерьез произношу про себя это слово?), тещи, и эта (неужели всерьез?) теща опять обижается, что я чего-то там ей не привез из Москвы и опять недовольна нашим с Кариной равнодушием к ее (чертовым) фикусам (или крокусам?), которые мы в очередной раз забыли полить, – все это, на самом деле, никакого значения не имеет, потому что Карина у меня – есть, потому что она – со мной, и что бы ни было, я могу (вернувшись из университета, из аптеки, из ниоткуда, из наплевать-мне-откуда) уже в прихожей обнять ее, вдохнуть запах ее волос, почувствовать жар ее тела, уйти с ней в нашу комнату (с ее вещами, моими книгами, неизменным «Философом» на стене); и вот это уж точно не случайность, не *черновик*; вот это уж безусловно; это уж окончательно; первое время мы только тем и занимались, что доказывали друг другу подлинность нашего существования, несомненность нашего бытия. Вообще было весело; потому, может быть, и было так весело, что (в отличие от нашей настоящей, глубинной жизни, которая только кажется *черновиком*, но которую мы каждый день пишем набело) наша с Кариной жизнь в Ярославле, в большой, провинциально-начальственной квартире ее родителей (со всеми их фикусами, всеми их фокусами), и казалась – и была *черновиком*, безо всяких сомнений, и мы оба знали, что, как только доучимся, сбежим отсюда, сбежим, мы сразу решили, в Москву, куда ей с детства хотелось сбежать, куда и я готов был вместе с ней возвратиться. Потому мы легко справлялись и с добродушной властностью ее папы, *прирожденного хозяйственника*, и с не всегда добродушным ворчанием ее маленькой мамы, и с капризами ее подраставшей, шалившей, часто дувшейся младшей сестренки Нинки (или, в ту пору, Нинуськи), все старавшейся подсмотреть, как мы доказываем друг другу несомненность нашего существования. Александр, мой первоначальный ярославский приятель, довольно скоро втянул меня в программирование; его научный (как он выражался) наставник большой был мастер получать заказы от разных, иногда очень закрытых, хорошо запрятанных советских учреждений, так называемых «почтовых ящиков», на программирование того и сего; все это именовалось, кажется, хоздоговором (что бы сие ни значило; мой тесть, *прирожденный хозяйственник*, много раз объяснял мне, что это значит; с тех пор я забыл). По этим-то, во всяком случае, хоздоговорам (что бы сие ни значило) мы зарабатывали совсем неплохо (с поправкой на советскую скромность наших представлений о неплохом – или даже о хорошем заработке; очень трогательную скромность, глядя из «Астон Мартина»). Об интернете еще и речи не было, а какой-то лучше всех, в неведомых миру дебрях запрятанный «ящик» уже разрабатывал, и мы вместе с ним, алгоритмы для построения сетей с заданной связностью (так это называется, если кто вдруг не знает); Александр, когда я теперь говорю с ним по скайпу, утверждает, что где-то, в самом дальнем ящике (на сей раз без кавычек) его профессорского стола, еще у него лежат листинги (как называется это, если кто вдруг не помнит) с кодами тогдашних наших программ и что если я очень его попрошу, он их отыщет, пришлет мне (но я не прошу; на что они мне?).

С Ясом я виделся, когда приезжал в Москву. Яс той поры мне помнится отстраненным, далеким и недоступным (как если бы он всегда был на другом берегу реки, на другом склоне холма). Тамара Сергеевна светски расспрашивала меня о Ярославле, о Ярославском кремле, вообще о жизни в провинции; Яс молчал, выходил из комнаты; на прощание подарил мне

немецкую книжку о Декарте-математике, которая, как и репродукция Рембрандтова «Философа», до сих пор у меня хранится. Потом он приехал на пару дней в Ярославль – не *ко мне* в Ярославль, как я сначала подумал, но вообще в Ярославль, или ко мне и еще к кому-то, зачем-то, даже, может быть, по каким-то делам. Он и ночевал у кого-то, к кому он *тоже* приехал; но провел затем долгий день, воскресный, жаркий и неудачный, со мной и с Кариной, в блужданиях по этому, тогда еще очень советскому, Ярославлю с его закрытыми, запертыми на замок, в лучшем случае омузеенными (как Яс же и выразился) церквями, облупившимися фресками в них. Карина знала родной город прекрасно, могла рассказать кому угодно и про Спасо-Преображенский монастырь (где было найдено «Слово о полку Игореве»), и про тогда еще не отреставрированный (двухэтажный и с мезонинчиком) домик на берегу Волги (где в 1812 году был госпиталь для раненых офицеров, отчего ярославцы зовут его «домом Болконского»: будто бы именно там умирает князь Андрей в «Войне и мире», хотя сам Толстой никогда даже и не бывал в Ярославле: вот так искусство становится жизнью, заметил довольный Яс; и это в тысячу раз интересней, конечно, чем превращение жизни в искусство. Жизнь в искусство превращается постоянно; мы к этому, можно сказать, привыкли; а вот обратная метаморфоза, превращение придуманного в реальное, волнует нас, как будто намекая на что-то... на что же?.. Если текст перетекает в реальность, то не потому ли, что и сама реальность есть текст? кем-то задуманный, кем-то написанный? лучший и сложнейший текст из всех мыслимых, даже из всех невысказанных текстов?). Карина выслушала это (для Яса столь характерное) рассуждение с видом недоумевающе-недоверчивым, но еще все было мирно и мило, когда мы стояли там, потом у белой беседки (ротонды с колоннами) у Мякушинского (не Макушинского) спуска, тоже на Волге (в Ярославле место чудеснейшее). Становилось все жарче; мы с Кариной только что вернулись из нашего следующего горного похода, на этот раз на Алтае, были оба полны впечатлениями, мечтали рассказать о них, даже и пытались рассказать о них Ясу, но ему уж слишком явно не хотелось ничего о них слышать, как и нам с Кариной, что скрывать правду, не очень-то хотелось ходить по раскаленному городу, из музея в музей, от одной закрытой к другой запертой церкви.

Чем дальше мы ходили по этому пыльному, раскаленному Ярославлю, тем хуже делалось у нас настроение. Я видел его образ в глазах Карины: образ московского пижона в белых заграничных штанах и начищенных до столичного блеска не очень летних ботинках с тем чудным узором из недопроколотых дырочек, который (чего мы тогда не знали) среди московских и не-московских (например, мюнхенских; к примеру, парижских) пижонов именуется будапештским (география франтовства – отдельная, увлекательная наука). Да никогда такие ботинки и не хаживали по ярославским раздолбаным тротуарам, по заросшим сорняками пыльным обочинам. Ему было в них, наверное, очень жарко, но он и виду не подавал. Наконец дотащились мы до одной из немногих в ту пору не омузеенных и на замок не запертых ярославских церквей, на другом берегу Которосли: маленькой церковки с крошечной маковкой, с шатровой большой колокольней и с всегда веселившим Карину названием – Николы-на-Пенье, или Николы Пенского, что ни малейшего отношения не имеет к вокалу, но прямое отношение к каким-то пням, на которых якобы она и построена. И я только теперь, очень задним числом, удивляюсь тому, как долго и внимательно он крестился, прежде чем войти в нее. Как я мог тогда не удивиться, не знаю. Ну, перекрестился и перекрестился; я и сам, наверное, перекрестился, прежде чем войти в церковь; почему бы и не перекреститься, входя в церковь? можно ведь и вообще в нее не заходить, если не хочешь креститься. Но он не так перекрестился, как перекрестился я сам и как перекрестилась Карина (просто потому что принято креститься, входя в церковь); он, в окружении неизбежных старушек, тоже осенявших себя крестным знаменем, перекрестился тщательно, с чувством и смыслом, и я этого тогда не заметил, пропустил мимо глаз, как пропускают мимо ушей, и если заметил, даже запомнил, или мне кажется, что запомнил (потому что ведь все сомнительно, ни в чем, как выяснилось, нельзя быть уверенным), то, во

всяком случае, не придавал этому значения, просто вошел вслед за ним в темноту притвора, в запахах мокрых полов, воска и ладана. Зато Карина заметила и поморщилась. Для нее это было, теперь уверен, еще одним знаком его мерзкого московского пижонства. Человек в белых летних заграничных штанах, каких в Ярославле не видывали, в не очень летних, но тоже очень заграничных ботинках, какие никогда еще не хаживали по ярославским раздолбаным тротуарам, стоит посреди этого советского, измученного пылью и жарой Ярославля и долго, истово крестится у входа в едва ли не единственную еще действующую в городе церковь. Что можно было подумать о таком человеке? Ничего хорошего нельзя было подумать о таком человеке, что бы я о нем ни рассказывал, какие бы ни пел ему дифирамбы.

А я думал (глядя из окна «Астон Мартина» на бесконечную, беспросветную Бельгию), что это вот и было, значит, то время, когда он по крайней мере пытался найти опору и смысл (если не Смысл) в чем-то, его превышающем, его возвышающем (или, скажем, уверить себя, что этот Смысл кто-то уже нашел, что есть такое место, где он хранится, где можно причаститься ему; получить его уже готовеньким, как просвирку; место истины, пусть построенное на пнях, но основанное на *твердом камне*, которого и врата ада не одолеют). Что он оставался пижоном – это мелочи, просто привычка. Он был искренен, я уверен. А Мара, что же, через два года после их пицундинских эскапад была уже в Бельгии (вот в этой, бесконечной и беспросветной, со всеми ее бетонными эстакадами)? А так называемый Димочка, третий участник пицундинской эскапады (не эстакады)? Димочка существовал; я потом видел его вместе с Ясом. Но где он был, когда Яс приезжал в Ярославль? Там что-то было у этого Димочки с армией, очень смутно мне теперь вспоминается; не удалось ему, смутно вспоминается мне, отбиться от этой самой армии (где таким *Димочкам* плохо приходится); загремел он в эту самую армию (где совсем-совсем плохо приходится таким *Димочкам*), несмотря на все Ясовы усилия и старания. И Яс, кажется, ездил иногда к нему *в часть*. Только это было, по-моему, позже. И уж точно ни о каком Димочке не говорили мы в Ярославле; ни о какой Маре не говорили мы в Ярославле; да и с какой такой стати заговорил бы я с Ясом о Маре – в Ярославле или где бы то ни было? Не только потому, что Карина была с нами весь этот дурацкий день, но и вообще даже в голову бы мне не пришло заговорить с Ясом о Маре; я был уверен, что уже давным-давно забыл он всякую Мару. А вот он, Яс: неужели не думал он, глядя на нас с Кариной возле омузеенных церквей и единственной неомузеенной церкви о том, что он еще так недавно со мною проделывал, о своей, им же признанной (только я не понял) передо мною вине? Он задержался в этой маленькой церкви (Никола Пенского); как-то так ухитрился устроить, что мы с Кариной вышли раньше, чем он вышел, оттуда; сказал, например: *ну, пойдём?* довел нас до выхода, а сам вдруг вернулся обратно. И мы почти так же долго ждали его, сидя на лавочке, как я дождался некогда Мару у *отца* Константина. Я об этом, может быть, вспомнил, а может быть, и не вспомнил, сидя рядом с моей возлюбленной, чудесной, жаркой от жары и от нее же уставшей Кариной, на лавочке, глядя на зеленые крыши, зеленые купола и башенки, полыхающие на солнце, меловые белые стены, полыхающие на нем же, неподвижные, сверкающие меловой белизной облака; уже почти ничего не значила для меня та давняя, дальняя жизнь. Бывает большой покой вокруг русских церквей; даже *последние атеисты* способны его почувствовать. Яс тоже вышел из церкви с другим, успокоенным и примиренным лицом. Если он там молился и ставил свечки перед иконами, то, значит, он там молился, ставил свечки перед иконами, и мы этого никогда уже не узнаем. И если он свою вину передо мной там замаливал, то мы и этого не узнаем уже никогда.

Все опять испортилось, когда мы его затащили на пляж. Тогда (не знаю, как теперь) городской пляж был возле моста через Которосль, прямо против Кремля. Это был, признаем очевидное, не самый ухоженный и не самый чистый пляж на нашей, загаженной нами, планете; вечно валялись там кульки, бумажки, бутылки, окурки, в пыли, в жухлой траве. У меня были в сумке, на всякий случай, и мои плавки, и Каринин купальник; у Яса никаких плавков с

собой, понятное дело, не было. Он не хотел туда идти, а нам очень хотелось искупаться в ту не стихавшую, уже оглушительную жару. Он морщился, смотрел вокруг с брезгливо-презрительным выражением сразу утратившего всякую примиренность лица. Штанов он не снял и ботинок тоже не снял. Снял, однако, рубашку; оказался под нею таким бурно волосатым, каким истинные ярославцы не бывают по определению. Все, кто там был, на этом пляже, сразу же и уставились на *чудика* в немыслимых штанах и невероятных ботинках, с грудью итальянского мафиози из какого-то фильма, который как раз шел тогда в кинотеатре с патетическим названием «Родина» и который все купальщики, все загоральщицы, разумеется, видели. К несчастью нашему, среди этих купальщиц и загоральщиков обнаружился Александр с компанией. Компания была полужнакомая, полупьяная. Они вовсе не были пьяницами, эти студенты-математики, старшекурсники-физики, но день был и вправду жаркий, праздничный и пляжный, располагавший к проказам; одному из проказников пришла, похоже, в голову блестящая мысль купить в местном магазинчике сколько-то и сколько-то бутылок белого вина (все же не пива, как сделали неподалеку сидевшие мужики), поставить их в реку, посильнее ввернувши в прибрежный ил, чтобы, значит, там они охлаждались. Вино было уж не помню какое, может быть даже грузинское, но очень дешевое, отвратительно кислое. И была, конечно, гитара, и кто-то тренькал на этой гитаре, напевая что-то из тогда обычного туристского репертуара... ну да, не спорю, не шедевр ни в музыкальном, ни в поэтическом отношении, да и певец был хлипенький, типичный *массовик-затейник* с добрыми и пустыми глазами, душа команды КВН и вообще *свой в доску парень*, в любом походе и у любого костра сервирующий приятелям одни и те же задушевно-залихватские песенки; но ведь можно было это просто принять, мне простить, не смотреть на меня с таким упреком, с каким смотрел Яс: я, мол, к тебе приехал, а ты меня с кем тут сводишь, кого мне навязываешь?

А он сам заинтересовал, еще бы, и купальщиков с загоральщицами, и математиков с физиками; они сразу его обступили, принялись расспрашивать, кто он такой, откуда взялся и чем занимается. Он отвечал со столь оскорбительным равнодушием, столь вызывающе односложно, что я подумал, и Карина (я видел по ее взгляду) подумала, что надо поскорей уходить. И надо было. Но мы хотели еще раз искупаться, долго плавали, задержались, замешкались... Яс от вина упорно отказывался, отнекивался, даже рукой отстранял стакан, который ему подносили. Стакан, мне теперь кажется, был только один; кто-то, впрочем, пил *из горла* ^ (как это тогда называлось); никто в ту пору и в той компании не брезговал пить из одного *горла* ^ или из одного стакана с другими. Раззадоренный Ясовым равнодушием, его отнекиваниями и вообще, наверное, всем его обликом, Александр, покачивая своим раздвоенным подбородком, спросил его, в конце концов, не без вызова: что ж вы вина-то не пьете? И тут же, наполнив пресловутый стакан, протянул его Ясу. Яс взял его. А что потом случилось, я не сразу даже и понял. По-видимому, я отвернулся, посмотрел на воду, на солнечные, пробежавшие по ней, блики, или на моторку, как раз в тот миг пролетающую под мостом; а когда опять повернулся ко всем остальным, увидел этих всех остальных набычившимися от злости и Александра побагровевшим от ярости. Его раздвоенный подбородок выставился вперед; древнеримский подбородок Яса тоже обозначился очень четко. – Вино на землю лить, вот, значит, как?! – сдавленным от гнева голосом проговорил Александр. И да, как мне потом рассказывала Карина, Яс просто дождался, чтобы я отвел взгляд, и быстрым резким движением выплеснул вино на истоптанную купальщиками землю. Ему нужно было бы дождаться, чтобы все отвели взгляд, или как-нибудь их, что ли, отвлечь, но он, видно, действовал не рассуждая. Просто неумолимо ему было выпить это вино, а стакан он взял уже в руку. Для него здесь главным был все же именно я; он не хотел, чтобы я его застукал, чтобы обиделся; об остальных он не успел, похоже, подумать. На остальных ему было наплевать, что он им и продемонстрировал со всей очевидностью. Это было так глупо, что я глазам своим не хотел верить, и потом Карининым возмущенным рассказам не мог поверить; поверить был вынужден. Александр человек добрый и мирный; пре-

красный математик; теперь университетский профессор, автор нескольких книг, сотен статей; как любой ярославский верзила, *косая сажень*, он, однако, если очень его разозлить, может и *дать раз*, чему я бывал, кстати, свидетелем. На мгновение всем показалось, что этого самого *раза* вот сейчас он и даст. Карина, к счастью, успела встать между ними, лицом к Александру, – и сразу же начала говорить, что – все, все, мы должны уходить, иначе *он* (через плечо большим пальцем указывая на Яса, не удостоив даже назвать его по имени) свой поезд пропустит, на вокзал не успеет.

В общем, мы позорно бежали; потом, в мрачном молчании, стали ловить такси; потом завезли Карину домой; потом поехали на вокзал. – Что ж, – сказал он нарочито скучливым голосом, когда мы остались вдвоем в такси, – хорошая девочка. Будет тебе хорошей женой... Тут он не ошибся, но мне это очень не понравилось, как и все предыдущее. В первый и в последний раз в жизни он был мне по-настоящему несимпатичен. Я попробовал сказать ему, что – *зря он так*, что ничего плохого не сделали ему эти студенты, что (этого я не сказал, но так громко подумал, что наверняка он услышал) не надо быть таким снобом, ни к чему это, наконец (снова вслух), что Александр – прекрасный математик и замечательный человек, мой друг, вообще умница. – Умница, умница, – проговорил он со своей самой мефистофельской усмешкой. – На свете только два умницы: я да... он назвал фамилию того знатока коптских клинописей, критских рукописей, которого я вывел выше под именем Петра Карловича. – Я да Петр Карлович – вот и все умницы... Это было опять так глупо, что я даже на него не обиделся. Я только спросил себя – наконец, – что же с ним происходит и в каком отчаянии он должен быть, если так держится, так говорит. Еще я с некоторым ужасом думал, что теперь придется долго ждать поезда (на самом деле *он* отнюдь не опаздывал, это была спасительная Каринина выдумка), ходить с ним по платформе, не зная, что сказать, как смотреть. Все вышло опять иначе. На вокзале уже дожидалась нас к тому времени почти забытая мною Ириша, Ясова сотрудница, крутобедрая хранительница тайного марксистского знания (не вышедшая, значит, за вислоусого бельгийца Филиппа, любителя похлопать ее по выдающейся попке, и даже, как я теперь понимаю, уже потерявшая последнюю надежду выйти за него замуж, если считать, что он уже увез, или уже готовился увезти, не ее, а сданную ему Ясом с рук на руки Мару в свою бетонную Бельгию); с этой-то Иришей Яс, как выяснилось, и приезжал на три дня в Ярославль. Я тоже сдал его ей с рук на руки; дожидаться поезда мне уже было незачем. Когда мы прощались, он вдруг словно вспомнил, что бывает другим. Он отвел меня в сторону, и пожал мне руку, и даже, если память меня совсем не подводит, пробормотал что-то вроде извинений, или по крайней мере что-то вроде призыва не принимать все это (не уточняя, что именно) слишком близко к сердцу, не придавать всему этому (по-прежнему без уточнений) слишком уж большое значение, все ерунда, мол, все пройдет и забудется, и посмотрел мне в глаза тем своим теплым, глубоким, агатовым, намекающим на какой-то иной покой, иную волю, отсылающим в неведомое *куда-то*, мерцающим внутрь взглядом, который я так любил. Я долго шел, вот это я помню, от вокзала домой, даже сделал крюк, вышел к Волге, всю дорогу думая о том, что я сейчас скажу Карине и как буду объясняться с Александром (и то и другое прошло, в общем, удачно, хотя Александр еще пару раз грозился, уже не всерьез, *дать в глаз пизжону*, если когда-нибудь его встретит); главное, думая о том, что – вот, это было, этот человек был в моей жизни, сыграл такую роль в моей жизни, какой не сыграл, наверное, больше никто, но что – вот, его роль сыграна, все уже в прошлом.

Это не значит, что мы поссорились. Мы потом даже снова сдружились, когда я вернулся в Москву. Я уже не ждал от него, конечно, ни истины в последней инстанции, ни ответа на по-прежнему не решенные мною вопросы, но я любил с ним встречаться, приходиться к нему в гости, один или, реже, с Кариной, в конце концов с ним смирившейся, пожалуй даже подружившейся если не с ним самим, то с Тamarой Сергеевной, все такой же гранд-дамой. Гранд не гранд, но к Карине она отнеслась с явной симпатией, прямо ее к себе приблизила, к моему

и Ясову изумлению, брала ее с собой и в театр, и, если ничего я не перепутал, к портнихе. Тогда ведь еще были портнихи, Жижи? Когда – тогда? Во второй половине восьмидесятых. Во второй, как и в первой. Портнихи и теперь есть, куда ж они денутся? Какая-то мне помнится портниха, к которой они вместе ходили, с комической фамилией – то ли Хехерина, то ли Хахалина. Да, была такая портниха Хахалина (она же Хехерина), к которой они ходили вдвоем. И да, теперь я вижу ясно, вглядываясь в то время из окна «Астон Мартина» (прости меня, Жижи, еще немного я помолчу, скоро очухаюсь), что антикварных вещей стало меньше: похоже, и вправду приходилось ему откупаться от Германа с *отцом* Константином, или еще от кого-то, от кого уж он откупался. Я даже, помню, спросил его, где же Фальк, где Осмеркин? Ни Фалька, ни Осмеркина не было; рисунков Бенуа тоже не было. – На выставке, – он ответил. – На какой такой выставке?.. Он только головой покачал, повел подбородком, да еще пальцами перебрал в воздухе: разные бывают, мол, выставки. Тамара Сергеевна, как раньше писывали, посмотрела на него *со значением*; ничего не сказала. И никаких домашних посиделок больше он не устраивал; уже, видно, не до того ему было (да и Василия уже не нужно было спасать от алкоголизма; Василий куда-то запропастился; выплыл потом в Париже; прожил недолго).

Вообще все было иначе, когда мы возвратились – вернее: я возвратился, Карина переехала – из Ярославля в Москву; еще вроде бы длилось что-то прежнее, но внутренне уже все заканчивалось, почти все закончилось; другим ветром повеяло в нашей жизни. Мы поселились в квартире моей годом ранее (к величайшему несчастью моему) покинувшей сей (какой сей? ну вот сей, с его горами, морями) мир бабушки, недалеко от станции метро «Полежаевская» (квартире, где я заблаговременно был прописан; кто помнит теперь, в самом деле, эти советские хитрости, глупости?). Еще я продолжал подрабатывать программированием, в которое втянул меня Александр; еще ездил в Ярославль едва ли не раз в месяц, досаждая последние экзамены, зачеты, работы; но все опять было зыбко, и во мне, и вокруг. Помню, как мы шли с Ясом мимо Центрального телеграфа, свернули в тогдашнюю улицу Огарева (бывший и будущий переулок с патетическим названием Газетный); и только хотел я спросить его о чемпионке Галактики по гандболу, с которой его здесь встретил когда-то, как он, Яс, устремив взор в пространство, сообщил мне, что он вообще не понимает, почему Горбачев не покончит просто-напросто со всей этой дурацкой советской властью. Мне это само по себе показалось соображением довольно дурацким. Как же, Яков Семеныч, он вот так вот с ней возьмет и покончит? Да и с какой такой стати? Еще я, значит, верил по-прежнему, что советская власть – надолго, и если не навсегда, то, во всяком случае, на наш век ее хватит; он так не думал. Если с ней Горбачев не покончит, она сама покончит с собою... И я до сих пор не знаю, кто из нас был прав в тот всплывающий из забвения, весенний и мокро-солнечный, вновь падающий в забвение день. Через три или четыре года мне казалось (и всем казалось), что прав был он; через тридцать лет мне кажется, что прав был я (Софья Власьевна оказалась, увы, живучей). Мы прошли мимо «дома композиторов», мимо Брюсовской церкви; на нее (вот это я точно помню) он даже не посмотрел; никакого спектакля с осенением себя крестным знаменем не устроил. Дело не в крестном знаменении, просто я понимаю теперь, что к тому времени его церковные эскапады закончились. Еще бы они не закончились (думал я, по-прежнему глядя в прошлое из окна «Астон Мартина»), уже ведь и Фальк с Осмеркиным были проданы, и рисунки Бенуа, и какой-то самый старинный столик самого красного дерева. А может быть, они и не потому, не только потому закончились (думал я далее). Не в том дело, что *отец* Константин оказался сексотом, даже (если верить Маре) офицером гэбухи, и Герман подонком, тоже гэбэшником, а просто (думал я, глядя в прошлое) не такой человек был Яс, чтобы долго ломать свой разум, унижаться и умаляться, бичевать себя духовно и нравственно, делать вид, что верит в детские сказки. Он мог поделаться вид, но недолго. Он слишком умным, слишком свободным был человеком.

Он, еще я помню, спросил меня, даже с некоторым беспокойством, чем, собственно, я собираюсь теперь заняться. Мы вышли, как некогда, к Никитским воротам (мы, значит, шли к нему домой? если да, то не помню откуда); я ответил (в полном соответствии с истиной), что все собираюсь начать собираться чем-нибудь заниматься, да вот никак не соберусь. Потому что и собираться мне скучно, и заниматься я ничем не хочу – по крайней мере, в том внешнем смысле, который он, очевидно, придает этому расплывчатому понятию. Я хочу думать дальше над двумя или, пожалуй, тремя математическими проблемами, над которыми много думал последние годы. Еще я хочу думать о том, о чем давно начал думать, если не в детстве, то почти-еще-в-детстве, хочу попытаться, в меру мне отпущенных сил, если не додумать до конца, то хоть продумать чуть дальше, еще чуть дальше, две или, пожалуй, тоже три мысли, которые... Тут он прервал меня взмахом руки и сообщением, что все это очень мило, но что этим я сыт не буду и детей, если они у нас с Кариной появятся, тоже не накормлю. Иногда следует просто подумать о простых вещах, банально заняться банальным. Впоследствии оказалось, что я вполне способен банально заниматься банальным и просто думать о простых и простейших вещах. А на самом деле, по существу и по главному счету, я всю жизнь занимался именно тем, о чем сказал ему в тот мокро-солнечный день, всплывающий из забвения и готовый туда возвратиться; всю жизнь думал над двумя или тремя математическими проблемами и всю жизнь пытался продумать хоть чуть-чуть дальше две-три важнейшие для меня мысли (о картезианском *cogito*, о сознании сознания, о непрерывности и, наоборот, к несчастью, прерывности этого сознания сознания... вообще обо всем том, о чем, если коронавирус со мной не расправится, мне следовало бы написать наконец книгу, давно задуманную, собрав в ней мои накопившиеся за жизнь, выпадающие из ящичков записи). И я не считаю, что зря прожил эту жизнь, Жижи. Почему я вдруг говорю это? Ну, так; просто так. Просто думал о том о сем, вспоминал то да се. Нам ведь всем иногда кажется, что мы зря и попусту прожили свою жизнь. Но это не так. Мы прожили ее как сумели, и никто нам не судья, даже мы сами.

Вскоре после этого разговора Яс познакомил меня с Матиасом, программистом из Мюнхена, тогда, да и по-прежнему хиппово-длинноволосым (с косичкой, теперь седой, заплетенной у него на затылке), впервые прилетевшим в Россию чуть ли не в один день со своим тезкой – Матиасом Рустом, приземлившимся, как ты помнишь, прямо на Красной площади. Ты ведь помнишь Матиаса Руста, Жижи? Ты помнишь, а я помню седенькую складчатую соседку по подъезду на «Полежаевской», бежавшую вниз по лестнице с необыкновенной для нее прытью. На Красной площади самолет приземлился! Мюнхенский Матиас приземлился в Шереметьеве, как все законопослушные граждане, бундесбюргеры и не-бундесбюргеры, длинноволосые или нет, но, уж конечно, то, что он приземлился если не в тот же день, то на следующий, и то, что он тоже Матиас, было предметом всеобщих шуток, всеобщего восхищения. Вот, пожалуйста, маленький, но *прокол* (говорил Яс). К Ясу попал он через еще одного Ясова приятеля, в ту пору уже начавшего перемещаться в Америку. Тогда все начали, еще робко, еще не вполне поверив, что это наяву, перемещаться в разные страны. Как того приятеля звали, я забыл, уж прости. Хочешь, позвони Матиасу прямо сейчас. Или спросим у него, когда в Мюнхен вернемся. Или не спросим. Потому что это неважно. А важно было бы мне понять теперь, какие у Яса были дальние замыслы, вообще были ли у него какие-то, меня касавшиеся, тайные замыслы. Могли быть, не сомневаюсь. Ему же нравилось дергать за ниточки. Если он Мару свел с Филиппом, а Филиппа с Марой, то почему ему было не попытаться устроить и мою жизнь? Он устроил на моих глазах столько-то и столько-то жизней, сработал провидением, сыграл роль судьбы. Матиас был скорее менеджер, чем математик; наших с Кариной способностей хватило на нас троих. Мы сперва задумывали совместное предприятие, *joint venture*, как это называлось в ту прекрасную пору (кооперативы, совместные предприятия, гласность, трезвость, межрегиональная группа), но уже в 88-м году, когда впервые приехали в Мюнхен, вышли, я помню, с Кариной из метро на Одеонсплац, прошли через Хофгартен, потом по Английскому саду,

потом дошли до Изара, мимо Китайской башни, – и сказали себе и друг другу, что мы все сделаем, чтобы остаться здесь, только здесь, в этом самом прекрасном городе из всех, что мы видели, и никуда нам больше не надо, никуда больше не хочется, – и через два года у нас с Матиасом была своя фирма, поначалу не приносящая почти никаких доходов, но принесшая Карине и мне заветный вид на немецкое жительство, и потом родилась Лиза, потом родился Федор, потом, уже в середине девяностых, мы придумали несколько алгоритмов для вычисления элементарных функций, таких удачных, что компания Intel, ни много ни мало, их купила у нас, потом пошли от нее заказы, еще и еще, и когда в девяносто пятом году Яс приехал к нам в Мюнхен, когда мы поехали с ним в Амстердам, я еще не мог его катать ни на каком «Астон Мартине», но уже был очень *крутой*, еще молодой, и как мне жаль, Жиж, что ты меня не знала в ту далекую пору.

А до этого мы с ним виделись в девяносто первом, в самые дни самого путча, в Москве, куда я прилетел уже почти иностранцем, необыкновенно удачно, прямо перед первым показом «Лебединого озера» по изумленному телевизору. Я сразу позвонил, помнится, Ясу; Тамара Сергеевна сообщила мне, что он в больнице, что у него была небольшая (как она выразилась) урологическая проблема, что накануне его оперировали, все хорошо, в той мере, в какой может быть хорошо, и что да, конечно, он будет рад меня видеть. Я добрался до него лишь на третий (кажется) день, уж очень занят был тасканием каких-то скамеек для баррикад вокруг Белого дома (где в последний раз встретил, кстати, много лет не виданного Василия: тот был трезв, но тащил для защиты отечества, спасения свободы целое палое дерево, по виду вполне мировое), топтанием и стоянием под зонтиком, под незабвенным дождем, переставшим изливаться из рассерженных небес лишь по окончании политического кризиса в охваченной лихорадкой стране. Было, было что-то необыкновенное в те августовские дни в этом неприязненном городе; какое-то с тех пор давным-давно забывшееся чувство единения, вновь обретенного достоинства, солидарности и свободы; даже пассажиры в автобусе, хмурые дядьки, серые тетки, еще недавно и так сильно озлобленные на весь мир и друг друга, превратились (сами, похоже, удивляясь и радуясь метаморфозе) в леди и джентльменов, обходившихся друг с другом с трогательной, всепонимающей, всепрощающей предупредительностью. Это недолго длилось, но ведь все-таки это было. А я почему-то на трех автобусах добирался до той «ведомственной», и если не «ведомственной», то все равно какой-то самой правильной, «грамотной», как выражался один наш с Ясом общий знакомый, но уж очень дальней больницы; то ли такси поймать не смог, то ли просто нравилось мне ехать в этих автобусах, смотреть на этих преобразенных победой людей. Потом еще долго шел я вдоль бесконечной стены из белых бетонных палок, за которыми шумел мокрой листвою, дышал влагой огромный то ли парк, то ли сад; помню (вот почему-то помню их) лужи, которые осторожно обходил я уже, за мюнхенские месяцы, отвыкшими от луж ногами, через одну из которых помог перебраться веселой девушке в фабричной розовенькой косынке.

Все это – веселое, радостное – в больнице закончилось. В больнице всегда все заканчивается. Я нашел Яса мучительно постаревшим, густо небритым, в распахнутом на волосатой груди халате, стоящим возле кровати, с томом (почему-то) Мопассана в по-прежнему маленькой, по-прежнему аккуратной руке. Здесь тетка думают, что это порнография (сообщил он с кривоватой усмешкой, заметив мой взгляд). В его небритости и даже в волосах на груди уже пробивалась (уже, верно, давно пробилась, расположилась со всеми удобствами – просто мне раньше не доводилось видеть ее) седина, какая-то пепельная. Ну, как там Мюнхен, как там Москва, как там путч, как свобода, как вообще все? Он так упорно повторял это *там*, что уж у меня последних сомнений не осталось: *здесь* все иначе. Конечно, и здесь все у него было *схвачено* (говоря советским сленгом), сиделки и сестры ходили по струночке. Яков Семеныч, Яков Семеныч... Все же это была хоть и «ведомственная», но больница, со всеми ее безнадежными запахами, чужим страданием в палатах и в коридоре. По этому коридору мы с ним и ходили,

сквозь безнадежно-больничные запахи (йода, хлорки, нашатыря и мочи), заглядывая в палаты, в чужое страдание. Ему, видно, ходить было легче, чем сидеть, а лечь в моем присутствии не хотелось. Он всегда ходил медленно, «мыслящими стопами»; теперь он шел так медленно, что я с трудом соизмерял с ним свои шаги; Ахиллес не может не обогнать черепаху, объявил он с шальной улыбкой, обратив ко мне круглую голову. Черно-агатые глаза его смотрели, как обычно, куда-то в свою собственную даль, которая на этот раз (я подумал) была скорей далью боли, или пространством боли, или страной боли, страной страдания, где он только что побывал, откуда еще не совсем возвратился. Там тоже (я подумал) свои улицы, свои заборы, свои сады, свои пугчи, свои революции. Какое им дело до наших? В конце коридора было (помню) окно; за окном все теми же мокрыми ветками шумел, действительно, сад. Когда лежишь здесь, понимаешь простые вещи (сообщил мне Яс безо всякого перехода от предыдущего чего-то, забытого мною). Понимаешь, например, что умирать тебе придется самому. Никто не сможет умереть за тебя. И когда лежишься на операционный стол, понимаешь, что это тебя сейчас будут резать, не друга, не жену, не папу, не маму. – Страшно было? – спросил я. – Нет, от наркоза просыпаться противно. Страшно... страшно умереть на какой-то случайной мысли. Всю жизнь думал, так ни до чего не додумался. Жил, жил – и умер, на какой-то совершенно случайной мысли.

Мне было ужасно жалко его в эту минуту. Я не знаю, что мне делать теперь с этой жалостью. Теперь, когда я знаю о нем то, что знаю (если Мара не соврала мне). Теперь, когда я знаю то, что знаю, я не знаю решительно ничего. Я старался по-прежнему (пока мы ехали с Жижы в обратную сторону, мимо Гента, и мимо Брюсселя, и опять мимо Льежа, сквозь фламандские и французские надписи), старался, конечно, по-прежнему, но, нет, не мог ничего почувствовать, кроме тогдашней жалости и всегдашней печали (ни разочарования, ни гнева, ни ревности). Только печаль и жалость к нему, тогда еще не умиравшему, после умершему – и вправду, наверное, на какой-то случайной мысли. Как и Карина умерла, как и я умру, на случайной мысли, посреди недодуманного. Тогда, в больнице, в августе девяносто первого, я старался (я помню), и тоже, наверное, без большого успеха, не показать ему этой жалости, понимая, что она бы оскорбила его (не всего его, но, скажем, римлянина, Цезаря и Марка Антония в нем); потому я заговорил о *вообще* случайности (разговоры о чем-то *вообще* отлично отвлекают нас от наших подлинных чувств и эмоций); сказал, что вот, мне уже скоро тридцать, а я живу по-прежнему с чувством неизбывной необязательности всего, что происходит со мною, как если бы настоящая жизнь должна была начаться завтра, или так, как если бы я все еще писал ее черновик, завтра (или послезавтра, или через два дня) должен был наконец приступить к перебеливанию. Но я-то знаю, как и все знают, что это иллюзия, что вот все это – этот день, этот больничный коридор, этот свет из окна и шум веток в окне, – что это и есть моя настоящая жизнь, что она всегда и с первого вдоха пишется только набело, что никаких черновиков не бывает. Я это знаю, но почти никогда не чувствую этого. Вот сейчас я чувствую это, вот смотрю на вас, на ветки в окне, на вон того дяденьку в сером халате и с папиросой, на вон той лавочке. Он сидел нога на ногу, тот дяденька за окном (так я помню), небритый (как и все) по-больничному, с черной книгой, лежавшей у него на ладони, и папиросой, зажатой между указательным и средним пальцами все той же, правой, руки.левой он только страницы переворачивал. Папироса не гасла; серый дым ее, поднимаясь из-за края обложки, стлался по бело-черной странице, застилая неведомый текст. Теперь уже навеки неведомый. Это только мгновение, вот сейчас оно закончится, и я поеду обратно в город и буду, боюсь, думать о всякой чепухе, о документах на квартиру, которые мне нужно оформить, прежде чем лететь снова в Мюнхен, и я не знаю, не знаю и не знаю по-прежнему, как научиться писать жизнь начисто, как избавиться от этого *чувства черновика*, этой иллюзии черновика, от иллюзорного ожидания *настоящей жизни*, от этого злосчастного ощущения роковой случайности всего, или почти всего, что я делаю, что со мной происходит.

Тут наконец увидел я его мефистофельскую улыбку, его вельзевуловский блеск в измученных, тех же глазах, в темном свете мокрого сада. Эта мечта избавиться от иллюзии и есть, наверное, самая большая иллюзия. Кто сказал тебе, что жизнь вообще может быть написана начисто? Может быть, ее белой рукописи просто не существует? Может быть, она всегда черновик? Настоящим чистовиком может быть только текст, или только картина, когда художник покончил с набросками, и с этюдами, и с вариантами и положил последний слой лака, и тогда – все, тогда это уже навсегда. Она уже навсегда, потому что она выхвачена из времени. Поезжай в Брюгге, посмотри на Мадонну каноника ван дер Пале, на самого каноника ван дер Пале с его артритными руками, его вздувшимися на висках венами. Каноник ван дер Пале уже навсегда такой, и Младенец навсегда такой, пухленький, голенький, и попугай в ручонках у Младенца такой же зеленый. Пока мы во времени, мы в черновике, и все наши попытки прожить какую-то настоящую жизнь – иллюзорны. Жизнь всегда не настоящая, потому что она не стоит, потому что она всегда движется, всегда изменяется. Время отрывает нас от нас же самих. Наша жизнь чужда нам самим, потому что тот, кто только что был нами, ежесекундно падает в прошлое. Мы были, и это еще мы – но это уже не мы. То, что было только что, – вот его уже нет. Вот и дяденька (как ты выражаешься) докурил свою папиросу. Вот он захлопывает книгу, вот он встает, вот он уходит. Все, спектакль окончен... Потому в жизни все всегда случайно, всегда предварительно. Мы пытаемся навести в ней порядок, но порядка в ней нет. Порядок бывает на картине художника, но не в его мастерской. В мастерской все набросано. Картина уже не набросок, а в мастерской все набросано. А мы хотели бы, ну конечно, чтобы наша жизнь была не мастерской, а картиной. Войти в картину – вот чего мы хотели бы. Ты в какую вошел бы? Ты вошел бы в «Данаю», не сомневаюсь. (Ему, я видел, было больно смеяться. Он поправил халат и поежился от боли, но все-таки досмеялся до того предела, где и здоровым перестал бы смеяться). Ты вошел бы в «Данаю», кто ж сомневается... А войти в картину можно лишь в вечности. Время – мастерская, вечность – картина. Но мы ведь в вечность не верим. Они верили (проговорил он, чуть взмахивая белой рукою, как если бы какие-то еще веровавшие в вечность *они* стояли рядом, в том же коридоре, среди тех же запахов, у того же окна); они верили, но мы-то уже не верим.

Уже не верим... Я этому *уже* не придал, разумеется, того значения, которое придаю теперь, после Мариных ветроцитных рассказов. И его *филиппике* по поводу появления патриарха рядом с Ельциным (в телевизоре) я тоже не придал большого значения; запомнил только непривычную ярость, необычную страсть в его голосе; списал ее на нездоровье, на больничную скуку. Никогда, на моей памяти, даже в самое беспросветное время, не говорил он о политике с такой страстью и яростью (впрочем, в беспросветные времена волноваться уже как будто и не о чем). У нас что, церковь не отделена от государства (говорил он, вновь принимаясь, в своем больничном халате, ходить по благоухающему мочой и антисептиками коридору; даже, к моему изумлению, чуть-чуть, но совсем чуть-чуть, ускоряя шаги, так что Ахиллес уже не обгонял черепаху)? Был царь и патриарх; теперь будет президент и патриарх? Теперь, что же, начинается власть клерикалов?.. Особенно возмутило его, что какие-то, как он выразился, окладистые попы шли в первых рядах бесконечной процессии на похоронах трех несчастных мальчишек, погибших под танками. Этих мальчишек уже не спросишь. Они были, получается, такие набожные, эти мальчишки? Обычные были советские мальчишки, пионеры, потом комсомольцы. И что, вот так сразу все изменилось? Вот так вдруг все уверовали? Над их трупами всякий волен теперь измываться. А потом еще объявили, что одного из них будут хоронить «по иудейскому обряду». «По иудейскому обряду», как же! И это из уст телевизора, где столько лет слово «еврей» не произносилось вообще, а если произносилось, то лишь в убийственном словосочетании «лицо еврейской национальности» (что один остроумец определил как перевод с русского на советский выражения «жидовская морда»). Какая пошлость, какая запредельная фальшь. Были времена подлые, теперь, похоже, наступают пошлейшие.

Пошлейшие или нет, но времена «Сникерса» точно. Через, кажется, год, когда – уже окончательным мюнхенским жителем, счастливым папой только что родившейся Лизы, – я опять прилетел в Москву, мы снова шли с ним (почему-то) мимо Центрального телеграфа (как странно, думал я, глядя из окна «Астон Мартина» на уже готовую опять смениться Германией Бельгию, что мы ходим все по одним и тем же, навязчиво повторяющимся маршрутам; и когда переезжаем в другую страну, другой мир, начинаем ходить по другим, но так же навязчиво повторяющимся маршрутам; а если вдруг возвращаемся в прежний мир, то и прежние маршруты начинают навязчиво повторяться; а мы-то уже не те, уже не отсюда, уже здесь чужие), и так же, значит, пройдя мимо Центрального телеграфа, не пошли по Тверской, но вновь свернули в улицу Огарева, уже, кажется, переименованную или еще не переименованную обратно в переулок с патетическим названием Газетный; навстречу нам шел парнишка с шоколадкой «Сникерс» в грязной руке, потом шла девушка с шоколадкой «Сникерс» в руке, неумело намазавшейся, потом шла толстая мама с толстенькой дочкой и шоколадкой «Сникерс» в ручонках у дочки, весело трясей розовым бантиком. От каждого по способностям, каждому по «Сникерсу»! Вот лозунг нашего нового времени (провозгласил Яс). Он в этом новом времени (времени «Сникерсов», малиновых пиджаков, старушек, торгующих носками и шарфиками в подземных переходах, свободы, подступающего отчаяния, анекдотов о *новых русских*) освоился, я так понимаю, не сразу; если Мара не обманула меня, то еще расплачивался с долгами; *новым русским* не сделался, да и не хотел, наверно, им делаться; но к середине 90-х встал снова на ноги; одну из дочек, выдав замуж, переместил уже в Калифорнию; с другой и с Тамарой Сергеевной в 1995 году прилетев в Мюнхен, опять сорил и бросался деньгами, по своей всегдашней привычке; отправив семейство на дорогой австрийский курорт, поселился, нет, не в «Четырех временах года» на Максимилианштрассе и не в «Баварском дворе» в самом центре (где проходили и проходят каждый февраль так называемые «конференции по безопасности», сопровождаемые ежефевральскими же парализующими город протестами), но в гостинице тоже очень шикарной (какой мы с Кариной в ту пору еще не могли бы позволить себе; через пару лет уже смогли бы, если бы вдруг захотели); в нашу тогдашнюю квартиру в Швабинге зашел, кажется, всего один раз, немедленно влюбил в себя трехлетнюю Лизу, не заметил двухлетнего Федора, в остальном же наслаждался прелестями и музеями баварской столицы, Пинакотекой Старой и Новой, Домом Ленбаха и Домом Искусства и, смею думать, прогулками со мною вдоль Изара, по Английскому саду.

Он был какой-то почти беззаботный, каким я раньше не видел его. Большие бури его жизни остались, похоже, в прошлом. Он приближался к пятидесяти; седина ему шла; да и возраст ему подходил. Есть природный возраст у каждого человека, любил говорить он; один всегда юноша, другой сразу старик. Его природный возраст настал, объявил он теперь, помнится – в Нимфенбурге (мюнхенском местном Версале, куда я, конечно, не мог не отвезти его: погулять по парку, посмотреть на галерею скучноватых красавиц, собранную кем-то из баварских королей). Когда тыходишь в свой природный возраст, все начинает само собой получаться. Все само собою и получалось; мы и в Амстердам поехали как-то вдруг, чуть ли не после прогулки по Нимфенбургу. А не махнуть ли нам еще куда-нибудь? – вдруг спросил он, со своей самой шальной улыбкой глядя на нимфенбургский канал с отраженными в нем мостиками, на больших и важных гусей, которые всегда там расхаживают, загаживая газоны; куда-нибудь, да хоть в Амстердам (если Карина тебя отпустит)? Тогда уж по дороге и во Франкфурт завернем, на Вермеера поглядим, потом в Кёльн заедем, на Дюрера полюбуемся; а, слабо? Слабо – словечко моей молодости; я его со школы не слышал; с десятого класса; с того времени, когда мы познакомились с Ясом перед портретом Рогира, в музее имени Пушкина. Он и произнес его как школьник, которым ведь тоже когда-то был. А слабо нам в Амстердам махнуть, без всякой визы, шенгенской уж, не-шенгенской? А не слабо нам. И если ему правда в Амстердам было нужно (думал я, сменяя наконец Жижю за рулем «Астон Мартина»), если мне Мара

не наврала и ему нужно было в Амстердам из-за всей этой сложной и скандальной истории с архивом Гараджиева, в вывозе которого он тоже, если верить Маре (а как не хочется ей верить, как противно ей верить), участвовал, с которого тоже (противно верить, невозможно поверить) получил свой *навар*, свой *профит*, то, во всяком случае, он сыграл свою роль прекрасно, спросил *слабó?* – с такой прелестной естественностью (как если бы вот вдруг сам открыл в себе забытого школяра, всегда готового выкинуть какой-нибудь фортель, отчебучить что-нибудь несуразное), что я поверил ему сразу же (как всегда ему верил), согласился немедленно (как и раньше всегда соглашался), и после, ну, может быть, не самого приятного в нашей жизни разговора с Кариной (вовсе не желавшей вдруг ни с того ни с сего оставаться с двумя маленькими детьми на руках, заодно и с делами фирмы в компьютере и даже еще не в компьютере; впрочем, мы в то время уже могли позволить себе бесперебойную *бейбиситтершу*), мы, в самом деле, чувствуя себя, как сбегавшие с уроков мальчишки, отправились в Амстердам, еще, как сказано, ни на каком не «Астон» не «Мартине» – на новеньком, красненьком, тогда только что купленном «Гольфе», в ту сторону просто по автостраде, через Франкфурт, потом через Кёльн, где и заночевали, обратно уже вдоль Рейна, и я почти ничего не помню из этой нашей поездки, не помню, главное, о чем мы говорили с ним по дороге (помню только один внезапный разговор на обратном пути у, действительно, Рейна, куда ведь и мы с тобой, Жижи, скоро выедем; и почему бы нам не переночевать, скажем, в Бингене?).

Я чуть не сбил велосипедистку, когда мы въехали в Амстердам (наудачу, кое-как сориентировавшись по карте, в поисках гостиницы, уж какая нам попадет). Попалась хорошая, где Яс (вот это почему-то я помню) поразил голландскую администраторшу (пожилую, красивую, с испытанным лицом бандерши) невинным вопросом, не может ли она приготовить нам чаю, который мы бы выпили, если она не возражает, прямо здесь в холле. С таким вопросом к ней, видно, никогда еще не обращался никто. С какими только вопросами не обращались к ней, но с таким еще никогда. А Яс всегда пил чай, и в Пинакотеке, и в амстердамской гостинице. Затем мы пили джин в страшном, темном, прокуренном, затхлом заведении недалеко от пресловутого проститутского квартала, где в окнах, как в витринах, сидят девки, одна другой отвратительней, и повсюду пахнет марихуаной. Марихуана рифмуется с Марианной (думал я, проходя мимо девок); интересно, что стало с ней? А я ведь этого никогда уже не узнаю; даже если бы я попытался, вряд ли мне удалось бы найти ее. О Марианне Яс никогда и не слышал; а Маре, получается, звонил из Мюнхена, звонил из Амстердама, запретил приезжать в Амстердам? Не помню, чтобы он откуда-то кому-то звонил (кроме Тамары Сергеевны, которой, на обратном пути, звонил из каждой второй телефонной будки); не помню, чтобы куда-нибудь ходил без меня в Амстердаме. Ничего, нет, не помню про Амстердам; вернее: ничего не мог вспомнить про Амстердам, покуда мы с Жижи, спустя четверть века, ехали в Бинген (лишь в самом Бингене вдруг кое-что вспомнил). Наверняка провели мы если не целый день, то полдня в Rijksmuseum, наверняка и дом Рембрандта (Rembrandthuis) не оставили без внимания.

Мне хотелось показать ему Рейн, в его романтической части. Потому мы съехали с автострады, на обратном пути, покатали вдоль реки по обычной дороге, зажатой между водой и холмами, иногда останавливаясь, как же иначе, чтобы посмотреть на знаменитые скалы, знаменитые замки. Как жаль, что я еще не делал фотографий в ту пору. Еще и фотоаппарата у меня не было. И айфонов тогда не было в мире, и мобильные телефоны если уже и были в мире, то в какой-то другой его части, не в этой. Рейн не вызвал у Яса того восторга, которого все, кто его показывают, ждут от тех, кому они показывают его. – Живописно, – сказал он, – но какая все-таки узь. – Какая что? – Какая узь. А ведь душа жаждет шири. – Узь и близь, – сказал я. – А душа жаждет шири и дали. . . А мы ведь и сами выезжаем к Рейну, Жижи, и давай переночуем, действительно, в Бингене, не тащиться же до самого Мюнхена, еще не поздно, еще успеем погулять там где-нибудь по холмам, вот и дождь, кстати, заканчивается, а в Кус нам заезжать уже незачем, дом Николая Кузанского закрыт, должно быть, по-прежнему, или

закрыт по-новому, теперь уж на карантин, вот и по радио говорят о карантине, грозят и пугают, сами небось боятся, сами не знают, что теперь делать, не то что музеи – весь мир закрывается.

В Бингене тоже мир закрывался, еще не закрылся. Еще нас пустили, хотя и с опаской, в гостиницу (карантин не карантин, а красенький «Астон Мартин» – аргумент убедительнейший, неотразимый), и в ресторане на набережной еще удалось нам поужинать, хотя уже немногие его посетители старались сесть друг от друга подальше и поглядывали друг на друга то ли как заговорщики, то ли как агенты враждебных держав, решившие на один вечер отложить погони, покушения, похищения; и перед ужином еще успели мы погулять по холмам, по тропинкам среди виноградников с их крошащейся под ногами каменной плиткой, чуть ниже по течению, чуть выше по карте, и значит, я думал, совсем недалеко от того места, еще чуть ниже по течению, еще чуть выше по карте, где мы останавливались с Ясом, чтобы посмотреть на очередной замок, очередную скалу. Мы наверняка останавливались напротив той скалы, с которой придуманная романтиками Лорелея манила к себе корабельщиков, в надежде, обыкновенно сбывавшейся, что они потеряют сперва голову, затем и жизнь, разбившись о подводные камни; в этом месте все всегда останавливаются. Потом остановились еще где-то, наверное в Бахарахе, тоже в память о Гейне; или в какой-то деревне перед Бахарахом; за Бахарахом; мы могли бы теперь найти это место, доехать до этого места, пока не стемнело; но какая, в сущности, разница? Это та же река, те же виноградники, те же холмы, что и двадцать пять, и двести пятьдесят лет назад; та же *узь*, та же *близь*; та же лакированная, открыточная, какая-то (сказал я, помнится, Ясу, когда мы стояли с ним у воды, по дороге из Амстердама в Мюнхен) ненастоящая, бессмысленная красота. – Что значит – бессмысленная? – Ну какая-то она бессмысленная, Яков Семенович, не знаю, как вам объяснить. – А что не бессмысленно? Все вообще бессмысленно... Это было *так*, просто *тrep*. Вода неслась очень быстро, облачные прорези отражались в ее стремнинах. Я вспомнил (как и теперь вспоминаю, как и по дороге в Бельгию вспоминал) свои (тоже бессмысленные), в шестнадцать лет, мечты и надежды если не узнать от него прямо-таки смысл прямо-таки жизни, то, во всяком случае, услышать от него слова важнейшие, ответ на самый главный вопрос, разрешение моих сомнений. Ничего, конечно, не осталось к девяносто пятому году от этих надежд. Но и он, может быть, вспомнил того взыскующего истины *вьюношу*, которым я когда-то был, который, вот, превратился в еще молодого, но уже дядьку, с первой проседью на висках, стоявшего рядом с ним возле Рейна. – Все бессмысленно, и хорошо, что бессмысленно (сказал он, или мне помнится теперь, что сказал он; почти, помнится мне, всерьез; и если он не так сказал, не такими или не совсем такими словами, то – какая, в сущности, разница?). – Все даже не бессмысленно, а просто никакого отношения не имеет к нашим смыслам и смысликам (смыслишкам, смышлюнчикам). Что ты хохочешь? Ведь это мы жаждем смыслов, хотя бы смышлюнчиков. Ты был прав тогда, когда-то (когда? неужели я говорил ему что-то подобное? выходит, что говорил): мы сами создаем наши смыслы (смышлюнчики и смышлишки). Хохочешь? Ну хохочи. Мы вносим их в нашу жизнь. Есть только тот смысл, который мы внесем – или не внесем в нашу жизнь, не сумеем внести, побоимся внести. Всегда ведь остаются сомнения, был ли наш смысл настоящим смыслом, стоила ли игра свеч. Хуже, когда нет сомнений в обратном. Смысла не было; то, что казалось смыслом, было лишь отвлечением от его поисков; игра свеч не стоила. И тогда – что же? Тогда мы все равно живем дальше. Потому что самое главное – по ту сторону смыслов и слов. Вот эти волны, этот блеск, этот черный баркасик, как у Марке. Картины тоже по ту сторону смыслов. Мы открываем в них разные смыслы и символы, но самое важное в них – по ту сторону всего этого. Ничего не остается в итоге, только этот блеск на реке, этот баркасик, это мгновение. И это совсем немало, поверь мне. Есть вот это мгновение, по ту сторону всех наших смыслов, смысликов и смышлишек, наших символов, даже по ту сторону наших сомнений, страданий, терзаний. Но это и есть мы. Вот это мгновение – это и есть мы. Мы думаем, что мы – это наши смыслы, символы и страдания. Мы думаем, что мы – это наши мысли. Ничего подобного. Мы

– это наше безмыслие. Человек живет своим безмыслием. И это не плохо, это как раз хорошо. Горы тоже живут безмыслием, река живет безмыслием. Река просто течет, вода просто струится. Что ты смотришь? Не веришь? Правильно делаешь. Потому что и это тоже только мысли, то, что я сейчас говорю. А все мысли – маски. Мы примеряем мысли, как маски. По ту сторону масок и мыслей, там – что? Вот эти скалы, отражения облаков, вот этот я, смотрящий на них. Вот этот я, смотрящий на них, – это и есть я (говорил Яс, или так мне помнится, что он говорил). Я – не то, что я говорю, и даже не то, что я думаю, но я – просто я, вот, здесь стоящий, смотрящий... Остается лишь замолчать – и поехать, к примеру, дальше.

Но мы не поехали дальше. Мы обнаружили желтую телефонную будку, из которой Яс решил позвонить Тамаре Сергеевне. Теперь уже нет никаких телефонных будок, а если еще есть телефонные будки, то в них устроены полочки, на полочках стоят книги, которыми окружающие жители могут обмениваться друг с другом. Всегда удивляет меня убожество этих книг. Ничего нет удивительного в этом убожестве, объявила Жижи. Люди, избавляющиеся от прочитанных книг, читают другие книги, живут в другом мире. В том мире, в котором мы все жили четверть века назад, еще были телефонные будки, еще было дорого звонить за границу, в Австрию, впрочем, не так дорого, как в Россию. Яс вышел из будки с перевернутым, потемневшим и постаревшим лицом, с сообщением, что Верочка, его старшая дочка, за год до этой нашей поездки выданная им замуж в Лос-Анджелес, там, в Лос-Анджелесе, ухитрилась попасть под машину – нет, не насмерть, не насмерть, – но что вот, за десять минут до его звонка Тамаре Сергеевне в Австрию – он как будто почувствовал, что надо ей позвонить, – она, Тамара Сергеевна, говорила с Верочкиным мужем в Лос-Анджелесе, сообщившим, что – нет, нет, не насмерть – что даже она в сознании, в больнице и что якобы нет причин волноваться, но ведь в таких случаях всегда говорят, что нет причин волноваться, а как он может не волноваться, это же его дочка, Верочка, Верка, и – нет ли у меня сигареты? Ему трубку, видно, не хотелось раскуривать на ветру; хотелось немедленной порции никотина. У меня сигареты не было; я уже бросил курить к тому времени; да и раньше если курил, то *так*, за компанию. А через дорогу обнаружился, на ярко-желтой (почему-то помню; желтизна взрывается в памяти) стене какого-то, что ли, трактира, автомат не телефонный, но сигаретный, из тех плоских сигаретных автоматов, какие до сих пор висят в Германии на разных внезапных стенах, не-желтых и желтых. Теперь, я слышал, туда нужно засовывать паспорт, чтобы автомат убедился в твоём совершеннолетии и выплюнул вождественное курево. Четверть века назад, в том мире, в котором были еще телефонные будки и звонок за границу становился событием, сигаретные автоматы паспорт не требовали, ни о каких паспортах даже не слышали, но все равно, я помню, мы долго кидали в него монеты, которые он упорно, со злобным звоном, выбрасывал обратно, под шум пролетавших по узкой дороге между скалами и Рейном машин, потом советовались с пузатым дядькой, показавшимся на ступеньках трактира, потом совместными усилиями добились от автомата, чтобы он денег не выбрасывал, а выбросил пачку то ли Marlboro, то ли НВ, вот уж этого никогда я не вспомню, потом никак не могли перейти через дорогу обратно к реке, к телефонной будке, из которой я сразу же позвонил, конечно, Карине. У Карины было все хорошо, дети были здоровеньки, меня ждали, Карина на меня уже не очень даже и злилась.

Сквозь грязное стекло, с прижатой к уху трубкой, я смотрел (вот это помню) на Яса, большого и старого, в очень (как же иначе?) шикарном двубортном пальто, по-прежнему похожего и на Цезаря, и на Марка Антония, и на Марлона Брандо, неловко, непривычными пальцами пытающегося открыть пачку (все-таки, кажется мне) НВ, подцепить ногтями целлофановую красную ленточку, раскрывающую, если потянуть за нее, целлофановую обертку; Рейн мерцал за ним все тем же стремительным сиянием, бессмысленным блеском. – Мне нельзя быть беззаботным, – объявил он, когда мы шли с ним к машине. – Другим можно, а мне нет, нельзя. Как только я расслабляюсь, случается что-нибудь ужасное. Как только я позволяю себе просто жить, происходит несчастье. Со мной или с кем-нибудь. Одним дано, другим не дано.

Меня за это наказывают... Я попросил его не говорить чепухи; он не снизошел до ответа; докурил сигарету, далеко отставляя ее от себя, как делают все *трубочники*, вообще все люди, курящие сигареты лишь изредка. Мы потом останавливались если не у каждой второй, то у каждой третьей телефонной будки, сперва у Рейна, потом на автострадных заправках, весь долгий путь до баварской столицы. Где-то возле Вюрцбурга телефон осаждала вывалившаяся из автобуса толпа престарелых путешественников, в которых невозможно было не распознать недавних граждан рухнувшей Гэ-Дэ-Эрии, быть может, впервые вывезенных в только-только открывшийся для них свободный западный мир. Одежда их отличалась мешковатостью, достойною самого «Москвошвея»: кожзаменительные куртки, пролетарские лица; Яс, дожидаясь, чтобы они перестали перекрикиваться на своем саксонском свистящем диалекте и запихнулись обратно в автобус, смотрел на них со стоическим выражением древнеримского подбородка, потом пробормотал что-то про непреодолимые классовые чувства, потом предложил перекусить в приавтострадном ресторане, раз уж к телефону все равно не пробиться. А мы ведь и сами тогда только-только попали в свободный западный мир; нам даже приавтострадная еда, на прогорклом масле приготовленная из промышленных отходов, не казалась такой гадостью, какой кажется теперь, четверть века, треть жизни спустя. Мы тогда даже ели ее, не страшаясь за свои жизни и животы. То ли животы были крепче, то ли еда была лучше. И что же, Яс (сам Яс! сам Яков Семенович!) сидел там, в стеклянно-пластмассовой дорожной *обжорке*, и уминал *свиную рульку*, хорошо если разогретую в микроволновой печи, а так, возможно, томившуюся с самого утра на ядовитом огне, с кусками крахмальной картошки, вываренной до полного исчезновения всякого вкуса и политой коричневым липким соусом, брызги которого на краю тарелки имеют обыкновение немедленно застывать, превращаясь в холодные червивистые подтеки? Да, *уминал*, под звон посуды, сбрасываемой с обшарпанных и грязных подносов; и даже *уминал* с аппетитом, с никогда прежде не виданной мною в нем жадностью, похоже, пытаясь заглушить свое беспокойство; потом вдруг отодвинул от себя и поднос, и салат, и рульку; побежал назад к телефону. Теперь мы узнали подробности; зато теперь, в настоящем *теперь*, через двадцать пять лет, я уже не могу вспомнить, на велосипеде ли она ехала, там, в Калифорнии, Вера, Верочка, Ясова старшая дочка, или просто улицу переходила, и это теперь никакого значения не имеет, теперь у нее своих детей уже сколько-то, ей тоже можем мы позвонить, спросить, сколько именно, хотя и это неважно, а тогда было важно, разумеется, все, главное, что она была вне опасности, заработала себе перелом ребра и руки, но была уже в полном сознании, могла уже говорить, и Тамара Сергеевна уже поговорила с ней, за неисчислимые деньги, из своей гостиницы в Ишгле, и нет, никому не нужно было все бросать, срываться с места, лететь в Калифорнию, так что мы поехали просто дальше, поздно вечером были в Мюнхене и затем провели еще день или два дня в Старой Пинакотеке, перед святым Лукой, рисующим Мадонну, и перед моим любимым житием Марии безымянного кельнского мастера с его золотым средневековым метафизическим небом над ренессансными исчезающе-голубыми горами – и этими чудными темно-синими ангелами, крылатыми человечками из детской книжки, которые, впрочем, скорее оставили Яса, показалось мне, равнодушным (хотя они-то, может быть, и спасли его дочку в Лос-Анджелесе), и на завтра поехали в Ишгл за Анечкой и Тамарой Сергеевной, и, глядя на Тамару Сергеевну, вечером, в беспардонно дорогом ресторане, притворявшемся сельской харчевней, и на другой день, по дороге на мюнхенский аэродром, я думал (как и теперь думаю), что совершил огромную ошибку и упустил величайший шанс своей жизни, не попытавшись тогда, когда-то, «на заре туманной юности», завести с ней роман, получить вожделенное посвящение в *ars amandi* не от кого-нибудь, но именно от нее, с ее зелеными глазами, ее державными формами.

Мы тогда были бы квиты, думал я в Бингене, во время и после нашего собственного с Жижы ужина, совсем не столь дорогого, в уже готовом закрыться на карантин ресторане, среди немногих посетителей, смотревших друг на друга, как заговорщики и агенты враждебных дер-

жав, и потом, уже вечером, когда мы снова вышли на пустую тускло-фонарную набережную (с уже смутно синеющими очертаниями виноградников на другом берегу реки); тогда, я думал, мы были бы квиты. Только он узнал бы сразу о моем романе с Тamarой Сергеевной, а я о его романе с Марой узнал вчера вечером (неужели всего лишь вчера? время сразу падает в вечность, не успеем мы обернуться). А что было бы, если бы я узнал сразу? Это было бы для меня катастрофой. Спасибо вам, Яков Семенович, за то, что уберегли меня от нее. И неужели он вправду все эти годы поддерживал с Марой какие-то, какие-никакие, но отношения, знал, где она, что с ней, даже, получается, звонил ей из Мюнхена, запретил приезжать в Амстердам? Я пытался представить себе все это и не мог представить себе по-прежнему ничего. Картинка не складывалась, кусочки не подходили друг к другу. Как будто мысль моя упиралась во что-то темное, мягкое, но неподатливое, непробиваемое. Даже в ладонях было ощущение какой-то бархатной поверхности, в которую утыкались они вместе с мыслью. Я словно гладил ладонями этот бархат, и он, пожалуй, даже нравился мне на ощупь, но это было и все, никаких больше не было ни мыслей, ни образов у меня в голове, ни чувств у меня в душе. Скорее уж понимал я, что, сколько бы ни думал теперь о Ясе, не смогу его *передумать*, превратить в кого-то другого.

Вечером, в гостинице (хорошей и никакой, без льежских бетонных изысков, но и без особенной плюшево-рюшевости; печально-примечательной только тем, что на стене в холле, прямо над регистрацией, висела, радуя глаз посетителей, несчастная Мона Лиза с пририсованными Марселем Дюшаном мерзкими усиками и пририсованной им же мерзейшей бородкой: вот так авангард превращается в ширпотреб, сказал бы, наверное, Яс; так умирают революции; мир заканчивается *not with a bang, but a whimper*, добавил бы он, наверное, не преминув извиниться за избитую цитату) – в гостинице, следовательно, когда Жижи, лежа на огромной (какие только в гостиницах и бывают) кровати, занялась изучением все более пугающих новостей о коронавирусе, о надвигающемся на нас карантине, в своем верном айфоне, я снова достал чудесную книжку Цветана Тодорова о становлении индивидуальности во фламандской живописи эпохи Возрождения, книжку, которую взял с собою из Мюнхена (нет бы взять одну из Ясовых, но Ясовы большие, тяжелые, а эта маленькая, беленькая, в мягкой обложке), предполагая перечитать ее по дороге, которую открывал только в первый день (теперь такой уже давний). Тодоров пишет (уже в эпилоге), что, выхватывая свои модели из времени, фламандцы (ван Эйк, значит, и Рогир, и прочие) являют нам неподвижную идентичность изображенных ими конкретных людей (*l'identité immuable des individus*); что художники последующих эпох все реже и реже притязают на то, чтобы показать нам эту неподвижную идентичность; тут же, словно не замечая противоречия, говорит он (Яс говорил то же самое), что, в отличие от средневековых мастеров, мастера эпохи Возрождения (к которым относит он и Рогира, и вана Эйка) изображают людей, вещи, ландшафты не такими, какими они должны быть по идее и с абсолютной точки зрения, но такими, какими они, художники, видят этих людей, эти вещи, эти ландшафты. А есть ли здесь противоречие (думал я)? В том-то и прелесть, и сила, и невероятность этой живописи (так я думал), что она позволяет нам увидеть, как в изменчивом мире художник открывает неизменное, постоянное – в непостоянном. Да и прав ли он вообще? Разве этой неподвижной идентичности (*l'identité immuable*) нет на портретах Рембрандта? Я вспомнил (вот, наконец, хоть что-то еще, кроме старой красивой бандерши и чая в гостиничном холле, вспомнил вдруг из нашей амстердамской поездки), как мы долго стояли с Ясом в Rijksmuseum перед Вермееровой голубой женщиной с письмом в руках у окна, в утреннем свете, потом перешли к Рембрандту, к автопортрету молодого, буйно-курчавого, потом к автопортрету уже старого Рембрандта, в тюрбане и в образе (как всегда говорится, но что это значит?) апостола Павла, с выпирающим из-под тюрбана морщинистым лбом, удивленно поднятыми бровями и темным, детским, печальным, всезнающим, как будто всепрощающим взглядом. – Ты же понимаешь, в чем разница? – спросил Яс. – В чем же? – Вермеер останавливает мгновение, Рембрандт прозревает сущность. Поэтому Вермеер так прекрасен, а Рембрандт так глубок.

Потом он задумался, сел на лавку посреди зала. – Это правда и не правда, так и не так. И Вермеер раскрывает непреходящее, и Рембрандт, конечно, прекрасен. Это все только наши мысли, попытки приблизиться к чему-то, чего мы никогда не сможем понять в полной мере. Любая мысль приблизительна, окончательной может быть вот, в самом деле, работа Рембрандта, картина Вермеера... Я ответил (или так мне теперь вспоминается... так мне в Бингене вспомнилось), что он это уже не раз говорил и что сама эта мысль – о приблизительности всякой мысли – тоже всего лишь мысль, а значит, и ее нельзя считать окончательной. – Я помню, что ты изучал логику, – ответил он с почти забытой мною мефистофельской улыбкой. Потом, все с той же улыбкой, сообщил мне, что и картины, в сущности, никогда не бывают закончены и что вот это, наверное, я от него слышу впервые. Да, картины тоже по-своему не закончены, как ни странно. Вообще ничего нет законченного, ничего завершено, в известном смысле даже и совершенного. Просто художник в какое-то мгновение говорит себе: хорошо, пусть будет так, займемся другой картиной. И писатель в какое-то мгновение перестает править свою рукопись, свою машинопись, верстку, сверку и как это все называется. Или времени уже нет, или сил уже нет, или издатель уже сходит с ума, или редактор уже отказывается вносить новую правку. Ему вот, Ясу, так и не дали довести до сколько-нибудь приличного состояния – о совершенстве уж не говорит он – его главную книгу о пятнадцатом веке. Теперь надо бы, кстати, переписать ее, избавить от ссылок на брадатых богов. Брадатые боги умерли, зато, увы, другие воскресли. Он не сравнивает свои скромные труды с шедеврами мирового искусства (мефистофельская улыбка), он ума еще не лишился, но все же это именно так, верю я ему или нет.

Нам только кажется, что все эти картины закончены; на самом деле художник просто перестал над ними работать. И наш разговор о них не окончен. Мы ведь каждый раз их видим по-новому, сколько бы ни смотрели. Иначе и смотреть бы не стоило. Мы будем их толковать, о них спорить, пока вообще не утратим к ним интерес (что в общем-то маловероятно). Почему Рембрандт изобразил себя в виде апостола Павла? что за письмо читает женщина у Вермеера? а карта на стене? она как-то связана с этим письмом? с той картой, которую рисует географ, висящий теперь во Франкфурте? А уж о ван Эйке нашем любимом сколько всего написано! Тут недавно один француз огорошил ученый и неученый мир сообщением, что чета Арнольфини – это вовсе не свадебный ритуал, как до сих пор считали все нормальные люди, включая корифеев искусствознания, от Панофского до Пэхта (вельзевуловская усмешка), а что это явление призрака, что это женщина из загробного мира является своему еще замешкавшемуся на земле мужу. Чепуха, но ведь интересная чепуха. Разговор не окончен, последнее слово не сказано, приговор не произнесен, а если произнесен, то может быть и обжалован. – А ты не находишь, что Рембрандт здесь самый настоящий *второй*, по твоей когдатой классификации? – спросил он, прерывая себя самого; и это было так удивительно, что я только удивлялся себе (в гостинице в Бингене), как мог забыть это.

Рембрандт здесь – самый настоящий *второй*... Неужели он правда сказал это, в амстердамском Rijksmuseum, за день (или за два дня?) до наших прирейнских упражнений с сигаретным автоматом и телефонною будкою? Да, я уверен, я вспомнил это (в Бингене, полгода назад) и теперь уже помню твердо, уже не забуду. А он и сам, значит, не забыл тот немисливо давний зимний вечер в заметной снегом Москве, когда я излагал все это в недружелюбном присутствии Аркаши, прочих его адептов. Потому что вряд ли мы потом с ним говорили о чем-то подобном, а если и говорили, то тоже тогда когда-то, в мои шестнадцать или семнадцать лет. Я сам забыл потом, или почти забыл, эти детские глупости, уж точно не заговаривал о них ни с ним и ни с кем. А он, получается, помнил их с тех немисливо давних пор? И что-то они, выходит, значили для него? А мне всегда казалось, что это я помню те его слова и другие его выраженья, вспоминаю их по разным поводам, безо всякого повода. Он, например, сказал мне как-то (когда и где? уже все равно), что я рассчитан надолго и что поэтому не нужно мне торопиться. Не знаю, был ли он прав. И не знаю, было ли хоть что-то, хоть какая-то крупница

истины в моих ребяческих рассуждениях об архаическом *первом*, зачинателе рода и начинателе некоей истории, о благословенном *третьем*, счастливом и втайне печальном, понимающем, что он завершитель, что за ним уже никто не идет, никого больше нет, и о *втором*, человеке странствия и дороги, искателе Бога и истины, никогда не доходящем до цели, не приходящем ни к какому итогу. А ни к какому итогу и нельзя прийти (думал я в Бингене). Разговор не окончен, дело не закрыто, последнее слово не сказано. О ком, о чем вообще может быть сказано последнее слово? Пока о тебе говорят, последнего слова нет. Когда перестают говорить, тогда и с тобою покончено. Не потому перестают говорить, что сказали последнее слово, а потому что никаких уже слов не ищут, ни последних, ни предпоследних, потому что никому ты не нужен, все о тебе забыли. Разумеется, могут вспомнить. Могут найти следы твоей жизни, какие-нибудь тетрадки, расспросить случайных свидетелей. Но и это лишь откладывает твою гибель – если, конечно, ты не оставишь потомкам «Чету Арнольфини» или «Женщину, читающую письмо». Да, Жижи, сегодня день был ужасный, и новости в айфоне ужасные, и мысли у меня в голове тоже не самые радостные. Просто обними меня и давай будем спать; уже спим.

Мы потом встречались с Ясом, но каждый раз как-то мельком: в 1999 году, когда мы с Кариной прилетели в Москву с детьми, чтобы показать им их историческую неродину, почти сразу уехали в Ярославль; потом в 2001-м; в 2003-м. Говорили по телефону, но что скажешь по телефону, из Мюнхена в Москву, из Москвы в Мюнхен? В последний раз (кто знал, что он будет последним?), когда он уже кашлял в трубку, но был еще бодр и собирался лететь в Барселону, и у нас даже возникла внезапная мысль (а слабо^ нам?), что я прилечу туда на пару дней, чтобы с ним повидаться, и только под конец его голос становился все глуше, и говорил он все медленнее, как если бы разговор утомил его, и он сам удивлялся и злился на себя за свою же усталость, – я сказал, заканчивая этот уже явно тяжелый для него разговор: ну хорошо, Яков Семеныч... В том смысле, что: хорошо, Яков Семеныч, поговорили – и будет, не утомляйтесь и выздоравливайте, скоро же опять созвонимся, даже скоро увидимся. – А что хорошего? – он ответил. И это было последнее, что я от него услышал, и это уже был ответ *откуда-то*, из такой глухой глубины, где и вправду ничего не может быть ни хорошего, ни дурного, потому что вообще ничего быть – не может, и я эту глубь, эту глушь расслышал в его голосе лишь задним числом и все эти годы не мог и по-прежнему не могу простить себе, что не расслышал их сразу, что не сказал в ответ чего-то еще *настоящего*, но отделался какой-то пустой, глупой репликой, тут же и забытой мною самим (да ладно, не расстраивайтесь, все будет отлично... или еще что-нибудь в этом ужасном роде), повесил трубку и возвратился к Карине, которая в те дни все жаловалась на боли в животе (о чем я ему, Ясу, скорее всего не сказал, потому что какое дело ему, Ясу, до ее, Каринина, живота?), и я теперь уже не могу вспомнить, что шло за чем в ту весну, вообще с трудом могу вспомнить, что за чем шло в моей жизни, но уже совсем не могу вспомнить, что за чем в ту весну, потому что все пошло очень быстро, полетело ко всем чертям, в бездну и пропасть с той скоростью, с какой все вообще имеет обыкновение лететь к чертям, в пропасть и в бездну, и эти боли в Каринином животе, которым мы придавали поначалу так же мало значения, как Яс – своему гриппу (подумаешь, живот болит; подумаешь, грипп), заставили ее пойти, еще зимою, к врачу, сначала к домашнему, который отправил ее к специалисту по желудочно-кишечным заболеваниям, каковой назначил ей гастро-, потом колоноскопию, и между всеми этими процедурами, назначениями и переназначениями проходили, как всегда бывает в Германии, драгоценные дни, решающие недели, и ни колоно-, ни гастроскопия не показали ничего и не дали никаких результатов, и кажется, в то самое время, когда Тамара Сергеевна все-таки отправила Яса вместо Барселоны в больницу, мне удалось уговорить Карину лечь на обследование в госпиталь под поэтическим названием «Справа от Изара», где поэтического, как во всех госпиталях, ничего не было и где ей сделали наконец и томографию, и я-забыл-уже-что, и через день после известия о Ясовой смерти (вот это я помню точно, никогда не забуду) ей был поставлен диагноз, вынесен приговор (рак поджелу-

дочной железы), так что я не полетел ни на какие похороны в Москву (а полетел бы, теперь получается, встретил бы Мару на этих похоронах), и мы потом еще целый год боролись за ее (трепетавшую в ней, сопротивлявшуюся гибели) жизнь, и весь этот год я словно не осознавал, странным образом, что и Яса уже нет, там, в Москве, и в последние Каринины дни, все в той же больнице «Справа от Изара», сидя у ее койки, держа ее за иссохшую страшную руку, вспоминал его, Ясовы, слова в больнице, во время путча, что умирать придется самому и никто не может умереть за тебя, но вспоминал их так, как если бы он, Яс, был еще жив, как если бы я сейчас вот выйду отсюда, дойду до реки и, глядя на ее мелкое быстрое течение, ее пороги и камни, позвоню ему по мобильному телефону, скажу: а помните, Яков Семенович, как вы лежали в больнице в дни первого путча, как мы с вами ходили по коридору, – и тут же спохватывался, понимая, что позвонить не получится, и думал о том, что и мне ведь придется когда-нибудь умирать самому, одному, и кто бы ни был в день и час моей смерти рядом со мною, он тоже не сможет умереть за меня.

Со мною были Лиза и Федор (Тео, как он требовал, чтобы его называли), уже подростки, тинейджеры, уже всю начавшие жить своей собственной жизнью, в которую не хотели меня пускать; после похорон я увез их на Тегернзее. Мы переночевали, помню, в гостинице совсем недалеко от бывшего бенедиктинского монастыря, того самого, монахам которого Николай Кузанский посылал когда-то (больше пятисот лет назад; в начале нашего мира, который теперь все никак не может закончиться, который всегда заканчивается, потому что время всегда заканчивается, всегда умирает) картину со всевидящим взглядом, в сопровождении одного из прекраснейших своих сочинений; на другое утро пошли в горы по одному из тех чудных маршрутов между Тегернзее и Шлирзее, по которым так часто ходили вместе с Кариной. Мне казалось, я вообще их не вижу, этих гор. Ни гор не вижу, ни зеленых лугов, ни дальнего снега, ни чистого неба. Через пару дней, кровь из носу, мне нужно было поехать во Франкфурт. Во Франкфурте одни сплошные банки, и больше ничего там, по-моему, нет. Один из этих банков, не самый большой, но и не самый маленький, решил доверить нашей с Матиасом фирме его, банка, программное обеспечение; от таких предложений не отказываются, ясное дело. Дело и выгорело, но переговоры затянулись. Даже, помню, свободный день выдался. Идти с по-прежнему длинноволосым (мы оба с тех пор окончательно поселились) Матиасом к каким-то его гессенским друзьям мне меньше всего хотелось. Там тоже есть горы, недалеко от Франкфурта, называемые Таунус; горы очень средней руки, совсем не Альпы; скорее холмы, чем горы; но все-таки лес, пустота, тишина. Как вы могли умереть, Яков Семенович, вот чего я не понимаю. Я выбрал вершину со странным названием Высокий Корень (Hohe Wurzel); из-за названия ее и выбрал; просто ткнул пальцем в карту. Вершина скромнейшая; даже не вершина; просто возвышенность. Как ты посмела умереть, Карина, скажи мне. Почти на самой вершине обнаружилась бетонная теле- и радиокommunikационная башня, мощно взлетающая в прозрачную небесную синь; с плоско-цилиндрической конструкцией наверху и тонким красным шпилем совсем уже в небе. Возле башни не обнаружилось ни одного человека; только забор, и видеокамеры, и ровное жужжание каких-то, что ли, трансформаторных будок. Затем обнаружился бурелом, поваленные елки, исчезающая тропинка, серые, почти белые пни, пятна солнца на сухостое. Чем ближе к вершине, тем чаще попадались на этих пнях пирамидки из плоских камней – иногда просто камушки, положенные друг на друга: те, что поменьше, на те, что побольше; иногда с притязанием на подлинную, пусть миниатюрную, пирамидальность; иногда и сложные колончатые конструкции, держащие равновесие вопреки ветру и времени.

Мы такие пирамидки впервые видели с Кариной в Ирландии, в Коннемаре; потом часто видывали их в Альпах. На самой вершине ничего и не было, кроме этих пней, пирамидок. Еще были плоские камни, похожие на щебенку, был мох, валежник, палые ели с торчащими вверх корнями, сухой землей и ломаными кусками все тех же плоских камней, застрявших между корнями в земле. Но далеко было видно, со всех сторон была зелень и синь: ближняя

зелень елок, и дальняя зелень ландшафта, и совсем дальняя синь холмов, и уже почти голубая синь других, еще более дальних холмов, словно повисших над первыми, готовых слиться с голубизной прозрачного неба. Все вблизи было мертвое, вдали было все живое. Только камни не совсем были мертвыми; камни, когда я их вынимал из земли, были с исподу мокрыми, в красноватых прожилках, с кусочками мха и мелкими веточками, на них налипшими, с внезапными, под одним из них, побежавшими прочь муравьишками. Чем больше камней я клал, чем выше делалась моя пирамида, тем трудней мне было сдерживать слезы, так что и я пошел просто прочь, прихватив один камень с собою, весь дальнейший мой путь щупая пальцами его шероховатую, уже теплую, твердую, утвердительную (как у всех камней), какую-то (как у всех камней) убедительную поверхность; спустился с голого холма; вышел в лес спокойный, сосновый; потом в лес лиственный, липовый; потом, за шоссе, попал в засохший ельник, с торчащими повсюду обрубками; потом дорога повела меня вниз, все опять изменилось, вырубки кончились, за зелеными ветками появились снова синие горы, синие скаты холмов на той стороне какой-то большой долины; пятна солнца лежали повсюду: на стволах деревьев, на белоглинистой, с вкраплениями щебня, дороге; прошлогодние палые листья из бурых тоже делались на солнце почти белыми; почти сливались с зелеными свежими кустиками; и, глядя на все это, прислушиваясь к мирному шуму леса, мерному звуку моих же шагов по дороге, я вновь, помню, испытал, сквозь все свое горе, вопреки ему и им же усиленное, то чувство полноты бытия, которое так остро испытывал когда-то в горах: полноты бытия, где, так я чувствовал, им обоим было место, и Карине, и Ясу, как было место вообще всему прошлому, всему настоящему. Я вспомнил свои давние (детские, глупые) мысли о невозможности вынести суждения типа *истинно – ложно* о том, чего нет. Ничего этого давно уже нет, но мы или видели – или не видели пирамидки из камней в Ирландии, куда ездили с детьми и Кариной в 2001 году, где, перед тем как доехать до Голвея, взять напрокат машину и отправиться в путешествие по каменной Коннемаре, с ее отраженными в неподвижных озерах холмами и скалами, провели неделю в Дублине, и в Дублине чуть ли не первым делом сходили на тот мост через Лиффей, где «во вспышке гения», *in a flash of genius*, Вильям Гамильтон придумал кватернионы. Мы туда ходили – или не ходили туда, видели пирамидки – или не видели их. Это было, этого нет; но это по-прежнему или истинно, или ложно, или есть истина, или есть не-истина, до окончания времен. Значит, до окончания времен это каким-то образом есть, иначе мы не могли бы сказать, что это есть истина или есть, опять же, не-истина. И да, конечно, конечно, это всего лишь игра ума, занимавшая меня в юности, более ничего, и я прекрасно понимал, что это ничему не может служить доказательством, что игра ума остается игрой ума, и все же продолжал думать об этом, глядя на солнечные пятна вокруг, на синие холмы и еще более синие горы за зелеными ветками, дальние планы жизни, думать об этом все с тем же, еще довольно долго, всю дорогу до автомобильной стоянки державшимся во мне чувством полноты бытия, в котором, да, все, что было, по-прежнему есть истинно или ложно, и значит, по-прежнему есть; но еще почти пять, и очень мучительных, прошло лет, прежде чем на одной мюнхенской математической лекции (по стохастике, как в Германии принято выражаться) я встретил Жижи – и моя жизнь получила совсем новый, никем не предвиденный, прекраснейший поворот.

И теперь – что же? Я писал ровно полгода то, что вот сейчас заканчиваю писать: с середины марта до середины сентября этого странного, страшного, коронавирусного 2020 года. А помнишь, как мы возвращались в новогодний вечер с концерта в Gasteig'e, сперва ждали трамвая возле Deutsches Museum, потом, презрев промозглый холод, пошли пешком вдоль реки, где первые придурки уже пускали свои ракеты, домой в Богенхаузен, и как говорили о том, что год с такими цифрами – два-ноль-два-ноль – наверняка будет особенным, просто не может не быть особенным, исключительным годом и что следовало бы записывать каждый день события этого года? Но событий никаких не было, разве что в самом начале. Мы вернулись в Мюнхен из Бингена (Бельгии, Бланкенберге), сходили вечером (как потом выяснилось: в последний раз)

в тайский ресторан по соседству; а потом мир закрылся; из магазинов первым делом исчезла туалетная (почему-то) бумага, так что в ближайшем к нам супермаркете ее продавали лишь по утрам (сразу все раскупалось) и по одной упаковке в руки (как тут было не вспомнить наше прекрасное советское детство, наш потерянный социалистический рай? исхода нет, Жижи, все повторяется); по радио и телевизору сперва долго рассказывали, что маски носить не надо, от масок один только вред; и в аптеках не было, действительно, масок (потому небось и рассказывали, что масок не было); из *дрогерий* и тех же аптек исчезли все средства дезинфекции, все антисептики, все баночки и тюбики с *гелем*; потом начали возвращаться; маски начали возвращаться; потом закрылись все магазины, кроме продовольственных, все парикмахерские; потом выяснилось, что маски нужны, без масок никак (а без масок и в самом деле никак; мы все носим маски; и кто знает, что там под масками?); потом что-то открылось; потом все открылось, но без масок никуда не пускали (и вправду, куда же без масок? мы все носим маски; всегда носим маски; наши мысли – тоже, в сущности, маски; см. выше; все уже сказано); но я следил за пандемией (как тут же стало принято выражаться; в мое время были одни эпидемии, и этого нам хватало) лишь вчуже; смотрел новости, почти сразу их забывал; старался (без большого успеха) уговорить уже давно живущих своей отдельной, очень студенческой жизнью детей (Тео в Англии, Лиза в Берлине) посидеть дома (в их возрасте это трудно); передал, или почти передал, дела фирмы Жижи и Матиасу, как раз привыкшим сидеть дома и за компьютером: Жижи в соседней комнате, Матиас на Штарнбергском озере (где он построил себе домишко, читай: виллу, вскоре после нашего столь удачно начавшегося, не менее удачно продолжившегося романа с компанией Intel); сам же, не в силах и по-прежнему не в силах справиться со всем тем, что узнал в Бланкенберге от Мары, начал просто описывать нашу встречу в этом бетонном месте (пирс, Параванг); скоро понял, что так ничего у меня не получится; что надо начать с начала, с первых воспоминаний о Ясе, о самой Маре, о той Москве, которой давно уже нет, куда я теперь уже и не знаю, как полететь, как попасть; и, собственно, провел за этим писанием всю весну и все лето, отвлекаясь от него разве чтобы поехать на машине куда-нибудь в горы и за город, на то же Штарнбергское озеро, или на Тегернзее, или на Шлирзее; и в лесах, в предгорьях в начале моего писания появились первые зеленые, потом, в конце писания, первые желтые листики; и вот теперь уже осень, уже не отдельные листики, но уже полно желтых листьев, уже тьма желтых листьев повсюду; уже шебуршат они под ногами, в аллеях у Изара; и сколько-то дней назад переломилась погода; дожди обрушились на мир и Баварию; температура упала в забытые ею низины; и все ждут *второй волны* (как девятого вала); и (кто ж спорит?) самое простое было бы написать сейчас, что, да, и у меня болит горло; что, да, болит, уже пятый день; болит, не проходит; и что кашель тоже есть, не очень сильный, но что мне уже трудно скрывать его от Жижи; и температура уже готова подняться на забытые ею высоты; и надо, я знаю, идти куда-то (куда, собственно?) делать пресловутый тест; но я не напишу этого, не дождетесь; я напишу, что, нет, ничего у меня не болит, и температура не поднимается, и кашля мне скрывать от Жижи не нужно, потому что нет никакого кашля; вот так напишу я; и вот теперь, когда я написал это – что же? – теперь остается только отправить мою рукопись (точнее: машинопись, точнее: компьютеропись... еще мы шутим, еще шебуршим) старинному приятелю моему А. Макушинскому (тоже знававшему в молодости кое-кого из помянутых здесь персонажей, бывавшему в тех компаниях, на тех посиделках), чтобы он ее прочитал, или выкинул, или, может быть, переписал ее так, как он умеет, как я не умею, своими коронными (хорошее слово в пору коронавируса) длинными фразами или фразами еще какими-нибудь, какими захочет; чтобы он поменял имена или не стал бы менять имена; отправил в издательство или сохранил до лучших времен; и мои упоминания о нем самом или вычеркнул, или оставил; в общем, поступил бы с ней, как ему вздумается; мне, пожалуй, уже все равно.